

ЮРИЙ КАРАСЁВ

ПОД
СИНИМ-
СИНИМ
НЕБОМ

Рецензент — Б. С. Пармузин

83.3P7
K21 Карасев Ю.

Под синим, синним небом: [Статьи, очерки, стихи].— Т.: Изд. лит. и искусства, 1983.— 440 с.

Сборник Юрия Карасева «Под синим, синним небом» составлен из стихов разных лет, из очерков об Узбекистане и его людях, а также статей о деятелях литературы Узбекистана и России.

83.3P7 + P2
8P2 + P2

К 4702010200—145 90—93
M352(04)—83

© Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1983 г. (составление, оформление)

УЧИТЬСЯ ДРУГ У ДРУГА!

Мы часто говорим о расцвете советских братских культур через их сближение, взаимообогащение. Кажется бы, это прописная истина.

Прописная истина?

Но вот я перечитываю статьи, опубликованные в шестидесятые годы и посвященные проблемам взаимоотношений национальных культур, и во многих встречаю: «Сближение — через расцвет!».

Это в свое время подчеркивалось в выступлениях Мехти Гусейна «Наше богатство» («Литературная газета»), Р. Бикмухаметова «Обновление перспективы» («Вопросы литературы»), Б. Буряка «Интернациональное — не безнациональное» («Искусство кино») и некоторых других. Это же, по существу, декларировалось участниками дискуссии, развернувшейся в 1965 году на страницах «Литературной газеты», Б. Буряком («Теории на ходулях») и Н. Худайбергановым («...Национальная по форме»).

Подобное положение, — или призыв, — выглядит прежде всего однобоким. За целое выдается лишь часть двуединой формулы, четко выраженной в одной из статей Л. И. Брежнева: «Расцвет наций через их сближение и сближение наций через их расцвет — таков путь диалектического развития национальных отношений при социализме» («Торжество ленинской национальной политики», «Известия», 30/XII-62 г.).

В журнале «Коммунист» справедливо отмечалось, что к концу шестидесятых годов «в нашей литературе, печати и устных выступлениях, касающихся национального вопроса, наметились две крайности. Одни товарищи говорят о расцвете социалистических наций вне связи с их сближением, другие же — о сближении вне связи с расцветом социалистических наций. В действительности эти два процесса неотделимы друг от друга, и



ЮРИЙ КАРАСЕВ

ПОД СИНИМ,
СИНИМ
НЕБОМ

84-10321

УРГАЧЧИНИ
1980

TOSHPENT TIBBIYOT AKADEMIYASI
URGANCH FILIALI
AXBOROT RESURS
MARKAZI
№ 2258

ТАШКЕНТ
ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА
ИМЕНИ ГАФУРА ГУЛЯМА
1983

стедует раскрывать их диалектическую взаимосвязь, а не впадать в односторонность».

Вторая «крайность» отчетливо выражена в статье И. Грекула «Видеть не только частное», в статье, страдающей бездоказательностью и категорической прямолинейностью («Литературная газета»).

Первую же «крайность» представляют авторы, в статьях которых не уточняется, о каких культурах идет речь — вообще о национальных или о советских, социалистических национальных. А ведь «буржуазные нации» и «социалистические нации» — понятия принципиально различные. Не уточняется также, на каком этапе развития берутся рассматриваемые национальные культуры — в своих истоках, какими они сложились к сегодняшнему дню, или в перспективе, в тенденциях развития? А ведь уточнить, определить — это тоже очень важно. Путаница происходит и от непоследовательности позиций авторов этих выступлений. Пытаются они доказать одно (что главное — это автономный расцвет национальных культур), но приходится оговаривать и другое (мы, мол, не против сближения, взаимообогащения братских культур!). Естественно, им не удается связать концы с концами, и тезисы о сближении воспринимаются именно как оговорки.

Весьма существенно — как толковать даже одну эту половину формулы: сближение — через расцвет.

Б. Буряк пишет: «...именно с расцветом национальных культур советских народов укрепляется их единая интернациональная основа».

В принципе — верно. Но что именно критик подразумевает в данном случае под «расцветом»? **Общий расцвет**, т. е. наиболее полное развитие той или иной национальной культуры или расцвет, понимаемый как развитие национального в ней?

Для меня тут не может быть двух толкований. Подлинный, полный расцвет национальных культур я не мыслю спонтанным, замкнутым, автономным, вне взаимодействия, взаимообогащения этих культур.

«Мы против тенденций, направленных на искусственное стирание национальных особенностей, — говорит Л. И. Брежнев в Отчетном докладе XXVI съезду КПСС. — Но в такой же мере мы считаем недопустимым искусственное их раздувание. Священный долг партии — воспитывать грядущих в духе советского

патриотизма и социалистического интернационализма, гордого чувства принадлежности к единой великой Советской Родине».

Да, нации продолжают у нас развиваться как нации. Но уже как **социалистические** нации, о чем мы порой забываем. Как нации с особыми устремлениями и идейными качествами: советским патриотизмом, социалистическим интернационализмом. Как нации, идущие уже иными путями, чем нации капиталистических стран.

И трудно не разделить тревогу, сквозившую в статье «Экономические основы сближения социалистических наций» («Правда»), где отмечалось, что «...в нашей печати и устных выступлениях правильно говорится о расцвете советских республик, советских наций, но недостаточно анализируется происходящий двуединый процесс: расцвет наших наций и их непрерывное сближение на основе единства коренных интересов, а также то, что прогресс наций обеспечивается не только путем развертывания творческих сил каждой из них в отдельности, но и всестороннего использования опыта и помощи других братских народов» (здесь и далее подчеркнуто мною.— Ю. К.).

Это относится и к области культуры. Развитие национальной культуры органически и неотъемлемо включает в себя освоение братских традиций и форм. Например, все наши литературы уже накопили **общий** опыт и **общие** традиции. В этом залог их расцвета и залог дальнейшего взаимосближения. Ибо сблизиться **высокоразвитым** культурам несравненно легче, чем замкнутым в себе, изолировавшимся от мирового и социалистического опыта.

«Одной из основных закономерностей строительства коммунизма в нашей многонациональной стране, — писалось в «Известиях», — является сближение и взаимное обогащение культур братских народов Советского Союза и формирование на этой основе культуры коммунистической».

Именно так: **на основе прежде всего сближения!**

Вот в чем суть расцвета и путь к расцвету! Обогащение — развитие. Это стоит рядом, и один процесс вытекает из другого.

Об этом говорят и другие сторонники сближения наций и национальных культур в советском социалистическом обществе.

«...Нельзя считать, что наша литература должна раз-

зваться, опираясь только на свои национальные достижения. Для того чтобы создавать настоящее современное искусство, надо правильно использовать опыт, достижения всей советской многонациональной и мировой литературы» (из выступления П. Севака на съезде писателей Армении, 1966 год).

«Вне общественных духовных черт совершенно немисливо представить национальный характер народов СССР. Общесоветское для каждого из наших народов есть в то же время и его национальная черта» (Азиз Салиев, «Будем диалектиками!» — «Дружба народов»).

Опора на инонациональный опыт обеспечивает творческий рост национальных писателей, новаторское начало в их прозе и поэзии. Добавлю лишь, что, на мой взгляд, им ближе творчество советских писателей, ибо их роднит единый творческий метод — метод социалистического реализма. Об этом хорошо сказано в статье Чингиза Айтматова «Многоликий экран» («Правда»): «...национальное своеобразие не может быть некоей самоцелью творчества художника. В советском искусстве существуют общие для всех идейно-художественные принципы, и они-то являются главными, определяющими факторами в творчестве, независимо от национальной принадлежности».

Я привел все эти близкие мне высказывания, дабы показать, что неправомерно противопоставлять расцвет, развитие, качественный рост национальных культур и их сближение, взаимообогащение, как это сделал Арфо Петросян в статье «Корни могучего дерева» («Литература и жизнь»):

«Так действуют в СССР невиданные никогда ранее в мире две взаимосвязанные исторические тенденции — бурное и всестороннее развитие каждой нации, с одной стороны, и все большее взаимообогащение, сближение социалистических наций, с другой стороны».

Автор справедливо подчеркивает взаимосвязанные исторические тенденции. И тут же разделяет их: с одной стороны, с другой стороны... А это части единого целого, диалектически неразделимого, обе тенденции слиты, одновременны. И «бурное и всестороннее развитие каждой нации» — это «не вещь в себе», а как раз результат сближения и взаимообогащения. Эти процессы нельзя отрывать друг от друга!..

В силу неразрывности этих процессов национальные

культуры на сегодняшней стадии расцвета уже предстают как явление качественно новое.

«...Само понятие «украинская драматургия», — писал Вл. Пименов в «Известиях» о пьесе А. Коломийца «Планета Надежды», — звучит сегодня не так, как раньше. Национальная драма в лучших своих образцах все шире ставит проблемы мирового звучания, все активнее вторгается в интересы всего народа, всего человечества».

Позднее я попытаюсь показать, что активное вторжение в жизнь всего советского народа, всего человечества, «выход за пределы традиционной тематки» (Ч. Айтматов) — это одна из сторон сближения национальных культур.

Такой выход, по мнению Ч. Айтматова, «сопряжен с большими трудностями». Но, утверждает далее Ч. Айтматов, «когда это удастся, надо предполагать наступление новой стадии зрелости национального искусства. Это говорит о том, что внутри данной культуры идет перестройка творческих сил, что рамки национального искусства раздвигаются, что идет процесс обогащения и совершенствования художественного мышления, что искусство обретает новые горизонты творчества».

То есть национальное искусство вступает в новую фазу расцвета. И как национальное обретает новое качество, сближающее его с другими национальными социалистическими искусствами.

Характеризуя конкретное явление национального искусства, армянский фильм «Здравствуй, это я!», Ч. Айтматов писал: «...этот фильм представляет для нас большой интерес как национальная картина в нашем современном понимании. Здесь нет примет национального, идущих от века, этого не могло и быть, ибо фильм повествует о событиях, людях и характерах нового времени, нового склада. В образе молодого ученого Артема мы узнаем черты современного советского характера. И при всем этом Артем — один из представителей современного армянского народа».

Именно так: современного, когда в нации и ее культуре слито советское и национальное. И это — один из признаков, пожалуй, главный признак подлинного расцвета нации и национальной культуры. Если, конечно, подходить к этому не догматически, а диалектически,

Похоже, что эти (и некоторые не упомянутые) авторы ратуют не за общий расцвет национальных культур, а за сохранение и развитие во что бы то ни стало национальной специфики в них, того, что отличает, отделяет одну братскую культуру от другой. Приходится повторить, что выступления поборников развития национальной специфики подчас туманны и голословны.

С одной стороны, защитники тезиса «сближение через расцвет» утверждают непреходящий приоритет национального в культуре (в том числе и в литературе) каждого из наших братских народов.

«Подлинный расцвет литературы наступает лишь тогда, когда она... стала воистину национальной... Ведь это очевидно, что мера понимания национальных судеб своего народа, мера национального одушевления (?) определяет и идущую, и художественную силу писателя» (Р. Бикмухаметов).

А Б. Буряк пишет о решающем значении национальных традиций в период перехода к созданию коммунистического общества.

Итак, по мере сил, любой ценой сохраняя и развивая национальное в братских культурах, отложив их сближение «на потом», когда будет достигнут расцвет национальной специфики, национального своеобразия.

Но, с другой стороны, эти же критики вынуждены оговариваться насчет сближения наций и национальных культур, цитировать Программу КПСС, где говорится о развитии «общей для всех советских наций интернациональной культуры» как одной из целей коммунистического строительства.

Они пытаются как-то «увязать» эту цель со своими призывами к развитию национального в братских культурах. Так, Н. Худайберганов уверяет, что «процесс развития интернационального в жизни и культуре советских народов... немислим вне развития, совершенствования национальных форм, черт, особенностей их взаимного обогащения».

Тут, если разобраться, все смешано. И все разделено: совершенствование национальных форм — само по себе, их взаимообогащение — само по себе.

Но, как говорилось выше, это грани единого диалектического процесса. Совершенствование национальных форм немисливо без их взаимообогащения. И наоборот.

А главное, невольно напрашивается вопрос: как же мы придем к этой интернациональной, общей для всех наций культуре, если будем сохранять и развивать лишь то, что отличает (и отделяет) одну культуру от другой, придавать «решающее значение» национальным традициям, все делать для того, чтобы культуры сначала стали «воистину национальными», стремиться прежде всего к закреплению «национального своеобразия» каждого произведения литературы и искусства?

Попробуем, исходя из посылок и призывов поборников национального в братских культурах, образно представить себе процесс образования единой интернациональной культуры.

Картина получится примерно такая: национальные культуры, как реки, становясь все полноводней (богаче национальными качествами), в конце концов волются в общее море. А ведь реки — они текут, не смешивая свои воды, каждая сама по себе... Правда, хочется спросить, откуда же тогда полноводье, ведь не может река питать самое себя?..

Порой же упоминается некая «общая сокровищница», куда делает вклад каждая культура. Причем эта «общая сокровищница» существует как бы отдельно от «вкладчиков» — национальных культур: они сами по себе, она — сама по себе. Когда же вклады достигнут должного (а какого?) уровня, — национальные культуры отомрут, «сокровищница» останется: это и будет единая культура коммунистического общества.

Я, конечно, кое-что утрирую, заостряю, чтобы подчеркнуть искусственность этих образов. Но, если логически продолжить мысль защитников «сближения через расцвет», то окажется, что социалистические национальные культуры так никогда и не смогут слиться в единое целое, — ведь процесс «накопления национального» в них может продолжаться до бесконечности! Или предполагается, что когда наступит, наконец, расцвет каждой национальной культуры (как вот только определить, наступил он уже или еще нет, и как подгадать, чтобы эти культуры, развиваясь каждая сама по себе, все же «созрели» приблизительно к одному времени?), то они образуют единую коммунистическую культуру путем сложения.

Б. Буряк, например, пишет: «Как в жизни, так и в искусстве интернациональное не встраивает и не под-

меняет национального, а существует в нерасторжимом единстве с ним».

Выходит, и общечеловеческая коммунистическая культура будет и интернациональной, и вместе с тем национальной? То есть возникнет некий конгломерат «самостийно» расцветших и уже одним этим, якобы интернациональных братских культур?

В общем, я так и не нашел в статьях ревизителей национальной специфики (специфики — во главе угла, на первом плане, в первую голову) четкого ответа на вопрос: как же все-таки они мыслят культуру коммунистического завтра? Или они считают будущее слияние национальных культур неосуществимой фантазией?

Нет, это не фантазия и не мечта, а наша — пусть очень отдаленная, но конкретная цель. И речь идет не о сложении, а именно о слиянии братских социалистических культур. Единая культура будущего не сумма, а синтез. Не лоскутное одеяло, а яркий цельный ковер!

Я уже говорил, что подлинный расцвет любой национальной (в том числе, конечно, и русской) братской культуры может наступить лишь в результате взаимодействия, взаимовлияния, взаимообогащения культур, взаимопроникновения национальных форм и традиций, в результате щедрого взаимобмена накопленным творческим опытом, решительного отказа от всего обветшавшего и вредного.

Лучшее — отдай. Лучшее — возьми. Все культуры — каждой! Каждая — всем!

На празднествах в Прибалтике, в 1965 году, говорилось, что советские художники идут вперед «по пути социалистического реализма, используя прогрессивное наследие национальной культуры и обогащаясь за счет достижений культуры братских советских народов, передавая свои культурные достижения другим народам...».

Идя по этому пути, единственно возможному и закономерному в условиях братского сотрудничества советских наций, строящих счастливое коммунистическое будущее для всех трудящихся, утрачивая отживающие черты, делясь всем здоровым, прогрессивным, плодотворным с другими братскими культурами, обогащаясь их достижениями, наши национальные культуры, естественно, начнут обретать все большую схожесть. То здоровое, что уже было накоплено в рамках прежнего

развития национальных культур, преломившись, обновившись, станет всеобщим достоянием, специфически национальным лишь в своих истоках. Наряду с национальными будут все умножаться и умножаться общесоветские, общенациональные черты.

Но общее, становясь своим, остается общим. А свое, становясь общим, в какой-то мере перестает быть своим. Делясь своими богатствами с другими, национальные культуры утрачивают передаваемые качества как только свою особенность. Нет, национальное не исчезнет, но оно будет все меньше выглядеть как национальное. И это не нивелировка, не подравнивание под стандарт, а постепенное, естественное стирание граней между братскими культурами в процессе взаимообогащения. Только в итоге такого стирания граней и возможно подлинное сближение через расцвет, слияние национальных «сокровищниц», пополненных общими запасами, в одну — пока еще не появившуюся, не сформировавшуюся, но уже формирующуюся.

Это сложный и трудный диалектический процесс. Но — исторически неизбежный.

Уже и теперь «народы СССР ощущают плодотворность усиливающегося обмена материальными и духовными богатствами между социалистическими нациями, который стал для них жизненной необходимостью» (из Тезисов ЦК КПСС «50 лет Великой Октябрьской социалистической революции»).

Перспектива стирания граней между социалистическими национальными культурами почему-то тревожит, пугает иных теоретиков. Они боятся, как бы, утратив национальную «особенность», «отличность», эти культуры не обеднели. И даже готовы принести в жертву развитию «национального» взаимодействие культур.

«У нас повелось считать, что без взаимодействия культура чуть ли не гибнет, — пишет Р. Бикмухаметов. — Это, конечно, заблуждение».

Откуда эти опасения и страхи? Ведь мы сами высветлили перед собой цель: создание в будущем общей для всех наций культуры. А это, в конечном счете, означает претворение национального в общесоветское, более яркое, многообразное и богатое. Да, более богатое. От обмена творческим опытом никак не обеднеешь. Тут действует принцип: получая — приобретаешь, отдавая — сохраняешь. При слиянии культур ни одна по настоящему сочная и нужная краска не исчезнет, все

они останутся и дадут новые гаммы цветов. И это будет многоцветное целое.

«Советская литература — это качественно новая литература, — писал в «Правде» Ш. Рашидов («Могучие истоки социалистического реализма»). — Она развивается в тесном взаимодействии всех национальных литератур, обогащающих друг друга. Лучшие достижения литератур братских народов являются у нас достоянием всех литераторов, всей творческой интеллигенции».

А в Тезисах ЦК КПСС говорится: «Социализм создал условия для расцвета и взаимного обогащения национальных культур».

...В условиях дальнейшего развития национальных культур и языков каждая нация имеет все возможности использовать и усваивать духовные богатства всех советских народов».

Да, все богатства национальных литератур — это и мои богатства, русского литератора. А творчество В. Луговского, Н. Тихонова, Н. Грибачева принадлежит не только России, но и Узбекистану, Азербайджану и всем остальным нашим республикам.

Хорошо сказано в «Известиях» об одном из мастеров Мстеры, народном художнике И. А. Фомичеве: «Он создает произведения, составляющие национальное богатство страны». Всей нашей страны, а не только России, хотя его искусство в истоках чисто русское.

В одной из своих статей В. Песков ратовал за уважение к памятникам русской старины, утверждая их воспитательное значение. Мы и не собираемся отказываться от лучшего, прекрасного в нашей старине, это наша национальная гордость. Но она существует слитно с братской гордостью всеми богатствами нашей страны! Разве самаркандские памятники старины не мои? А кремлевский ансамбль не вошел в сердца моих друзей — Камиля Яшена из Узбекистана, Берды Кербабоева из Туркмении? Я недавно переводил повесть Берды Кербабоева «Сын Карли Чакана», и с особым удовольствием — то место, где туркменский писатель воспевает Москву — ее историю, ее революционное прошлое, ее Сегодня. Москва с ее Стариной и Новью — это ведь и его город...

Нет, результатом взаимодействия национальных культур никак не может быть обеднение. При активном, щедром взаимообмене творчество каждого писателя, каждое талантливое произведение будут красочней

и самобытней, ибо чем разнообразнее питающие *источники*, чем полнее, весомей общее достояние, тем *богаче* выбор учителей, художественных форм, жанров средств, приемов.

То есть чем больше национальная культура *взяла* от других культур (отдав и в то же время сохранив свое), тем большая возможность выбора у каждого художника.

Будущее советской литературы в моем представлении — это **многоцветье творческих индивидуальностей**.

Если же согласиться с тем, что братские культуры обогащаются лишь при развитии национального в них, то останется только недоумевать: а как же и чем же, за счет чего обогащаться единой коммунистической культуре при отсутствии национальных?

Нечем ей, выходит, тогда обогащаться!

Национальная культура действительно беднеет, развитие ее тормозится, когда она замыкается в себе, и, боясь утратить «специфику», отгораживается от братских («чуждых») влияний. Утверждать «различия» между культурами, «различия» во что бы то ни стало, проводить искусственный водораздел между культурами — значит искусственно задерживать естественный процесс.

Стремление во что бы то ни стало сохранить «особенное», «свое» часто приводит к гальванизированной естественно отмирающих форм.

Когда мы, например, показывая русское, обряжаем его в сарафаны и шелковые рубахи, каких давно уже никто, даже на селе, не носит, или с пылкостью, достойной лучшего применения, настаиваем на том, чтобы русские девушки носили «русскую» косу, — то что это, как не искусственное воскрешение прошлого, отмененного самой жизнью?

Кстати, еще великий Гоголь говорил, что сарафан — не есть главное выражение русской национальности.

Мне кажется примечательной статья киргизского критика М. Борбугулова «Не по росту мерка», опубликованная в «Литературной газете». В ней автор вполне справедливо писал: «Мы обязаны помнить, что благородная задача полного всестороннего показа жизни народа требует от каждого художника слова непрерывных поисков обновления поэтики, утверждения

философских, эстетических принципов, соответствующих современному мировосприятию».

Но против этого, на практике, и выступали ревнители «национальной специфики»!

М. Борбугулов в своей статье приводит многозначительные примеры их противодействия новому, прогрессивному художественному опыту, почерпнутому киргизскими писателями из нашей общей литературной сокровищницы.

Так, поэт С. Эралнев в поэме «К звездам», тепло принятой читателями, высоко оцененной советской критикой в целом, «отказался от канонической метрики и традиционных рифм, обратился к сравнениям, метафорам и приемам, не свойственным поэтике устного народного творчества. Вся образная система произведения рождена потребностью полнее передать строй мыслей, чувства лирического героя». Так иные усмотрели в этом... чуть ли не безыдейность! А У. Абдукаимова, создавшего роман о Великой Отечественной войне, обвинили в том, что его герой показан... в развитии!

Когда же некоторые молодые туркменские поэты начали писать белым стихом, — а это необычная форма для туркменской поэзии, — то их обвинили чуть ли не в «отступничестве»!

Вот действительные пути, связывающие национальных писателей! Вот что мешает подлинному расцвету национальных литератур.

Реальными препятствиями на пути наших культур к единству, к настоящему богатству являются как великодержавная спесь, так и национальная ограниченность.

«Рост национального самосознания, — писала «Советская культура» («Ответственность художника»), — это преодоление национальной ограниченности, обособленности. Иначе наступают застой, топтание на одном месте, **обнищание**».

С этими словами перекликается и выступление Э. Топчана на V съезде писателей Армении: «Мы отвергаем национальную ограниченность не только потому, что она несовместима с нашим интернациональным мышлением, но и потому, что национальная ограниченность есть выражение литературной отсталости».

Искусственно национальные культуры не сольешь. Декретирование может привести лишь вред важному делу сближения культур. Но, я думаю, не менее вредят

ему и возведение искусственных препятствий, призывы к развитию в первую очередь специфически национального в каждой культуре. В этих призывах так и слышится: мы в общем-то и за сближение, и за единую культуру (коли уж об этом говорится в Программе КПСС), но не нужно спешить, не нужно торопить события, и вообще рано об этом говорить — это дело отдаленного и туманного будущего. Р. Бикмухаметов, например, с трогательной наивностью заявляет: «Я не знаю, что будет в будущем, но в настоящее время отказ от национального приведет просто к гибели искусства». (Заметим: отказ от взаимодействия — не приведет, а отказ от национального — приведет!).

Удивительное дело, в Программе КПСС черным по белому написано о формировании «будущей единой общечеловеческой культуры коммунистического общества», а советский критик, пытающийся разобраться в проблеме развития социалистических национальных культур, не знает, «что будет в будущем»!

Попробую возразить ему по существу дела.

Во-первых, если у национального добрая почва, крепкие корни, то ничего не задержит его развития. Лучшее, истинно здоровое в каждой культуре в любом случае выдержит испытание временем. И им, этим лучшим, все равно ведь делиться с другими!

Во-вторых, процесс взаимообогащения культур подразумевает не отказ от национального, а бурный взаимобмен национальным, и на этой основе — возникновение общенациональных качеств и традиций.

И, наконец, в-третьих, если мы станем пропагандировать тезис лишь о «национальном расцвете», то действительно отсрочим слияние национальных культур в единую коммунистическую до греческих календ.

Или, может, этого и хотят иные сторонники «воинства национального»: мол, бог с ним, со слиянием, пусть уж все остается так, как есть, лишь бы не утратить своего, национального...

Мне думается, это идет как раз от национальной ограниченности.

Я сам вовсе не хочу сказать, что братские культуры уже близки к полному сближению, что вот-вот родится чудесный сплав — единая общесоветская культура. Дело обстоит далеко не так. И именно поэтому я убежден: необходимо и полезно способствовать процессу сближения братских культур, поддерживать то, что уже

их сближает, а «национальное» при этом, повторяю, никуда не денется, это ведь нечто органичное, устоявшееся.

К общему нашему счастью, вопреки всем заклинаниям, процесс сближения социалистических наций и национальных советских культур уже идет. Он очень сложен и, как говорилось, еще далек от завершения (на этот раз вопреки иным прямолинейным тезисам статьи И. Грекула «Видеть не только частное»), но неотвратимо набирает темпы и силу.

Да, в нашем обществе сохранились нации. Но зададим себе вопрос: какова решающая тенденция их движения вперед? Двадцать лет назад между ними было куда меньше общего, чем ныне. Сорок лет назад — еще меньше! Значит, главное, определяющее в процессе развития наших наций — это то, что в их жизни постепенно исчезают разъединяющие их особенности, и нации сближаются.

«В период развернутого коммунистического строительства, — говорил Б. Н. Пономарев, — в развитии национальных отношений наступил новый этап — этап дальнейшего сближения наций и достижения их полного единства».

Подчеркнем: наступил!..

Эту мысль продолжил Ш. Рашидов в статье «Интернациональное воспитание советских людей» («Коммунист»): «Все интенсивнее становится обмен и духовными богатствами между социалистическими нациями. Культуры всех советских народов — национальные по форме, социалистические по содержанию — взаимно обогащаются, сближаются, расширяется их интернациональная основа. Таким образом, создаются условия для постепенного формирования в будущем единой общечеловеческой культуры коммунистического общества».

Подчеркнем: уже создаются!..

Корни, питающие процесс сближения братских культур, — в самой социалистической действительности.

В той или иной мере взаимообщение существует между всеми культурами мира, мы и использовали, и используем прогрессивный опыт зарубежной культуры. Но у советских народов — особые культурные взаимосвязи. Прочной основой для их взаимосближения служит фактическое равенство, равноправие наших наций,

ставшее возможным лишь после победы Великой Октябрьской социалистической революции, в условиях социалистического строя.

Всех нас объединяет общность судьбы и будущего, целей и дел, помыслов и свершений. У нас одна идеология — марксистско-ленинская, один моральный кодекс — строителей коммунизма. У нас, по выражению Ш. Рашидова, «общая жизнь, общие заботы, общие праздники». Единой семьей, рука об руку, мы создаем коммунистическое общество. Между жизнью советских братских республик давно уже нет китайской стены. Успех каждой из них — это успех всей страны, успехам страны радуется каждая республика.

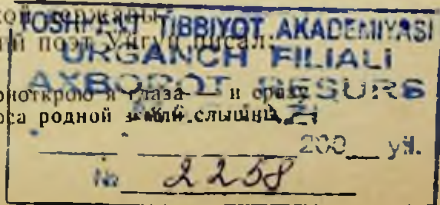
Азербайджанский художник слова Мехти Гусейн, рассказывая о своем родном крае, «страше вечных огней», взволнованно писал: «Наша республика всегда была, есть и будет неразрывной частью СССР, и оттого, что энергия, творческая инициатива наших людей служит счастью всех братских народов страны, их труд приобретает еще более глубокий и величественный смысл. Сердца азербайджанских рабочих и колхозников, писателей и ученых бьются в унисон с сердцами всех советских людей».

В годы Великой Отечественной войны советские нации сплотились в монолитную непобедимую семью. Тогда каждый с особой ясностью почувствовал неотделимость, зависимость собственной судьбы, судьбы своей родной республики от судьбы каждой из наших республик, от судьбы Советской Родины. Любопытный клочок советской земли стал особенно родным для каждого, будь то русский, узбек или украинец. Вонн узбек Рахманов писал друзьям: «Без Москвы, без Ленинграда, без Советской России нет свободного Узбекистана. Разбей врага под Ленинградом, и ты защитишь свой дом в Узбекистане».

Чувство «семьи единой», «страны единой» еще больше окрепло после войны, после нашей победы, одержанной мужеством и кровью всех советских народов, в годы, когда все наши нации общими усилиями взялись за восстановление и дальнейшее строительство социалистической советской

И когда узбекский поэт Уйгул писал:

Лишь проткнуло и глаза и сердце
Мне голова родной земли слышала



он подразумевал под родной землей не отчий край, Узбекистан, а всю нашу страну.

Все наше — мое. Все мое — общее. Вот по какому принципу уже живут советские нации.

И любое достижение любой из наших республик — наша общая гордость.

Как-то в «Известиях» была опубликована заметка о выдающихся женщинах Узбекистана, о том, что узбечки, прежде изнывавшие под гнетом тройного рабства: социального, религиозного, семейного, — ныне занимают высокие государственные посты, достигли больших научных успехов... Заметка называлась «Гордость Узбекистана».

Но это и общая наша гордость! Такие вести радуют москвича или ленинградца не меньше, чем жителя Узбекистана.

И трудовым подвигам узбекских хлопкоробов, достигших в выращивании и сборе «белого золота» невиданных рубежей, радуется вся страна.

Крупные национальные праздники тоже перешагивают границы республик.

Юбилей Тараса Шевченко, великого украинского кобзаря, отмечался в Узбекистане, как свой праздник, как большой праздник культуры всех советских народов — «семьи вольной новой» (какные провидческие, вещие слова!).

И юбилей Алишера Навои и бессмертного грузинского поэта Шота Руставели прошли у нас как светлые праздники всех братских наций.

«Руставели — грузин, но он принадлежит не только Грузии, — сказал Л. И. Брежнев. — Он принадлежит всем народам нашей многонациональной Родины... Вместе с Грузией вся наша страна, все прогрессивное человечество отмечают славный юбилей поэта».

Все вместе мы делим и радость каждого из нас, и горе каждого из нас. Так бывает только в семье... И единой семьей нам легче преодолевать беды и невзгоды.

Сердце каждого из нас дрогнуло в тревожной муке, когда мы услышали о землетрясении в Ташкенте. И каждый новый толчок рождал в наших душах боль и братское сочувствие. Сочувствие не пассивное, а действительное. Как брат приходит в беду на помощь брату, так все советские народы без промедления, активной, могучей поддержкой откликнулись на трагедию таш-

кентцев. Ведь Ташкент — это один из наших чудесных городов.

Но предоставлю слово Первому секретарю ЦК Компартии Узбекистана Ш. Р. Рашидову:

«В постигшей беде ташкентцы не остались одинокими. На помощь им пришла вся страна... Большую помощь Ташкенту предложили все народы советской Отчизны — наши братья из Москвы и Ленинграда, всех краев и областей Российской Федерации, Украины и Белоруссии, Казахстана и Грузии, Азербайджана и Литвы, Молдавии и Латвии, Киргизии и Таджикистана, Туркмении, Армении и Эстонии. На свои средства, из своих материалов и собственными силами они взялись построить в Ташкенте дома и целые кварталы общей площадью более 1 миллиона квадратных метров жилья...

...Столицу Узбекистана будет строить вся страна. Ташкент, всемирно известный как город мира, превратился ныне в город мужества, в город великой дружбы всех народов нашей Родины».

Все это еще раз показало, что наши народы — единая семья, с общими успехами, радостями и тревогами. С общей жизнью.

Общая для всех наших наций социалистическая действительность и является основным содержанием советской литературы, активно воздействующим на национальные формы в сторону их сближения.

Правда, Б. Буряк утверждал (в «Искусстве кино»), что известное определение «социалистическая по содержанию» не исключает национального момента в социалистическом содержании, ибо материальная основа содержания преимущественно **национальная**.

Не всем понятно, что подразумевается под «материальной основой содержания»... Но вот, предположим, узбекский писатель создает роман о рабочих узбекского металлургического завода им. Ленина. Их жизнь и труд, наверно, и будут «материальной основой содержания» романа? Так чем же этот труд на заводе, который строила вся страна, где работают представители тридцати семи национальностей и где почти половина молодых семей — интернациональные, должен отличаться в «национальном» плане от труда металлургов других советских заводов? Как рассказывает секретарь парткома этого завода, дружба между рабочими строится «не по национальной принадлежности, а по сов-

местной работе, учебе, общности взглядов, характеру людей»... Сам завод получает руду из Кривого Рога, нефть из Туркмении, кокс из Караганды, чугуны с Южного Урала, металлический лом — из всех республик Средней Азии. А продукцию свою отгружает (не считая Узбекистана) предприятиям РСФСР, Казахстана, Таджикистана, Киргизии.

В общем, этот **узбекский завод** — завод всех республик и для всех республик.

Или возьмем новые совхозные поселки в Голодной степи... Что в них резко национального, особенно если учесть, что и осваивают-то Голодную степь посланцы многих советских наций?

Жизнь, быт голодостепских совхозов отличается от жизни, быта, например, совхозов Крыма. Но говорить в данном случае следует, на мой взгляд, не о национальной специфике этой жизни, а о ее неповторимой конкретности.

А в чем специфика нынешнего Казахстана? Скульптор Вучетич на это отвечал так: тут специфика — это целина, миллионы пудов хлеба. А кто его растит? И казахи, и русские, и украинцы, и азербайджанцы. Кстати, мне как-то довелось переводить роман о казахстанской целине, написанный **азербайджанским** литератором.

Интересно и поучительно сравнить создаваемые сегодня произведения о прошлом той или иной нашей республики с произведениями о современной их действительности. В первых — больше национального колорита, ибо в прошлом было больше того, что отделяло нации одну от другой. Эти книги о прошлом кажутся национально колоритней еще и потому, что много в них непривычного для современного читателя, такого, что и ушло вместе с прошлым.

В развитии национальных отношений в нашей стране наступил новый этап: за годы социалистического строительства **«возникла новая историческая общность людей — советский народ»** (Л. И. Брежнев. Отчетный доклад ЦК КПСС XXIV съезду КПСС).

И если мы говорим о наших передовых людях — новаторах, ученых и тружениках, добившихся выдающихся успехов, мы подчеркиваем в них, прежде всего, то, что они — **советские**. А если упоминаем о национальности, то лишь для того, чтобы показать, как да-

леко вперед шагнули в условиях социалистической действительности остальные прежде народы.

Уже и за рубежом о нашей стране говорят и пишут не как о России, а как о Советах. И для зарубежных читателей, зрителей представители нашего искусства это, в первую очередь, представители искусства советского, к какой бы нации они ни принадлежали.

В Узбекистане был выпущен небольшой, но глубоко содержательный документальный фильм «Два имени, одна жизнь». В нем повествовалось о судьбе сироты Коли Фатеева из Уфимской губернии, которого усыновила узбекская бедняцкая семья Кулматовых (кишлак Келмес). Парнишка стал Ахмаджоном Кулматовым, уважаемым человеком в Келмесе, хлопкоробом. У него дети, внуки... Показывая на экране всю семью Ахмаджона, авторы фильма спрашивают: «Как назвать ее, эту семью? Русская? Узбекская?» И отвечают: «Советская!» Два имени у этого человека: Ахмаджон и Николай. И одна судьба, одно счастье, одна родина».

Да, одна родина — Советская страна.

И когда наш прославленный дирижер в европейском фраке ведет концерт за рубежом, я горжусь не только тем, что он мой, русский, сколько тем, что он наш, советский...

Я прежде всего советский человек, а потом уже русский. Мне дорога вся страна. Я люблю Россию и своих земляков. Люблю Узбекистан и его людей, близких мне по духу и целям, а часто и по характеру.

Когда Ш. Рашидов был в Киеве, на праздновании 300-летия воссоединения Украины с Россией, он говорил: «Я пишу по-узбекски, Тычина, Бажан — по-украински, но мы быстро нашли общий язык: ведь у нас одна цель, одни задачи, а постоянный творческий контакт помог нам хорошо узнать друг друга» Украинцы ободно беседовали с Ш. Рашидовым об узбекской литературе и задавали вопросы, настолько свидетельствованные об их осведомленности, что узбекскому оставалось только пошутить: «Да с кем я разговариваю, с украинскими писателями или узбекскими?» Хотелось бы еще добавить, что ведь и я, и мои братья из республик учились в одинаковых советских школах и институтах, воспитывались, в основном, на одних и тех же книгах, мы читаем одни и те же журналы и газеты, нас одинаково волнуют одни и те же темы, в водовороте которых мы живем.

А «единая для всех народов нашей страны идеология — марксизм-ленинизм, которой все более проникаются советские люди, идейно цементирует дружбу советских народов» («Правда»).

Нет, все это больше, чем дружба, правильной говорить о тесном единстве наших народов.

Чудесны плоды этого единства! Одно из чудес социализма — дружба народов сама вершит чудеса.

Мехти Гусейн так писал о конкретном воплощении великой ленинской идеи братства народов в Азербайджане: «На реке Куре построена мощная электростанция, создано Мингечаурское море. Поток электроэнергии устремился в города Азербайджана и Грузии. Вода щедро напоила иссушенную землю. Вместе с азербайджанцами Мингечаургэс возводили русские, украинцы и посланцы других народов Советского Союза. Братская трудовая дружба оказалась великолепной школой для мастеров, инженеров, для нашего рабочего класса, прошедшего славный путь борьбы и побед».

И Узбекистан сделался республикой передовой, могучей индустрии благодаря братской поддержке других народов. Экономическому мужанию Узбекистана и братских республик способствуют соревнование, обмен опытом узбекских и азербайджанских хлопкоробов и текстильщиков Иванова и Ташкента, металлургов Урала и Бекабада, строительство газопроводов Газли — Ташкент, Адамташ — Ташкент — Алма-Ата — Фрунзе, сооружение на земле Киргизии, в Тогтогуле, крупного водохранилища, которое утолит жажду также и земель Узбекистана и Таджикистана, а в Каракалпакии — гидроузла, который напоит живительной влагой туркменскую землю.

Узбекистан — край «белого золота» — во все концы страны шлет свой хлопок. Это его вклад в общую сокровищницу наших богатств, и этот вклад все увеличивается: в 1967, юбилейном году, Узбекистан подарил родине более 4 миллионов тонн хлопка — невиданный урожай!.. Но он бы не мог сделать такого щедрого вклада, если бы не получал тракторов из Волгограда и Алтая, автомобилей из Минска и Горького, нефть из Баку и Небит-Дага, уголь из Караганды и Кузбасса и другие дары из всех уголков нашей страны.

Примечательнейший пример действительной и плодотворной взаимопомощи братских республик — Газли.

Россия помогла Узбекистану найти газ. Узбекистан одарил своим газом Россию.

А Навои — краса и гордость современного Узбекистана? Сколько труда и таланта вложили в его создание ленинградские проектировщики, строители из многих республик!

И все наши народы поют гимн этому прекрасному братству!

Тема дружбы народов, как писал Ш. Рашидов, «широко представлена в творчестве видных литераторов наших республик — О. Гончара и Ч. Айтматова, П. Бровки и М. Турсун-заде, В. Лациса и Б. Кербабая, Р. Гамзатова и М. Ибрагимова. В их произведениях, как и в произведениях других наших литераторов, ярко выявляется замечательное свойство советской многонациональной литературы — активное утверждение идей социалистического интернационализма». Пафосом дружбы народов согреты и произведения писателей Узбекистана. Эта тема — одна из центральных в узбекской литературе.

Ей посвящены поэма Х. Алимджана «Слезы Роксаны», пьеса Яшена «Путеводная звезда», стихотворение Гафура Гуляма «Ты не сирота», книги Айбека.

В узбекской прозе она воплощена в произведениях о прошлом республики, ведь свое счастливое будущее узбекский народ созидал рука об руку с другими народами. Романы «Светоч» Х. Гуляма, «Сестры» А. Мухтара отображают нерушимое братство узбеков и русских, их совместную революционную борьбу и строительство социализма. В исторических романах А. Алмаатинской, как и в повести Мирмухсинна «Молнии в почве», вскрыты далекие истоки дружбы узбекского и русского народов.

Тема дружбы народов воплощена и в произведениях узбекских прозаиков о Великой Отечественной войне. Айбек в романе «Солнце не померкнет», Ш. Рашидов в романе «Могучая волна», обратившись к еще неостывшим годам Великого Испытания, раскрыли могучий источник нашей победы над фашизмом — монолитность советского многонационального народа.

Какая гордая многозначительность в словах героя повести М. Мухамедова «Рядом с врагом», узбек-коммиссара, бросающего в лицо фашистскому офицеру: «Имя мое Шерали, фамилия — Султанов. Моя Родина — Советский Союз».

Выращивание хлопка — интернациональный долг

узбекского народа. И почти во всех произведениях, рисующих современную колхозную действительность Узбекистана, тема самоотверженного труда хлопководов закономерно и естественно сливается с темой дружбы народов, с темой интернационального братства.

Убедительное воплощение нашла эта тема в романах о покорении узбекских пустынь, ведь Голодная степь и другие целинные просторы осваивались и осваиваются узбекскими труженниками в тесном содружестве с казахами, таджиками, корейцами, русскими, украинцами...

А Газли? Обратимся к небольшой повести И. Рахима «Огнероб» и вспомним эпизод со взрывом газа, перепугавшим многих суеверных людей, к тому же еще сбитых с толку шарлатанскими сказками ишана, сторожившего «адский огонь». Здесь дружба народов выступает и как сила, направленная против религиозных предрассудков. Ишан жалок перед мудростью и зрелым опытом этой дружбы, большинство ему не верит, «люди многих национальностей — узбеки, русские, украинцы, азербайджанцы, туркмены... побывавшие в разных местах, и сейчас держались так, словно знали, что произойдет в Газли». И это их уверенное спокойствие придает отвагу и решимость тем, кто готов был удариться в панику.

В светлом, я бы сказал, теплом гуманистическом плане решена тема дружбы народов в киноповести Р. Файзи «Ты не сирота», где рассказывается о щедрой отзывчивости простой узбекской семьи, усыновившей, воспитавшей, как своих собственных, «детей войны», маленьких представителей чуть ли не всей нашей многонациональной страны: казаха, русского, украинца, эстонца и других... Это — подвиг, но подвиг, подготовленный всем строем нашей жизни, рожденный добротой широкого, горячего сердца, способного вместить в себя горе всего народа, следующего благородному, гуманному, общесоветскому принципу: человек человеку друг, товарищ и брат. В странах «свободного мира» случай, взятый Р. Файзи из самой жизни (речь идет о семье ташкентского кузнеца Шаахмеда Шамахмудова и Бахри Акрамовой, усыновившей и воспитавшей шестнадцать детей), был бы, со всеми его конкретными оттенками, просто невозможен!

Как мощно звучит чувство «семьи единой» в словах женщины, обращенных к тем, кто пришел взять из

детского дома обездоленных войной сирот: «...наш народ не даст им остаться сиротами. У нашего народа доброе, щедрое сердце. Оно согреет их, как солнце... Усыновив детей украинцев, мы докажем, что и в трудный час испытаний остались верными друзьями и кровными братьями... Взяв на воспитание русского ребенка, мы лучше всяких слов скажем о своей преданности старшему брату... Наша человечность не позволит бросить на произвол судьбы эту маленькую молдаванку. Она нам не чужая. Она наша дочь!»

Словно к родным, относятся старая Фатима и ее муж к своим приемным детям. Разноплеменная семья крепнет в совместном преодолении нужды и тягот военного времени.

Во многих произведениях узбекских писателей наличие страстная пропаганда дружбы народов яркими художественными средствами.

Но порой — и это относится не только к литературе Узбекистана — мы сталкиваемся с внешним, механическим решением этой ответственной темы. Бывает еще так, что она подтверждается лишь любовью и браком разноплеменных героев. Чаще же писатель констатирует сам факт дружбы народов, не показывая, к каким великим результатам приводит эта дружба. Иные литераторы полагают, что достаточно сфотографировать вместе, например, русского, узбека, украинца, грузина, — и цель достигнута. Сколько мы читали произведений о Великой Отечественной войне, где старательно перечислялись национальные фамилии, — этим доказательство монолитности советского народа и ограничивалось.

Но простая фиксация факта вряд ли способна вызвать в сердце читателя нужный отклик. Да, отрядно видеть вместе представителей разных советских наций. Но куда отрадней лишний раз убедиться в действенной силе их единения, увидеть, как благодаря дружбе, нерушимому братству добиваются они все новых и новых побед. Важно показать, что русский, узбек украинец и грузин сражались в дни войны плечом к плечу. Но еще важнее доказать художественным показом, что именно эта дружба и помогла разгромить фашизм. Важно показывать дружбу колхозов, заводов разных народов, но еще важнее показать, например, что только крепкой семье советских наций был под силу такой коллективный подвиг, как освоение целины. Показать, как друж-

ба наций делает более могущественным весь наш народ. Ведь помощь всех республик создает благотворные условия для еще большего расцвета каждой из них, а, став сильнее, каждая оказывает еще большую помощь остальным.

В этом смысле верный путь избрал А. Мухтар в своих книгах о прошлом. Русский большевик Степан в «Каракалпакской повести» помогает каракалпакам преодолеть межродовую вражду, — еще неизвестно, как развернулись бы события, не попади в аул человек, сам свободный от национальных предрассудков. Перед нами конкретный факт благотворного влияния русского народа, уже накопившего передовой, революционный опыт, на жизнь нации в то время еще отсталой, так как ее развитие искусственно тормозилось и кровавым царизмом, и местными богатеями и знатью, которым рознь между бедняками, простыми тружениками была только на руку.

В конкретных ситуациях выражается дружба узбеков с русским народом и в романе А. Мухтара «Сестры». Когда правительство решает вместо артели строить ткацкую фабрику, Россия спешит помочь формирующемуся рабочему классу Узбекистана оборудованием, опытом, кадрами. Узбекские ткачихи едут учиться в Москву, на Трехгорную мануфактуру. Иваново-Вознесенск присылает станки. Узнав об этом, одна из героинь, Софья Борисовна, взволнованно говорит: «Мой родной город... И вот он протягивает нам руку!» Характерно это «нам» — русская женщина не отделяет себя от своих узбекских сестер.

В одном этом эпизоде и сам факт дружбы, сроднившей узбеков и русских, и ее зримая плодотворность.

Подобные эпизоды, ситуации, образы правдиво отражают саму нашу действительность, происходящие в ней знаменательные процессы.

Примечательнейшие, крутые перемены в нашей жизни почему-то подчас игнорируются защитниками «национальной самобытности». Они избегают четких формулировок, иначе пришлось бы поставить все точки над «и», а тогда рассыпались бы многие их теоретические построения. Как уже упоминалось выше, в своих статьях они предпочитают говорить о нациях «вообще», хотя в нашей стране нации развиваются как новые, социали-

стические и в корне отличаются от старых, буржуазных наций.

Однако именно туманность определений позволяет иным авторам выступать с такими, например, высказываниями: «Никогда писатель не «творит для всех народов» (З. Шашкин, «Вопросы литературы»). «А разве можно писать для «всех» народов? Я не могу представить себе такого писателя» (Р. Бикмухаметов).

Следовало бы уточнить: что это за «все» народы? Народы всего мира или все советские народы? Но все советские народы — это советский народ. И для него, уверяю, можно и нужно писать. У меня немало друзей, литераторов разных республик, которых, когда они пишут, очень заботит, как встретят их книги и в России, и на Украине, и в Узбекистане... Они стремятся ставить проблемы, общие для всей страны (именно такие книги и выдерживают испытание временем), и прилагают все усилия, чтобы их произведения оказались достойными перевода на братские языки. Стоит отметить, что у нас не переводятся произведения лишь слабые и национально ограниченные. Но содействуют ли такие произведения расцвету национальных культур?

Кстати, узбекский писатель Ш. Рашидов посвятил свой роман «Могучая волна» Ленинскому комсомолу (и писал его для **всей** советской молодежи), а не комсомолу только своей республики. И это одно из лучших произведений узбекской литературы последнего времени.

Р. Бикмухаметов пишет также, что «в основе развития литературы (какой — современной советской? — Ю. К.) лежит служение народу, нации...»

А Б. Буряк утверждает, что художник **должен** изображать жизнь **своей** нации.

Всякий норматив в литературе («должен», «не должен») плох уже тем, что это норматив.

Но критики здесь не правы и по существу.

Воспевание советскими художниками только своего края воспринимается уже как тематическая узость, идейная ограниченность. Да ныне просто трудно, почти невозможно писать лишь о своей нации. Необходимо учитывать такой важный и примечательный фактор, как многонациональный состав наших республик!

«Нет у нас ни одной крупной стройки, ни одного большого предприятия, где бы не трудились представители разных национальностей, — напоминал в одной из статей Ш. Рашидов. — Характерный пример в этом

отношении может дать Узбекистан, в котором живут и трудятся люди более ста национальностей».

И для каждой из них Узбекистан — это своя республика.

Мне довелось прочитать в рукописи роман русского литератора Дм. Трунова, жителя Дагестана, — «Цветы на камне». Роман посвящен борьбе дагестанских садоводов, колхозников за возвращение горам зеленого покрова. Автор сумел придать «местной» проблеме общесоветское звучание, ибо для него труд, деяния героев — эпизод нашей общей борьбы за счастливое будущее. В то же время автор бережно и со знанием дела изображает местный колорит, национальные характеры, воспроизводит оттенки местного речевого стиля, — на мой взгляд, ему как раз больше, чем образы русских, удались образы дагестанских колхозников. Он живет среди них и знает их не понаслышке и не «со стороны». О том же и так же (или почти так же) мог бы написать и местный, национальный писатель.

Хочется подчеркнуть, что точная обрисовка «местного», «дагестанского» в романе Дм. Трунова — это не столько результат пристального, трудного изучения чуждого уклада жизни, сколько результат тесного знакомства с этой жизнью, результат того, что «чужая» жизнь стала для автора — и, видимо, уже давно — «своей», и автор, и его разноплеменные герои — это советские люди с общими интересами и устремлениями, у них общий противник, потому-то рассказ о событиях, происходящих в дальнем дагестанском ауле, получился у русского литератора таким естественным, ненапряженным...

Правда, есть в национальных республиках и такие русские писатели, которые словно бы отгородились и от «местного» литературного процесса, и от «местной» жизни. Их творчество не прикреплено к конкретному краю, темы стихов, рассказов — «общие», обстановка, рисуемая ими, расплывчата.

И это воспринимается как недостаток.

Между прочим, многонациональность писательских организаций дает интересный аспект рассмотрения взаимовлияния братских литератур. Оно здесь как-то конкретней и теснее, более «личное», что ли... Литераторов, пишущих на разных языках, объединяет и общность жизни и общность условий работы, и постоянство, не-

посредственность творческих и личных контактов. Оттого-то так действенно и зримо влияние узбекской литературы на творчество М. Шевердина, А. Иванова или, наоборот, писательских достижений С. Бородина — на творчество узбекских писателей...

Надо сказать, что и литераторы коренной нации в той или иной республике не могут, не нарушая жизненной правды, не отражать жизнь своих земляков — представителей братских наций.

Например, в рассказах молодого прозаика С. Мамедзаде, живущего в городе интернациональных традиций — Баку (и, кстати, пишущего на русском языке), действуют на равных правах герои разных национальностей, из разных уголков нашей великой родины.

Более того, национальные писатели все чаще выходят тематически за пределы своих республик, в больши́е, «общесоветские» темы, и не в погоне за «чужой» экзотикой, а потому, что они кровно заинтересованы в том, что происходит в их стране, и чувствуют себя связанными узлами братства со всеми нашими нациями.

Если в прошлые века крупные писатели обращались к жизни и быту других народов, то ныне в наших, социалистических условиях такое обращение тем более закономерно. И плодотворно! Творческая практика многих разнонациональных советских художников слова показывает, что «выход» в большую тематику обновляет и форму, обогащает стиль, тематическая же «самоизоляция» (рожденная постулатным нежеланием писать «о других», «не своих нациях») приводит к обеднению содержания и окостенению традиционных форм.

«Постоянный творческий контакт, интерес каждого национального писателя к литературе и жизни всех советских республик, — отмечал Ш. Рашидов в статье «Единая, многонациональная...» («Литературная газета»), — расширили наш кругозор, раздвинули идейно-тематические рамки наших произведений. Национальные писатели все чаще создают произведения, ярко и правдиво, в своеобразной национальной форме отображающие жизнь других советских республик».

Русские очеркисты устремляются в Голодную степь, чтобы своими глазами увидеть ее преображение: ведь события, происходящие там, этапны для развития всей нашей страны, а поэтому к каждому из нас имеют прямое отношение.

Азербайджанский писатель едет в Казахстан, на целину, справедливо полагая, что через «целинную» тему можно раскрыть многие процессы и явления, типические для жизни нашей Родины.

В свое время русский писатель П. Лукницкий в «Ниссо» описал историю горской девушки, ее путь от бесправия к свободе.

Замечательный русский поэт Я. Смеляков привез из Узбекистана цикл проникновенных стихов о достопримечательностях и людях этого края.

А узбекский поэт Шукрулло создал полную шемящего лиризма поэму о России.

Поездка грузина И. Нонешвили в Казахстан дала ему благодатный материал для цикла стихов «В полях Казахстана».

В сборнике «Жизнь с мечтой», изданном в Узбекистане и освещающем узбекскую действительность, наряду с узбекскими представлены и русские писатели, москвичи, ленинградцы, связавшие свое творчество с жизнью братской республики. А состав стихотворного сборника «За круглым столом», тоже вышедшего в Ташкенте и тоже посвященного Узбекистану, еще более многонационален: тут и русские поэты, и грузинские, и армянские, и таджикские, и украинские... «Много теплых слов сказано о республике поэтами всех советских народов,— говорится в предисловии к сборнику,— ...место за круглым столом, где собрались поэты различных поколений и национальностей, всегда найдется для друга и брата».

А если составить сборник произведений советских писателей о столице нашей Родины, древнем русском городе Москве,— сколько стояло бы в оглавлении национальных имен!

Все ширится и становится повседневней, тесней, так сказать, «творчески-тематическое» общение между отдельными нашими республиками. В этом отношении показательны «прямые» связи между Узбекистаном и Украиной.

Произведения лучших украинских мастеров пера — М. Рильского, А. Корнейчука, О. Гончара, М. Стельмаха, Н. Рыбака, М. Бажана и других — давно уже сделались достоянием узбекского читателя. И наоборот: книги узбекских писателей популярны на Украине.

Но не только узбекская литература — сам Узбекистан стал близким сердцу украинских литераторов.

Многие из них побывали на узбекской земле, и после этого не только укрепилось их сотрудничество с узбекскими братьями по перу, но появились произведения украинцев об Узбекистане.

Корни этого «тематического» взаимообщения уходят в давние годы — еще тридцать лет назад Иван Ле написал «Роман Межгорья», где решалась проблема освоения Голодной степи.

После об Узбекистане и его труженниках писали и П. Тычина, и М. Бажан, и М. Терещенко, и П. Воронько...

А Советской Украине посвятили свои произведения узбекские писатели: Х. Алимджап («Любовь» и «Другу, уезжающему с востока на запад»), Уйгун («Вегры Украины» и «Реки»), Зульфия («Люди, близкие сердцу», «Его звали Фархад»), Х. Гулям («На берегу Днепра»), Х. Пулат («Дорогая Украина») и другие.

Создание подобных произведений о братских республиках — это не «вежливая дань» гостей, они написаны по долгу сердца, по долгу братства, рождены горячим интересом национальных писателей к жизни своих иноплеменных братьев, продиктованы братской, патриотической любовью к их земле как неотделимой части нашей общей Родины.

Когда мы говорим о социалистическом содержании и национальной форме, то подчас берем эти понятия оторванно, изолированно одно от другого и даже чуть ли не противопоставляем их друг другу. Получается так, будто содержание объединяет национальные литературы, а форма разъединяет их.

Но разве мы вне этой формулы не признаем примат содержания над формой? Разве содержание не воздействует на форму?

В форме отражается содержание самой жизни. И форма не безразлична к содержанию. Она видоизменяется в соответствии с развитием содержания.

Содержание нашей литературы — новое, социалистическое, отражающее главное в нашей жизни, наш общий путь к будущему. Это новое содержание взрывает форму изнутри, существенно изменяет ее. Нельзя о новом писать по-старому!

И национальная форма сегодня — это форма, как бы «апробированная» новым содержанием.

«...Аруз или какая-либо другая национальная еди-

ничность, национальная форма может на известном этапе явиться формой для нового содержания, — писал К. Л. Зелинский, — но в то же время само содержание начинает собой «пропитывать» новую форму, и тем самым видоизменять ее сообразно той цели, которая заключена в нем: стать всеобщей, общечеловеческой».

Национальная форма есть средство отображения жизни данной нации. Но поскольку в современной социалистической действительности братских республик все больше укрепляется общесоветская основа, то это не может не «откликнуться» и на национальной форме. Новое общее для всех наших литератур содержание объединяет и национальные формы, все активней стимулирует их взаимопроникновение.

«Сегодня писатель, — утверждает киргизский критик М. Борбугулов, — должен сверять созданные им образы не со стандартами и эталонами — старыми или новыми, а с единственно верным компасом — с большой правдой жизни».

А правда жизни у нас одна!

Не могу удержаться, чтобы не привести высказывания двух больших национальных художников слова, удивительно солидарно перекликающихся друг с другом.

«...Национальная форма... находится в постоянном диалектическом развитии: нельзя ее рассматривать, как нечто неизменное, застывшее, раз навсегда данное. Одни ее качества отмирают, другие нарождаются: происходит непрерывное, а сейчас особенно бурное обогащение национальной формы новыми качествами». И далее: «Источником обогащения национальных форм является сама жизнь и тесное творческое общение, взаимовлияние различных литератур».

Это — азербайджанец Самед Вургун. Его мысль словно бы продолжает казах Мухтар Ауэзов:

«Именно социалистическое содержание раскрывает безграничные возможности для обогащения национальной формы литератур народов СССР. Новое, социалистическое содержание делает эти формы не застывшими, а живыми и развивающимися, отвечающими художественному опыту народных масс».

В свое время по всему Советскому Союзу прошло объединение крестьянства в сельскохозяйственные артели. Это был сложный процесс, проходивший по-своему в каждой республике, по-своему, но и с многими

общими чертами. Тему коллективизации — в разное время и тоже каждый по-своему — решали М. Шолохов, Ф. Панферов, Х. Шамси, А. Каххар (Узбекистан), Мехти Гусейн (Азербайджан), грузинские писатели... Но так как в самой теме заложено «общее», то это наложило отпечаток и на форму разнонациональных произведений, сделав их во многом близкими друг другу. Нужно к тому же учитывать влияние могучего шолоховского таланта на творчество национальных прозаиков. И все это — общность темы и содержания, общность литературной школы — не нивелировало творческие индивидуальности, а способствовало их мужанию и росту.

Прежде, когда национальные писатели почти не выходили — тематически — за пределы своей республики, а в жизни каждой республики было куда больше «отдельного», «особенного», чем сейчас, естественно, больше отличались друг от друга и национальные формы. И это сдерживало их развитие.

Но все чаще национальные достижения стали превращаться в общесоюзные события — такова сущность нашей социалистической действительности.

И когда в Узбекистане приступили к строительству Большого Ферганского канала, об этом написали и узбеки, и русские, и украинцы. Общее содержание, общий материал не могли не повлиять на национальные формы. А поскольку в творчество, например, русского писателя вошло новое содержание, новый для него колорит, узбекский национальный характер, то все это обогатило его творчество.

Опять перед нами сближение форм наряду с обогащением.

Новое содержание определяет и отсеивает в национальной форме старое, отживающего, обветшавшего. «Не менее важным в отношении национальной формы при социалистическом реализме, — отмечал М. Ауэзов, — следует считать обогащение форм через отказ от условностей прошлого».

Невозможно ни рассматривать, ни решать отдельно вопрос о национальной форме и о взаимовлиянии братских литератур.

Новое, социалистическое содержание, диктуя новую национальную форму, делает и необходимым, и особенно плодотворным взаимообмен формальными достиже-

ниями. Общность нашей жизни, наших целей и интересов способствует активному взаимоусвоению творческого опыта братских культур, в том числе и литератур. Для нас естественно относиться к достижениям и традициям наших литератур как к общему достоянию. Естественно учиться друг у друга. А в процессе этой учебы, интенсивного культурного взаимодействия и взаимообмена рождаются общие традиции, общий опыт как органическая часть опыта национального.

Например, роман — не исконная узбекская форма. Его появление в узбекской литературе — это результат обращения к уже накопленному опыту русской и других литератур.

Что же, значит, роман — не «узбекский» жанр? Но попробуйте представить себе без него современную узбекскую литературу! Жанр романа — это уже общее для всех наших литератур.

Надо сказать, что глубокий психологизм, присущий многим произведениям нынешней узбекской прозы, тоже не возник сам по себе, а созрел потому, что узбекская литература могла опереться на передовой общенациональный творческий опыт. Ведь такого психологизма в восточной поэзии не было...

В одной из статей об узбекской культуре говорилось, что «она своим существованием, а не только сюжетами и образами произведений... — детище и символ родства, нерасторжимой дружбы народов. Разве мыслима интеллектуальная жизнь сегодняшнего Узбекистана без балета и оперы, без драматического театра, без кинематографа и станковой живописи? А ведь они пришли в Узбекистан из России».

Кстати, о балете. Мы часто говорим о русской школе в классическом балете. Но сейчас этот балет русский лишь в своих истоках. Он за последнее время многим обогатился и помог становлению, обогатил балеты других наших республик. Русская балетная школа уже не принадлежит лишь русской нации. Правомерней говорить о советском балетном искусстве, представителями которого являются и Майя Плисецкая, и Галия Измайлова, и Вахтанг Чабукиани.

В то же время Галия Измайлова — это национальная гордость узбекской культуры.

Скажем так: классический балет — это искусство не типично узбекское. И однако же успехи узбекских танцовщиц именно в классическом балете типичны для се-

годняшнего Узбекистана. И не случайно армянская певица Гоар Гаспарян, талантом которой гордится Армения и вся наша страна, говоря о постановке балета «Дон Жуан» (балета отнюдь не узбекского!) в Ташкентском театре оперы и балета им. Алишера Навои, отметила, что эта постановка — «свидетельство значительного культурного прогресса Узбекистана».

Примечательное явление — творчество художника Урала Тансыкбаева. По национальности он казах. Учился в студии при Ташкентском музее искусства, затем закончил художественное училище в Пензе (итак: Казахстан — Россия — Узбекистан). Но жил и творил он в Ташкенте. Специфика его картин — узбекская (как и у многих русских живописцев, живущих в Узбекистане). Это узбекский художник. А в манере его угадывается влияние и армянина Сарьяна, и русского Нисского...

Вот ведь как все сложно переплелось!

Подобные сочетания — я бы сказал, сплавы — встречаются в нашей действительности все чаще. Они органичны для нее.

Бурный и постоянный межнациональный обмен тематикой, жизненным материалом дал право композитору Ване Мурадели написать: «Я представляю себе, как белорусская муза может вдохновить композитора-сибиряка. И спустя известное время где-нибудь на берегах Енисея могут появиться «Сюита на белорусские темы», оратория или опера «Партизаны Полесья», «Песня о льноводах». Так же слышатся мне белорусские «Песня о Енисее», кантата «Братск», «Таежные симфонии»...

Вполне реальное предположение!

И, например, узбекские музыкальные темы уже можно услышать в лучших произведениях разнонациональных советских композиторов.

Когда Дмитрий Шостакович был в Узбекистане, он заявил в своем интервью корреспонденту «Правды Востока»: «...Я всегда с большим интересом следил за вашей узбекской музыкой. В моей библиотеке немало музыкальных сборников с записями национальных произведений народов среднеазиатских республик. Вспомним, кстати, что в моих Девятой и Одиннадцатой симфониях есть ориентальные темы, идущие от вашей народной музыки».

И это не дань ориентализму, ориенталистской моде,

а органическое освоение наших общих богатств. Без этого теперь не обойдешься, и в условиях социалистического общества это естественно. Наши национальные культуры делятся друг с другом всем, вплоть до мелочей, и им легко делиться, ибо в жизни республик все больше общего.

К слову, и многие проблемы, стоящие перед нашими литературами, — общие. Есть и сходные недостатки — как болезни общего роста.

На мой взгляд, один из главных аспектов взаимообщения литератур — это взаимная учеба писателей.

Мы перенимаем здоровое, плодотворное даже из буржуазных культур. Как же нам не учиться друг у друга — при общности идеологии и художественной платформы?

Учиться — вовсе не значит непременно находиться под чьим-то конкретным влиянием. Не обязательно русскому поэту создавать рубайн, а узбекскому прозаику подражать грузинской новеллистике. Хотя и такое можно себе представить...

Но обязательно овладеть общим опытом. Не знать, что делают, чего добились твои единомышленники — писатели братских республик, обходить стороной, игнорировать наш общий опыт, — значит, обкрадывать себя.

Опора же на этот общий опыт, повторяю, способствует все более тесному сближению братских литератур. Надо хотеть и уметь учиться друг у друга, а не ограничиваться правильными декларациями «о взаимообщении», — и тогда этот процесс будет идти все активней.

Это хорошо понимают лучшие представители братских культур. Обращение к общему опыту, учеба у литератур братских республик помогли стать на ноги целым литературам, и уж тем более помогли творческому возмужанию многих писателей.

«Туркменская пословица гласит,— напоминал Берды Кербабаяев:—«Халат, скроенный по совету, коротким не будет». Так и совет, творческая помощь русских писателей, приобщение наше к живым родникам русской культуры помогли литературе туркменской стать в общую шеренгу литератур Советского Союза, получить мировое звучание.

А послушайте Зульфию: «Какой бы бедной была каждая из наших литератур, развивайся она обособ-

ленно, без связей с русской и другими советскими литературами. Мне невозможно представить, что я не знаю творчества Шолохова, Твардовского, Тихонова, Мирзо Турсун-заде, Расула Гамзатова, Чингиза Айтматова, Мустая Карима, Ираклия Абашидзе...»

«Поэты нового поколения,— говорил в свое время Мухтар Ауэзов,— стремятся использовать лучшие традиции не только родной казахской поэзии, но и литературные традиции других народов. Они стучатся в каждую дверь, желая расширить свой кругозор, найти прекрасное во всем том, что окружает их (а у нас двери в это прекрасное для них распахнуты настезь! — Ю. К.). Они хотят знать, как пишут, например, такие поэты, как Твардовский, Исаковский, Гамзатов. И это закономерно: нельзя замыкаться в узкие рамки родной литературы, уподобляться одинокому всаднику, который скачет в степи, состязаясь с перекасти-полем. Не зная традиций великой русской литературы, не познакомившись с лучшими творениями других братских литератур... сейчас невозможно занять свое место в поэзии».

И только при творческом освоении всего опыта наших литератур у писателя «крепнут крылья для полета».

Подчеркиваю: при творческом.

Я, например, не берусь утверждать, что на прозу Шарафа Рашидова оказала прямое воздействие поэзия Маяковского, в которой и страстность трибуна, и лиро-эпическая струя. Но, в принципе, узбекский прозаик шел, конечно, и от этой поэзии, у него и у Маяковского—общие гражданско-художественные позиции, в романах «Сильнее бури», «Могучая волна» — налицо и страстная публицистика и лирико-публицистическое начало, прямое — от сердца к сердцу — обращение к читателю.

Убежден: без любви к творчеству Маяковского, без знания его поэзии, без вдумчивой учебы у него не было бы того Шарафа Рашидова, каким знает его сегодня всеозоный и зарубежный читатель. Палитра художника была бы беднее...

Великим учителем для наших национальных писателей явилась русская литература — классическая и советская. Они опирались на ее огромный опыт в целом, многие же выбирали себе в литературные наставники конкретных, любимых русских писателей.

Так, можно говорить о творческом освоении А. Каххаром гоголевской и чеховской традиций.

Садриддин Айни не скрывал, что его многому научило, оказало решающее влияние на его формирование как писателя творчество Максима Горького: «Как и русские литераторы, мы, писатели братских советских республик, считаем Горького своим великим учителем... Мои «Воспоминания»... написаны под непосредственным влиянием «Детства», «В людях» и других произведений великого мастера».

Выдающийся советский русский писатель, Герой Социалистического Труда Константин Федин сделался литературным наставником для узбекского прозаика Пиримкула Кадырова. П. Кадыров признается, что именно К. Федин заразил его любовью к Льву Толстому и дал ему «ключ к более углубленному пониманию художественного гения Л. Толстого». Но для молодого писателя не прошло бесследно и знакомство с творчеством самого К. Федина. «В течение последних двенадцати лет я написал два романа и, работая над ними, очень часто вспоминал уроки, полученные мною на романах К. Федина. Подлинно высокий интеллект, поэзия образного мышления, поваторское искусство сюжетного и композиционного построения многопланового романа — вот некоторые из заветных фединских высот, к которым стремимся мы, писатели младшего поколения».

Трудно переоценить роль русской советской литературы — и в целом, и в ее лучших образцах — в становлении наших братских писателей как писателей именно советских.

Сейчас же сфера взаимообщения, взаимовлияния, взаимной учебы национальных писателей несравнимо расширилась и расширяется все больше.

Например, молодые узбекские писатели учатся уже не только у своих мастеров, не только у старших братьев — русских писателей, они осваивают богатства, накопленные и накапливаемые литературами всех наших республик.

«Мне уже трудно представить, — замечает Шараф Рашидов, — как бы я мог писать, не зная творчества Якуба Коласа, Вилиса Лациса, Андрея Упита, Мухтара Ауэзова, Гумера Баширова».

Через переводы на родной язык, но, главным образом, на русский — национальные писатели приобщают-

ся и ко всему здоровому, плодотворному в мировой — классической и современной — литературе.

Надо сказать, что к вопросу о взаимовлиянии национальных литератур мы порой подходим односторонне: говорим о благотворном воздействии русской литературы на национальные и мало занимаемся рассмотрением того, как братские литературы влияют на русскую.

Этой проблемы коснулся в своих статьях, опубликованных в «Литературной газете», К. Л. Зелинский. Но он привел примеры скорее «переплавки» русскими писателями инонационального жизненного материала, чем воздействия на их творчество чисто литературного инонационального опыта. Более того, маститый литературовед программно заявил, что важнее всего «показать, как сама жизнь, действительность других наций и народностей повлияла на рождение книг писателей».

Выше и я говорил, подтверждая это конкретными фактами и книгами, о подобном влиянии. Добавлю также, что многие традиционные герои братских литератур, инонационального фольклора перешли в творчество русских писателей. Например, знаменитый Ходжа Насриддин — это уже наш общий герой, мы лучше узнали его, ближе с ним познакомились, прочитав «Возмутителя спокойствия» и «Очарованного принца» Л. Соловьева, «Веселого мудреца» Б. Привалова. Тот же Б. Привалов написал юмористическую повесть о детстве плутовки Майсары — любимой героини узбекского народа.

Но, во-первых, когда русский писатель вводит в свою книгу «чужую» специфику, инонациональных фольклорных героев, то это не может не сказаться на построении, образном строе, форме произведения, о чем, кстати, свидетельствуют и вышеназванные книги.

А во-вторых, инонациональное влияние на форму произведений русских прозаиков и поэтов идет и по другим линиям. Русская советская литература все с большей готовностью вбирает в себя все лучшее из инонациональных литератур.

И если использование русскими писателями инонационального жизненного материала, дружеское общение деятелей русской литературы с инонациональными — это явления, возникшие давно, то о формальном воздействии братских литератур на русскую мы начали говорить (слишком, правда, редко и вскользь) лишь в последнее время. Ибо прежде было недостаточно конкретных поводов для такого разговора. Подобное воз-

действие — это уже порождение нашей, советской действительности, результат все более тесного взаимообщения советских братских литератур.

Цикл статей К. Л. Зеллинского, о котором шла речь, назывался: «Что дают русской литературе народы СССР». Но ответ на этот вопрос: что же все-таки дали и дают братские нации русским писателям, русской литературе, — прозвучал слишком обще и невнятно. И уж совсем устранился автор от исследования фактов инонационального влияния на русскую литературу в области формы. Получилось так, что он — за обмен между писателями, так сказать, национальной спецификой жизни, а вот специфику национальной формы хочет оставить закоренелой.

Однако если взглянуть пристальней, то мы увидим, что в русской литературе уже и форма начинает испытывать все большее влияние национальных форм.

И вот это-то наиболее интересно и показательно!

Правда, приходится с огорчением признать, что ныне русские писатели — особенно из молодых — преисбрегают нашим многонациональным творческим опытом. И это только обедняет и собственный их стиль, и русскую советскую литературу в целом.

Мне, например, думается, что если ныне наши молодые прозаики писали «вполоборота» на Запад, то это в какой-то мере происходило от недооценки, игнорирования наших общих богатств. А приводит — к энигонству, делающему произведение похожим одно на другое, к искусственному перенесению на нашу литературную почву неорганичных для нее художественных средств и приемов.

художественный кругозор консер-
к русской классической тра-

литать настоящим советским
не стремится овладеть всем художе-
нашей многонациональной литера-

с
сс
и п,
А1
сного и полезного, сколько новых кра-
пнуть из нашей общей литературной
тнесясь к ней бережливей, пристальней

Не... двигать вперед» советскую драматургию, не изучив мастерства Самеда Вургуня, А. Якобсона, К. Яшена, А. Корнейчука, — иначе рискуешь выдумать порох.

Многое теряет русский поэт, не знакомый со стихами Аветика Исаакяна, Расула Рза или Расула Гамзатова. Впрочем, я не удивился бы, узнав, что этот поэт не читает и книг своих русских товарищей по перу. Подобное самоограничение — синоним невежества.

Русским писателям есть чему поучиться у А. Упита и М. Ауэзова, Айбека и Чингиза Айтматова, Я. Брыля и Остапа Вишни.

И многие — учатся. В творчество русских советских писателей, как я уже писал, все больше проникают не только инонациональные темы, но и инонациональные формы.

Наибольшее влияние этих форм, естественно, испытывают писатели, занимающиеся переводами, — они тесно связаны с отдельными братскими республиками, хорошо знают их быт, постоянно соприкасаются с национальными литературами и усваивают то, что сопричастно их творческой индивидуальности.

Но учатся на лучшем в национальных литературах не только переводчики.

Правда, это процесс сложный, и сложность его обусловлена многими обстоятельствами, — в том числе огорчительным незнанием русскими писателями национальных языков, — и все же уже сейчас можно привести немало примеров благотворного, зримого воздействия на творчество русских писателей художественного опыта национальных литератур.

В отдельных стихах Сергея Есенина ощутимы отголоски восточной поэтики. Хорошо сказано об этом в статье Гафура Гуляма «О Сергее Есенине»: «...Сергей Есенин в «Персидских мотивах» шел не только от инонационального жизненного материала, но и от особенностей инонациональной поэтики. Краски поэтические взяты им из восточной поэзии. В этих стихах — характер, любовь и тоска русского человека. Но как по-восточному грациозно они звучат, какая «томность» в ритмике, как шафранно тонки оттенки образного строя!.. А строфика?»

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Потому что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе, поле,
Про волнистую рожь при луне,
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

Говорят, когда Сергей Есенин в Баку читал свои стихи азербайджанским ашугам, не знавшим русского языка,— те его понимали!.. До них «доходила» сама мелодия его строк... Я готов этому поверить.

В этом внимании русского поэта к интернациональному творческому опыту сказалась широта поэтической души Сергея Есенина».

А Эдуард Багрицкий использовал в своем творчестве традиции поэзии великого украинца Тараса Шевченко.

Тем более мы вправе говорить об интернациональной «широте души», художественного кругозора современных русских писателей.

«Благодаря Советской власти,— писал Мирзо Турсун-заде о Николае Тихонове в дни его юбилея,— наши сердца нашли путь друг к другу. И в этом ослепительном свете Октября я вижу, что слияние с русской душой, русской поэзией — в чем немало помог Николай Семенович — обогатило мой народ и, я уверен, в свою очередь обогатило самого русского поэта, а через его творчество и весь русский народ».

А Владимир Луговской?

На его творчестве ощутимо отразилось то, что он часто — и не гостем, а пытливым исследователем, участником событий — бывал в Средней Азии, знакомился с ее культурой. Это оставляло все более глубокий и четкий след как на содержании, так и на форме его поэзии.

В споре критика В. Пискунова с К. Зелинским («Литературная газета», июнь, 1964 г.) я целиком на стороне первого. Вот что он утверждал: «О качественно новом взаимоотношении русской советской литературы с другими литературами Советского Союза, вызванном их творческим ростом и идейно-художественной зрелостью, пожалуй, с особой выразительностью свидетельствует поэтическая эволюция Владимира Луговского. В книге «Большевикам пустыни и весны» он как бы перенимает краски среднеазиатской природы, стремится выразить новые, бросившиеся в глаза черты жизни. Среди интонаций «Середины века» мы улавливаем и такие, что возникли не без опоры на традицию «высокой философской» дидактики культуры Востока, на достижения восточной поэзии в области романтического стиля».

К. Зелинский возражал ему: «...единственный кон-

кретный пример с Луговским, который в «Середине века» якобы что-то сумел взять от традиции восточной «философской» дидактики, ни в чем не убеждает. И ранний, и поздний Луговской всегда тяготел к дидактике и к высокой риторике» («Литературная газета», сентябрь, 1964 г.).

Да, тяготел. Ну и что из этого? Именно потому, что Луговской тяготел к романтической риторике и дидактике, он в своем творчестве и опирался на эту, а не на иную традицию восточной поэзии. Ведь из инациональных литератур писатель берет на вооружение то, что близко ему по духу!

Владимир Луговской часто использовал и художественные приемы восточной поэзии — поскольку они были созвучны собственному его поэтическому настрою.

За примерами ходить недалеко. Вот строки из стихотворения В. Луговского «Двадцать шесть», посвященного народному поэту Азербайджана Самеду Вургуну:

И со мной

опустился на камень

старик,

С налитыми работой руками

старик.

в
ные
народно
и общий
рения.

Еще ц
(отмечу:
ритом!):

ч в конце строфы, и
ть приемы, характер
, для классической и
эзии. От этой поэзии идет
тмический строй стихотво-

творения «В сельской школе»
с русской тематикой и коло-

великие цели

поставили им,

Все богатства

земные

оставили им.

Как видим, этот прием не случаен в поэзии Владимира Луговского!

А его стихотворение «Чимган» несет на себе влияние «восточной» стилистики.

Хотелось бы — хоть мимоходом — остановиться на таком интересном явлении, как творчество молодой русской поэтессы Надежды Лушниковой. Она родилась в казахском ауле. Родной ее язык — русский. Пишет же она о Казахстане — и на казахском языке.

Я полюбила казахский язык
и буду его любить.
Я русская, но казахским словом я пою.

Это подстрочник. Подстрочный перевод стихов русской поэтессы!

Как определить это явление? Право, не знаю. Знаю лишь, что оно могло возникнуть только в условиях великого братства советских народов.

Подробное (и тем более исчерпывающее) исследование проблемы влияния транснациональных форм на творчество русских писателей не входит в мою задачу, — поэтому я вынужден ограничиться лишь беглыми заметками, которые, как я надеюсь, все же доказывают наличие такого влияния в нашей литературной действительности.

В результате взаимной учебы, все растущего взаимного общения советских братских культур, качественно отличного от взаимообщения культур вообще (которое уже существует), — все сложнее становится выделить в каждой братской литературе, в произведениях каждой литературы специфически национальное, угледать индивидуальном стиле того или иного национального тела отчетливо национальные черты. Особенно это относится к произведениям писателей и деятелей культуры среднего и молодого поколения, сформировавшихся к художники в условиях социалистической действительности. Между творчеством многих из них (принадлежащих к разным нациям) — куда меньше чисто национальных различий, чем между творчеством национальных писателей старшего поколения.

В рассказах А. Каххара (и, в первую очередь, в рассказах о прошлом) национальная специфика, если так выразиться, была в глаза, как лучи солнца. В стиле повести П. Кадырова «Мои сокровища» — особенно «национальное» выделить уже труднее. Современный стиль, продиктованный современными условиями и жизненным материалом (повесть посвящен-

на газлинским буровикам), стиль, обогащенный достижениями всей советской литературы — в том числе и литературы узбекской. Но это «узбекское» сразу и не различишь — оно здесь выступает как частица нашего общего достояния.

И все это весьма знаменательно!

Попробуем ответить — положа руку на сердце — можем ли мы, прочитав поэму Э. Межелайтиса «Человек» или более поздние его произведения — такие, как «Экспонат», «Я тоже человек», «Завоевание», «Колесо», окупная баллада «Звезда и роза», — без труда угадать, что перед нами литовский поэт? Я, например, сумел бы только отметить, что поэту близки Маяковский, Кирсанов, Уитмен, Назым Хикмет и что это — произведения советского писателя. Если же и есть в них, кроме языка, национальное, литовское, то это, опять-таки, такое национальное, которое, видимо, уже сделалось общим.

Так или иначе, но общечеловеческого в творчестве Э. Межелайтиса больше, чем узко-литовского (это относится и к содержанию, и к форме его произведений).

Мне хотелось бы привести два стихотворения из цикла «Цвета» азербайджанского поэта Расула Рза, считающего себя учеником, прежде всего, Маяковского.

Желтый

Волна полей со спелыми колосьями,
Лик матери, жалеющей дитя.
Деревья, кутающиеся в одежды осени.
Изголодавшаяся нищета.
Горсть звонкого металла —
За любовь.
Струны рыданье.
Хилая мечта.
Томление глаз, застывших в ожиданье.
Нарциссы.
Цвет ноктюрна Дебюсси.
Быки,
Идущие на бойню простоудшно.
Две человеческих руки.
И хлеб насущный.

Ярко-красный
Незабываемый образ;

Сталевар,
Разливающий в формы металл,
Мак, цветущий в горах,
И в домах
Негаснувший дар
Прометея.
Человек, побеждающий страх,
Нож злодея.
Трагедия Овода.
Мятеж в непогожие дни.
Знамена побед.
Парад.
Ярость народа
В решающей схватке.
Слова правдивого
Смысл краткий.
И еще:
Память младенческих лет.
В окошке нового дня рассвет.

Попытаемся разобраться в своих впечатлениях...

Новаторство? Да. Поэт смело преобразует традиционную строфику и даже, казалось бы, непреобразуемую силлабическую систему ритмики азербайджанской поэзии.

Талант? Несомненно!

Яркая творческая индивидуальность? Конечно!.. Расула Рза не спутаешь с другим поэтом.

Использование опыта, достижений всей нашей поэзии? Бесспорно.

А вот национальная специфика, национальное своеобразие... Это, во всяком случае, не бросается в глаза. Хотя наверняка — в своем творчестве — Расул Рза шел и от традиций родной поэзии. Только вот в процитированных стихах (как и во всем цикле) они растворены настолько, что их влияние почти и не заметно.

А цикл от этого не стал ни бледным, ни абстрактным. Это стихи самобытного советского поэта.

Что же такое все-таки национальная специфика культуры сегодня, в условиях коммунистического строительства, которому — в равной мере — отдаются все силы все народы нашей страны? В чем она заключается? В каком виде выступает в конкретных литературных произведениях?

При попытке ответить на этот вопрос иные литераторы прибегают к общим фразам.

Так, Г. Ломидзе пишет: «Драматизм, острая социальная насыщенность, порыв к прекрасному, гармоничному присутствию киргизской литературе...» («Литературная Россия», 1963 г., № 51).

Я очень уважаю Г. Ломидзе как поборника сближения национальных литератур. Но зачем же, стараясь подчеркнуть своеобразие киргизской литературы, обижать остальные? Разве, к примеру, узбекской не присущи подобные же качества?

Или вот как определяет кинокритик М. Кваснецкая («Комсомольская правда», 3 марта 1966 г.) отличные фильмы Б. Мансурова «Состязание» и А. Жебрюнаса «Никто не хотел умирать»:

«В фильме Булата Мансурова сплелись традиции советского кинематографа, национальная культура его народа с остро современным видением мира молодым художником... Знаменателен и тот факт, что кинематография республиканских студий действительно показывает национальный характер героя, стремится найти и наиболее точную стилистику, выразительную форму, которая вобрала бы в себя не только достижения современного кинематографа, но и традиции народного искусства. Нельзя спутать режиссерский почерк Б. Мансурова и А. Жебрюнаса. Не только потому, что это яркие художественные индивидуальности, но и потому, что выросли они под разным небом, по-разному привыкли выражать свои мысли, чувства, переживания. Открытый темперамент фильма Мансурова и сдержанность, немногословность, неторопливость в картинах Жебрюнаса».

Но разве люди не выражают мысли, чувства по-разному — вне зависимости от того, к какой нации принадлежат? И разве исключена темпераментность в Прибалтике и сдержанность — в Средней Азии? Зачем же ту или иную человеческую эмоцию отдавать на откуп лишь одной какой-либо нации?

И говоря о традициях народного искусства в современной национальной кинематографии, нужно остерегаться решительных обобщений. Да, эти традиции воплощены и в «Состязании», и в «Тенях забытых предков». Но нельзя не учитывать, что это фильмы о прошлом. А если взять талантливый фильм о современности, например, «Ты не сирота» узбекского кинорежиссе-

ра Ш. Аббасова, — то разве в нем дают себя знать «традиции народного искусства»? Он создан целиком с помощью современных общенациональных кинематографических средств.

Правда, этот фильм «национален» тем, что в нем передана специфика самой узбекской действительности... Но об этом чуть позднее.

Еще пример.

Аскад Мухтар в свое время уверял, что «в разработке темы труда хлопкороба выражается одна из черт национального своеобразия узбекской литературы» («Правда Востока»).

Но только ли узбекской? Может, когда-то так и было. А вот сегодня — как же быть с повестями «Первый снег» и «Когда друг оступился» русских писателей А. Удалова и В. Тюрикова, повестями, где тоже разрабатывается тема труда хлопкороба? К какой литературе их отнести?

А. Мухтар также утверждал, что хлопок — «это призвание узбекского народа».

И опять-таки: только ли узбекского? Разве одни узбекские труженики осваивают Голодную, Каршинскую степи? На мой взгляд, правильнее было бы говорить о народе Узбекистана — и помощи братских советских народов.

Итак, национальная специфика...

В литературе — это, прежде всего, конечно, язык. Языковые преграды между советскими нациями рухнут, видимо, последними.

Однако и язык — не застывшая категория. Формы использования и употребления родного языка в национальных литературах с течением времени меняются. В Средней Азии, например, постепенно отмирает пышное словесие, на смену приходит точность, простота, некоторая терминологичность речи. Словарный запас национальных литератур обогащается за счет слов и оборотов, впитанных из братских языков или родившихся как общенациональные.

Этот процесс характерен и для языка русской литературы, журналистики. Мы незаметно усвоили уже немало узбекских слов: «ранс», «хауз», «кишлак», «дувал» и т. д. Я как-то читал в «Правде» фельетон И. Шатуновского — фельетон русского литератора и на русском материале — и вдруг: «Как же бдите вы, аксакалы...».

И я уверен — читатели поняли, что значит это слово. Оно уже стало и русским!

Возможно, кто-то сочтет эти примеры «мелкими». Но это — характерная мелочь!..

Говоря о языке как о главном элементе национальной формы в литературе, не следует также забывать, что этот «главный признак» исчезает при переводе того или иного произведения с родного языка на национальный. Что же, значит, в этом случае утрачивается и национальная специфика произведения?

Видно, она не исчерпывается одним языком...

Мы также относим к национальной специфике литературы национальный колорит того или иного произведения. Причем подразумевается, что этот колорит есть отражение национального колорита самой жизни.

Однако, как уже говорилось, действительность наших республик, под действием закономерностей социалистического развития нашего общества, преобразуется, обновляется, все более обогащаясь общесоветскими чертами.

Соответственно меняется, обновляется и колорит этой действительности, тоже все более пропитываясь общесоветским. Даже бытовой, этнографический колорит.

Легко заметить, что чисто национальным колоритом — особенно этнографическим, бытовым — более всего насыщены произведения, созданные на первых порах развития национальных советских литератур. Это и понятно. Национальные писатели сознавали, что впервые пишут — для широкого, всесоюзного читателя — о своем народе, и старались дать о нем наиболее полное и подробное представление.

Тогда и в самой жизни республик было больше специфических особенностей, узко-национального колорита.

Этим колоритом окрашены и современные произведения о прошлом — куда в большей степени, чем современные произведения, посвященные сегодняшнему дню братских республик.

Вспомним роман «Сестры» Аскада Мухтара. Там мы встретимся и с паранджой, и с муллами, и с такой своеобразной профессией, как «югучи» (человек, занимающийся обмыванием покойников).

Специфично все это? Да. Но — для прошлого Узбекистана. Ныне же и паранджа, и «югучи» исчезли из узбекской действительности.

В этом же романе один из персонажей восклицает:

«Ой, бабушка... вы, кажется, родились в год свиньи одиннадцатого числа месяца сафара, рожденный в этот день отворачивается от людей». А лавочник, когда ему говорят, что он, кажется, кошку прогнал, «несколько раз подул себе на волосатую грудь, отгоняя нечистую силу».

Это тоже национальная специфика, но подобной спецификации мы уже не встретим в книгах, например, П. Кадырова или А. Якубова, пишущих о современности.

Это, конечно, не значит, что в современной жизни Узбекистана вовсе уже не осталось бытового национального колорита. Просто он — иной, чем прежде.

И вот еще о чем нельзя забывать при рассмотрении вопроса об отражении в литературе национального колорита.

Отразить национальный колорит — это значит, по сути, правдиво и точно воспроизвести особенности национальной жизни и быта.

Но ведь и инонациональный писатель, берясь за изображение жизни братской республики (а такое случается все чаще), тоже должен добиваться точности и правдивости в воссоздании особенностей этой жизни. Возможно, в его произведении будет чувствоваться «взгляд со стороны», отсутствие внутренней изначальной «сопричастности» с изображаемой действительностью. И все же, если писатель по-настоящему талантлив и верен правде жизни, — его произведение по колориту вряд ли будет существенно, в корне отличаться от произведения писателя — представителя данной нации, созданного на ту же тему, на том же жизненном материале.

Материал диктует форму выражения, определяет колорит самой книги.

И потому мало в чем будет различаться колорит произведений, написанных, например, русским, живущим в Ташкенте, и узбеком, живущим в Ташкенте, о своем родном городе.

Был у меня в Нальчике большой друг — русский писатель Михаил Киреев. Так в его рассказах о Кабардино-Балкарии местного национального колорита не меньше, чем в произведениях кабардинских и балкарских литераторов.

Михаил Киреев хорошо, «дотошно» знает жизнь, быт республики и точно передает все оттенки этой жизни и быта.

Узбекским колоритом пропитана и книга М. Польшковского «Конец Мадамин-бека» о борьбе узбекских тружеников с басмачеством — иначе и не могло быть!..

А повесть Андрея Губина «Созвездие Ярлыги», посвященную сегодняшней жизни чеченских чабанов, упрекали даже в перенасыщенности горским колоритом.

Как-то в Молдавии Кишиневским театром имени Чехова была поставлена пьеса киргизского драматурга Т. Абдумомунова «Обжалованию не подлежит». И критики отмечали, что на сцене этого театра был передан дух далекой Киргизии, на постановке лежала печать национальной (подразумевается: киргизской) самобытности. И это-то как раз закономерно, должно, естественно.

Да, колорит произведения определяется колоритом воспроизводимой в произведении жизни, жизненным материалом.

И в силу этого — например, у узбекских писателей меняется даже стиль, когда они переносят действие в дома русских: там — иной колорит, иная специфика жизни!

В своих книгах о войне узбекский прозаик Мумтоз Мухамедов изображал Украину — и как же непохожи колорит, стилистика этих книг на колорит и стилистику его рассказов и очерков об Узбекистане!

Прав Гафур Гулям, который писал: «...плох тот писатель, слеп тот писатель, который не может, описывая новый для себя участок жизни, воссоздать всю специфику этой жизни!.. И если я, например, пишу о других республиках, я стараюсь правдиво и бережно передать их колорит».

А это, как мы уже убедились, отражается и на колорите самого произведения.

Интересно сравнивать две повести Георгия Гулиа — абхазского прозаика, пишущего на русском языке, — «Весна в Сакене» и «Леночка». Первая основана на абхазском жизненном материале, вторая — на русском (причем оба близки, хорошо знакомы писателю — ведь сейчас он живет в Москве, в России). И в каких же различных стилистических ключах написаны эти повести, как различен их колорит!

В свое время известный белорусский писатель Самуиленок побывал в Грузии. И создал на материале грузинской действительности повесть «Будущность».

Вполне понятно, что в повести передан колорит

грузинской жизни. И по своему колориту она весьма несхожа с другими произведениями Самуиленка.

Но, конечно же, грузинский прозаик — об этом же — написал бы несколько иначе. Как бы это сказать: естественней. «Изнутри».

В книге Самуиленка ощущается радость узнавания нового края, новой для автора национальной действительности. К тому же Самуиленок возрос как писатель на почве белорусских литературных традиций, и это сказалось на стиле повести, а следовательно, в какой-то мере и на ее колорите.

Многие полагают, что национальная специфика, национальный колорит выражаются в строе и оборотах авторской речи и еще отчетливей — в речи героев.

Верно: когда я читаю в «Преданности» И. Рахима: «Он за свой век сносил больше рубашек, чем другие», или в повести М. Мухамедова «По следам героя»: «Тебя шакалы сзади кусают? Может быть, скорпион залез под рубашку? Что ты гремишь, как старая арба?» — то вижу: манера речи здесь-специфична.

Но ведь и русский писатель, рисуя узбекскую действительность, изображая героев-узбеков, прибегнет к подобным же речевым оборотам, использует ту же специфическую стилистику, — конечно, лишь в том случае, если он эту инонациональную специфику изучит, поймет, проникнется ею, обогатит ею свой стиль, — да иначе он просто и не сумеет правдиво нарисовать данную действительность и данных героев!..

Кстати, в одном из очерков, опубликованных в «Правде Востока», я натолкнулся на такие выражения «...есть люди, которые не прячут ноги в сандал», «раз одна мысль давит две головы, значит, мысль правильная».

Выражения — чисто узбекские. А авторы очерка — русские.

Они попытались воспроизвести в своем очерке специфику узбекского живого говора — дабы сделать более естественной речь героев-узбеков. И это вполне закономерно!

Порой мы ищем национальный колорит там, где его просто-напросто нет.

«Милиционер вскочил на ноги и, раздувая щеки, зашвырянул так, что, говорят, его было слышно даже в районном центре».

Удачно. Забавно. Но при чем здесь национальная

узбекская специфика? Это вообще сатирическая гипербола, подобные гиперболы мы можем встретить у И. Ильфа и Е. Петрова — русских, а не узбекских писателей. И не надо «перекрещивать» ее в национально-специфическую только затем, чтобы доказать: «Птичка-невеличка» — повесть, национальная по колориту. Тому можно найти иные, более убедительные доказательства.

Или: «Милицейская палка, сунутая прямо в колеса его прекрасного настроения...».

Надо сказать, что такие стилистические обороты идут от «Востока», в том смысле, что писатели иронически «обыгрывают» восточное пышное словие. Ироническая стилизация широко использована Л. Соловьевым в «Возмутителе спокойствия» — это один из компонентов образной системы романа. А в «Птичке-невеличке» это выражение — случайно. Единично.

То же можно сказать и о такой фразе из повести А. Якубова «Мукаддас»: «Крепко завязав в душе узелок своего решения, я часов в одиннадцать вышел из дому». Эта фраза чужда общему образному и стилистическому строю повести, а потому звучит пародийно и уж никак не выражает «национальной специфики».

В одной из рецензий на книгу дагестанского писателя я прочитал: «Народные пословицы и поговорки, предания и анекдоты, сравнения из горского обихода... создают национальный колорит».

Как уже говорилось, «сравнений из горского обихода» хватает у русских литераторов А. Губина, Д. Трунова, легенд и преданий — у М. Киреева.

Мы встретим в их произведениях немало и поговорок; пословиц, созданных мудростью народов, о которых они пишут. Причем — у одних меньше, у других больше.

Мне думается, что употребление поговорок относится скорее к индивидуальным, чем к национальным особенностям произведения. И характерно, что молодые национальные писатели употребляют их куда реже, чем их старшие собратья по перу: сама манера письма у них современной, лаконичней...

Согласимся на том, что колорит национальной действительности (придающий определенный колорит и произведению, где он отражен) уже не является «единоличной» собственностью писателей, представляющих коренную нацию.

То же можно сказать и о национальном характере литературных героев.

Стремясь провести водораздел между современными национальными литературами (этот термин хоть и более яространен, но, на мой взгляд, и более точен, чем просто «национальные литературы»), выпискать в них «национальное» (во что бы то ни стало), иные критики провозглашают неисчезающим моментом братских литератур воплощенные в них национальные характеры героев.

Но ведь если, например, русский писатель вводит в свое произведение инонационального героя, разве не обязан он передать национальное в его характере? Возьмем Улугбека в «Звездах над Самаркандом» С. Бородинна — это яркий национальный характер, но не стал же от этого роман узбекским?!

Правда, мы иной раз оговариваемся, что, мол, национальный характер в произведении того или иного братского писателя — это не только отображение объекта, но и проявление, выражение субъекта, национального характера автора.

Попробуем же разобраться, что это такое — если судить не отвлеченно, а применительно к современной советской действительности — национальный характер советского человека?

Я бы не осмелился дать на этот вопрос исчерпывающий, категорический ответ.

Очень сложно выделить в характере представителя той или иной братской нации самобытное, неповторимое, не обижая при этом другие нации...

Так, например, Г. Ломидзе утверждал, что киргизский писатель Ч. Айтматов «национален потому, что в произведениях Ч. Айтматова виден характер современного киргиза с его талантом, тонкостью чувствования, глубиной мышления, с многосторонними разветвленными духовными связями со всем тем, что делается вокруг».

Но ведь так можно сказать о любом советском человеке! И, кстати, что же именно «делается вокруг»? В принципе — то же, что и в других республиках.

Мы часто говорим о том или ином национальном характере, что главные его признаки — мужество, гостеприимство... А это, мне кажется, вообще народные качества.

Б. Буряк, обращаясь к характерам кинофильма

«Щорс», призывает видеть национальное не только в Боженко, но и в Щорсе, а вот в чем именно заключается это национальное — объяснить не в силах: «Интеллигентность и крылатая мечтательность, — так он определяет Щорса, — темпераментность и европейская внешность». Но все это — индивидуальное в Щорсе, а не национальное.

Представители многих национальностей действуют в фильме «Ты не сирота». Однако выделен в каждом национальный или просто характер? Одному из героев, русскому мальчишке, присущи детская спесь, ревнивость. Что же, это характерно именно для русских? Так можно далеко зайти.

Тот же Б. Буряк недостатком фильма «Летят журавли» считает «отсутствие в нем в большой мере русского национального начала. Центральная героиня и своей внешностью, и характером, и манерами больше напоминает героиню из фильмов итальянских или французских, чем русскую девушку — женственную и гордую, чистую и нежную».

Но разве эти черты — монополю «русские», разве не может обладать ими итальянка, француженка?

Эти эпитеты целиком приложимы и к узбечке Бахор из романа «Могучая волна» Ш. Рашидова.

Скорее можно упрекнуть авторов фильма «Летят журавли» в том, что героине недостает новых советских качеств. Думаю, что именно это и смутило Б. Буряка, но свою неудовлетворенность он выразил ошибочно и тенденциозно.

Повисает в воздухе и другой его тезис: «Настоящий художник видит национальное прежде всего в сфере духовной, трудовой, психической, а не только в фольклорно-этнографической».

Звучит несколько заумно. А, главное, чем же по существу, по основной сути, отличается в этих сферах — духовной, трудовой — современный узбекский ученый или рабочий от современного русского ученого и рабочего?

Пусть читатель простит меня, но я вынужден повториться. В чем разница между мной и моими друзьями-писателями в республиках?

В образе жизни? Жизнь у нас — общая. И цели, интересы, задачи, идеология — одни. В образовании?.. И оно у нас одинаковое. В том, что нас питали разные культуры? Но для них русская культура — родная. А я

стараюсь «плотнее» приобщиться, например, к узбекской, туркменской культурам и интересуюсь другими. В характере? Но характером я отличаюсь и от моих друзей-ленинградцев. Это — индивидуальное.

Остается язык. И, так сказать, «образ быта». Однако это уже не относится к сфере трудовой или духовной.

Сложное явление — национальный характер, особенно если учитывать его обогащение новыми, общесоветскими чертами. И органический взаимообмен братских наций всем лучшим.

Когда долгожительницу — адыгейку Циц Мустафовну Хушт (ей сто двадцать лет!) спросили, какие из обычаев ее народа следует развивать в наши дни, она ответила: «Самое лучшее у адыгейского народа — это великое уважение молодости к старости, незнающих к знающим. А в делах — большое трудолюбие и добрый старый обычай: вырыть колодец или благоустроить придорожный горный источник для прохожих. Ты делаешь добро для кого-то, а кто-то другой сделает добро для тебя!» И заключила: «Так и должны жить все люди на свете...»

Сколько мудрости и красоты в этих словах — призыве к тому, чтобы национальное сделать общим.

Между братскими советскими нациями уже возникла духовная близость, они все больше роднятся и по чертам характера.

Профессор Э. Мурзаев в своем интервью «Правде Востока» отмечал, что «...«азиатские» народности — казахи, узбеки, таджики, туркмены, киргизы, история и цивилизация которых сложилась на исконно азиатской основе и на азиатских территориях, сейчас приобрели множество признаков, ранее характерных для европейских народов».

Особенно готовно «вбирает» в себя лучшие из инонациональных качеств советский национальный характер. Это ведь тоже не нечто застывшее, неизменное. «Национальный характер существует в природе как психологические черты людей, — писал Ч. Айтматов, — сформировавшиеся в ходе социально-исторического развития народа». А ведь это развитие уж никак не затормозилось, ныне оно вошло в новое, социалистическое русло, и народы, и характеры продолжают развиваться по-новому!

Все дело в том, говоря словами того же Ч. Айтма-

това, «как понимать национальный характер — диалектически или догматически».

Вот Самед Вургун понимал его диалектически. И в свое время говорил, что «писатель, рисующий характер советского человека той или иной национальности, не может, например, не учитывать, что национальный характер его героя претерпел коренные изменения. Одним из его неотъемлемых, специфически национальных качеств стал пролетарский интернационализм. Интернационализм, утверждая человека в его национальном своеобразии, в то же время поднимает его на такую высоту национального бытия, которой не знает и не может знать буржуазное общество».

Интернационализм укрепляет в советском человеке чувство национального достоинства и в то же время духовно, идейно объединяет его с представителями других братских наций, помогает их взаимосближению.

Главное, что роднит наши нации, роднит и национальные характеры, — это общность социальной судьбы.

И когда всесоюзный староста Михаил Калинин услышал выступление Икрамова, ставшего одним из видных руководителей Узбекистана, он сказал: «Мне речь рабочего Икрамова из Средней Азии показалась речью ленинградского рабочего».

Не национальность увидел М. И. Калинин в Икрамове, а прежде всего его социальную сущность.

А японский профессор Кирода, побывавший в Советском Союзе, писал потом, что он в СССР с трудом отличал русских от людей других национальностей.

Со стороны, видимо, это действительно трудно, ибо в глаза бросается сущность, главное, а в главном все мы, советские люди, схожи.

«Новые общественные отношения, — указывал Л. И. Брежнев, — усиливают социальную однородность социалистических наций, порождают у советских людей общие черты духовного облика».

А духовный облик «не отцепишь» от характера.

Любопытный факт... В Ташкенте живет семья, где отец Зиннат Садыков — узбек, мать Галия Ахмедовна — татарка, а приемная дочь Галина Зиннатовна Садыкова — гречанка из Донбасса: ее удочерили в годы войны. В паспорте у нее записано — узбечка.

А как же определить ее «национальный характер»?.. Не стоит ломать над этим голову. Это, в первую очередь, советский характер. И это важнее всего.

Кстати, мы говорим и о «колымском» и о «сахалинском» характерах, видимо, сами жизненные условия, в которых люди ведут борьбу с природой, придают определенную специфику человеческому характеру.

После землетрясения в Ташкенте стали говорить и о «ташкентском» характере. Мужественными, несгибаемыми, неунывающими, верящими в завтрашний день предстали ташкентцы перед всем миром. Русские, украинцы, татары...

И все эти характеры — частное проявление общего: советского характера.

Конечно, характер узбекского хлопководы отличен от характера русского хлебороба. Но он отличен и от характера узбекского врача. Та или иная профессия накладывает на характер осязаемый отпечаток, лепит, формирует его вкуче с другими объективными обстоятельствами.

Конечно, мы без труда углядим внешние, этнографические различия между представителями разных братских национальностей, подметим и своеобычность в оттенках темперамента.

Но, во-первых, не они же определяют характер!

Во-вторых, они так прочно слиты с индивидуальным в характере, что их подчас и не выделишь из этого индивидуального. И для меня, например, Галина Уланова и Галия Измайлова не столько русская и узбекская балерины, сколько разные индивидуальности. Ведь с характером и стилем танца Галины Улановой совершенно не схожи и характер, стиль танца Майи Плисецкой, тоже русской балерины.

И, в-третьих, если вернуться к литературе, то эти внешние различия в национальных характерах заметит и воссоздаст и интонационный писатель, взявшийся за изображение жизни данного народа.

Национальная специфика той или иной братской литературы в немалой мере обусловлена национальными традициями этой литературы. В одной из своих работ К. Зелинский писал о национальных формах, «обусловленных... разнообразием национально-исторических традиций».

И мы можем, например, говоря о среднеазиатских советских литературах, отметить преобладание бытописательства, этнографизма, а в прозе — некоторую статичность, описательность, повествование течет замед-

ленно, огибая, как утесы, отдельные развернутые эпизоды и картины. В то же время узбекской прозе свойственна и некоторая приподнятость стиля, идущая от старовосточной поэзии. Велико в ней значение юмористических элементов, берущих начало от традиционной узбекской «аскин» — острой шутки.

А для азербайджанской прозы характерен драматизм, острая конфликтность — при нехватке подробных психологических мотивировок, к которым (как вообще к детализации) тяготеют прибалтийские литераторы.

Однако иные из этих специфических, восходящих к традиции черт национальных литератур относятся скорее к произведениям, созданным в годы становления этих литератур как советских, чем к произведениям современным, сегодняшним.

Все течет, все изменяется... Развиваются, обновляются и национальные литературные традиции.

Традиции, как и все в литературе, проверяются новым содержанием жизни. И те из традиционных художественных средств, приемов, образов, которые уже не соответствуют этому новому содержанию, естественно отмирают.

Те же, что выдерживают испытание временем, все чаще органически усваиваются инонациональными братскими литературами. Наши братские литературы все интенсивней делятся и своими прогрессивными традициями.

«Узбекская советская литература и искусство, — писал Ш. Рашидов, — в своем развитии опираются не только на прогрессивные традиции национальной культуры, но и на передовое наследие культуры всех братских народов, прежде всего русского народа».

Развивая эту мысль, можно сказать, что ведь и лучшие, «прогрессивные традиции национальной культуры» узбекского народа — это тоже часть нашего общего культурного достояния.

Да, литература не может развиваться в безвоздушном пространстве, не опираясь на здоровые национальные традиции.

Но разнонациональные литературные традиции — это ведь уже наше общее богатство.

Вернее, мы должны, мы обязаны относиться к ним как к общим, дабы не обеднить своих литератур, своего творчества.

Лишь опора каждой национальной литературы на прогрессивные традиции всех братских литератур (а это — верный и прямой путь к их сближению) приведет к обогащению и данной литературы.

Лучшие национальные, в том числе и русские, писатели понимают это, и все усиливается «взаимообмен» литературными традициями, они все больше «перемешиваются» — как в сообщающихся сосудах.

«Творчество Тычины и Шолохова, Межелайтиса и Смуула, Айтматова и Голчара, — говорил на Пятом съезде писателей Украины замечательный поэт Николай Ушаков, — все это принадлежит каждому народу, все это наше общес, без чего невозможно представить себе не только свою библиотеку, но и свою жизнь... Наши традиции восходят к «Слову о полку Игореве» и «Манасу», к «Витязю в тигровой шкуре» и «Алпамышу», к «Медному всаднику» и «Наймичке», к «Двенадцати» Блока и «Красной зиме» Сосюры... Советы Горького и Айни, призывы Маяковского и поэтов Белоруссии, наследие Ауэзова и Фадеева — это наш общий манифест, это, конечно, и наш общий труд...»

Итак, у наших национальных литератур нет и не может быть монополии и на литературные традиции.

В какой, скажем, традиции, написано стихотворение В. Луговского «Чимган»?..

О, если бы забыть мне тяжесть лет
И, как овчарке, вновь напасть на след,
Который бы привел меня к твоим дверям,
Хоть этот путь, увы, не будет прям.
Но знаю, помнишь ты, не забываешь ты
Чимган, Чимган — далекие хребты!

Ты сможешь ли забыть седую мощь ночей
В серебряной броне карагачей,
Ночей, когда стихает азиатский зной
И бубен бьет, беседуя с луной,
И круглый месяц жадно смотрит с высоты.
Чимган, Чимган — далекие хребты!

Уже в этих первых строфах чувствуется влияние восточной поэтической традиции, творчески преломленной В. Луговским. Это среднеазиатский жизненный материал, восточная поэзия, ставшие фактом поэзии русской.

Обратимся к традиционной восточной стихотворной форме — рубайи. Ее сейчас разрабатывают в Азербайджане Сулейман Рустам, в Узбекистане — Рамз Бабаджан. Поэтические достижения последнего особенно интересны.

В национальных литературах есть формы непреходящие, они пригодны и поныне, им суждена долгая жизнь, недаром же на мировом форуме писателей русские прозаики так страстно и убежденно отстаивали жанр романа, немало поработавший на человечество и насколько еще «не износившийся»... К таким формам относится, на мой взгляд, и рубайи. Рамз Бабаджан защищает эту «старую» форму самой поэтической практикой, и как же подошла она для воплощения мудрой, краткой, современной мысли, вобрав в себя раздумья о Родине, о Человеке, о творчестве, дружбе, любви...

О самоучка-критик! Боже мой,
Как горд он ролью критика самой.
Он, отмель увидав, кричит о глубин,
А белое чернит и свет мешает с тьмой.

Но все это вовсе не значит, что поэт просто, как мы часто говорим, влил новое вино в ветхие мехи. В старые — да. Но не ветхие, а еще прочные и, так сказать, перспективные. А новое содержание обновило и форму, стих зазвучал по-новому, обогатившись новой лексикой, современными поэтическими приемами.

Это уже творчески развитая поэтическая традиция. И поскольку она оказалась жизнеспособной, на нее начала опираться и русская поэзия. Я уже приводил пример из С. Смирнова. И знаю, с каким увлечением переводил Николай Грибачев рубайи Рамза Бабаджана и как заинтересовала его эта форма.

Национальные же писатели воспитываются на традициях русской литературы. Кто станет спорить, например, с тем, что психологизм проник в узбекскую прозу из русской литературы, как и сами жанры романа, повести.

А новорожденным национальным кинематографиям просто и не на что было опереться, кроме как на общие советские кинематографические традиции. Не выдумывать же собственные! Кстати, иные грузинские режиссеры, обратив свой взор на Запад, поставили фильмы в неореалистических традициях, — к большим успехам

это не привело. Плодотворность же общесоветских традиций для братских кинематографий, я думаю, лишне доказывать...

На мой взгляд, не всегда оправданно мы акцентируем: это вот, мол, русское в узбекской литературе, это — узбекское в русской. Это зачастую уже общее — с истоками в конкретной национальной литературе.

Не оправданы и попытки «подарить» в вечное пользование той или иной литературе те или иные традиции. В одной из статей о балкарском поэте Кайсыне Кулиеве написано: «Невозможно представить себе поэзию Кайсына Кулиева без традиционного горского колорита, без родной каменной почвы, без горского селения и цветущей чинары, без поклонения отчему порогу и возвышенной, коленипоклоненной любви к старушке матери...»

Но без этого я не могу представить и поэзию кабардинца А. Шогенцукова, и прозу русского М. Киреева, и прозу абхазца Г. Гулна...

К тому же дело и не в «цветущей чинаре». Правильно утверждал Аскад Мухтар, что «подлинная традиция... не в мотыльке, не в соловье, а в народности, в светлом гуманизме, в поэтизации труда».

Подобные же традиции легко, органично перенимаются и усваиваются всеми советскими национальными литературами.

Одновременно с развитием, обновлением старых возникают и новые литературные традиции, возрастая на общесоветской почве, это традиции революционные, новаторские. О новаторстве не скажешь, русское оно, украинское или узбекское. Оно — советское. Новаторство советской литературы.

Эти новаторские традиции могут конкретно родиться сначала в одной какой-либо литературе. Ведь всякое новаторское начинание имеет конкретный адрес, потом распространяясь по всей стране. Закономерно распространяясь, ибо при конкретном адресе у них общая почва.

Родившиеся подобным же образом новаторские литературные традиции быстро становятся общесоветскими; они осваиваются еще легче и естественней, чем те, у которых истоки в прошлом.

В нашей жизни немало такого, что еще разобщает нации. Особенно — в быту. Но присмотритесь: чаще

всего это обветшавшие национальные традиции, вредные обычаи, религиозные предрассудки.

С интересом прочел я повесть молодого узбекского прозаика (пишущего на русском языке) Тимура Пулатова «Не ходи по обочине» — о студенческой жизни.

При всей своей наивности, несовершенстве, повесть очень современна по стилю, форме. Творческой индивидуальности Т. Пулатова, видимо, близка писательская манера литературной молодежи, группировавшейся вокруг журнала «Юность». У героев и автора сходные судьбы с украинскими, русскими, азербайджанскими и другими студентами. Тревожит и радует их то же, что и все наше студенчество. Все это и выдвигает на первый план в повести общесоветское.

Правда, сама постановка некоторых проблем свидетельствует о том, что перед нами писатель узбекский. Современный узбекский. Горечь и гнев вызывает у него невежество родителей главного героя — слепых слуг религиозных, национальных предрассудков. Они вмешиваются в жизнь сына, чуть не ломая ее...

Но «национальное» в повести заключается не только в том, что автор отображает, причем как бы изнутри, а не извне, опасное, отживающее в узбекской действительности, но прежде всего в том, что он страстно выступает против такой вот «национальной специфики», национальных «традиций», против всего, что разобщает нации.

Есть в романе «Сильнее бури» Шарафа Рашидова такая примечательная сцена... Старый хлопкороб Муратали упорно сопротивляется переселению из горного кишлака в новый колхозный поселок. Сама жизнь ломает его сопротивление. В конце романа он уже с радостью переезжает в новый дом. И тащит с собой из старого сандал, «пыльный, закопченный, немало, видно, лет послуживший хозяйшу». Когда это видит героиня романа Айкиз, ей становится «и смешно, и грустно... Еще недавно сияли перед ней степные просторы, которые не охватишь взглядом. Когда смотрела она в необозримую даль, ей казалось, что она смотрит в будущее. Муратали прав: они сделали в этом году широкий, могучий шаг в будущее, в коммунизм. И этот же Муратали решил прихватить с собой в светлый завтрашний день память седой старины — сандал!»

Как видим, старина — она очень цепкая...

Помню, путешествуя по Ферганской долине, я заглянул в колхоз коммунистического труда. И в одном из новых, с иголки, домов нового, современного колхозного поселка увидел пыльные ковры в комнате без мебели и все тот же угарный сандал! Это старое смутило и моих узбекских спутников. Хотя оно, конечно, отличало данный дом от других, не имевших столь ярко выраженной «национальной специфики».

Не к такому ли сохранению национальной «самобытности» зовут нас сторонники «сближения через расцвет»?

В одной из острых статей «Правды» разоблачался некий Юсупов — учитель-коммунист и в то же время ярый приверженец «туркменчилика», диких прав старины. Он избил женщину, так оправдывая свой немислимо гнусный поступок: «У библиотеки всегда полно народу, особенно мужчин. А Шихиева может стоять на улице с ними, разговаривать, смеяться. Не к лицу такое туркменке...». Избил он и жену своего умершего брата, когда после десятилетнего траура она попыталась отделиться от родственников покойного мужа. Юсупов ярости закричал: «Отступница! Ты нарушаешь обычай наших отцов и дедов... До самой смерти останешься женой моего брата».

Неужели же это хотят сохранить ревнители национальной специфики?

Я целиком солидарен с А. Одинцовым, который выступил на страницах «Литературной газеты» против дорогостоящих тоев в Таджикистане — свадебных и иных. Да и в самой республике все вроде согласны с тем, что надо перебороть эту давнюю традицию и справлять «личные» праздники по-новому. Однако попробуй не устрой пышного тоя — «любая старуха плюнет в лицо».

Ибо — таков обычай! Специфический обычай? Еще бы!

Однако мы должны уметь отделить здоровую традицию от вредной, от предрассудка. Статья А. Одинцова так и названа: «Традиция? Нет, предрассудок!».

И с той «спецификой», о которой рассказано выше, с подобными «национальными традициями» необходимо решительно бороться.

Не случайно эпизод с «традиционным» сандалом в «Сильнее буря» Ш. Рашидов заключил страстным публицистическим призывом: «Целина поднята, но борь-

ба не окончена, Айкиз!.. Тебе и твоим друзьям предстоит еще перепахать, очистить от сорной травы души иных твоих земляков».

Из старых национальных традиций следует развивать лишь здоровые, прогрессивные, обновляя их, превращая в общее достояние. И этим помогая делу взаимосближения наций.

Пусть остаются в жизни каждого народа лучшие обычаи и традиции, но пусть они и «взаимодополняются», переставая быть только русскими, узбекскими или украинскими...

Прежде, например, «православные» русские и жители Средней Азии — мусульмане имели (каждая нация) свой религиозный праздник, и это разделяло народы. Ныне же мы празднуем новые, советские праздники всей страной, в общем тесном кругу. Чем же это плохо?

Кровная месть «традиционна» для народов Северного Кавказа. Жестокие кулачные бои — «стенка на стенку» — это чисто русское.

А вот чувство советского патриотизма — это новое, общее.

Что же мы должны поддерживать и развивать? Конечно, общее — другого ответа быть не может!

Прогрессивные, революционные традиции приемлемы для всех братских наций. И они легко, естественно перенимаются в условиях общей для всех социалистической действительности.

В прошлом борьба за новое, против старого была куда более ожесточенной и трудной. Когда двадцать три женщины Шахимардана скинули паранджу, враги — религиозные фанатики зверски убили Хамзу. Вот ведь как люто ненавидели они тех, кто шел против косных обычаев, традиций, боролся за прогрессивное, сближающее нации.

Ныне сама жизненная, социальная новь облегчает эту борьбу.

Родившись как национальные, лучшие традиции уже подхватываются другими нациями, а иные и рождаются как общесоветские.

Возьмем, например, хошар. Это старая узбекская народная традиция: взаимопомощь соседей — коллективное, общими силами строительство.

Добрая традиция! Она органично «вписывается» в наше время. Ее дальнейшее развитие и распространение

ние может благотворно сказаться на жизни других республик и городов.

И разве неверно будет сказать, что помощь всей страны Ташкенту, пострадавшему от землетрясения, — это Всесоюзный хошар!..

В домах стариков-колхозников (Навоийский район) родились внуки. По народному обычаю, деды должны были посадить в честь поворожденных по фруктовому дереву, с тем, чтобы потом внуки отведали с этих деревьев первые плоды. А деды высадили две тысячи деревьев! Это уже подарок всему колхозу. И теперь на обязанности всех колхозников лежит уход за саженцами.

Так старая традиция обогатилась новым, советским содержанием. И разве такая традиция не может привиться в колхозах других республик?

Так же, как все доброе, современное прививается в Узбекистане. По-новому начали у нас праздновать свадьбы — во дворцах бракосочетаний. Такой дворец открылся и в Ташкенте, и первой переступила его порог молодая **узбекская** пара. И «бешик-той» справляется в республике по-новому. В колхозе «Победа» Кургантепинского района Андижанской области торжественно проводится обряд гражданской регистрации новорожденных, а пример подали россияне, кубанцы.

Прежде традиционными праздниками песни славилась Прибалтика. Ныне Праздник песни утвердился и в Ташкенте — причем как **Праздник советской песни**.

Во многих республиках отмечают День дружбы наших национальных столиц: например, Баку — Ташкент.

Как общесоветская традиция возникли музыкальные фестивали, проходящие в наших городах, республиках во **всенародном** масштабе.

Конечно, иные традиции обладают определенной спецификой, обусловленной, главным образом, особенностями конкретных природных условий. Праздник русской зимы в Ташкенте не справишь (но, кстати, не везде его справишь и в России). А Праздник хлопка не для России. Однако в самом Узбекистане в этом празднике участвуют представители многих национальностей.

А вот Праздник воды, который как-то предложила ввести «Правда Востока», вполне мог бы распространиться и на некоторые засушливые области России. Им

ведь тоже трудно без воды, вода и для них — ценность и радость.

Жители Львова начали отмечать Праздник улиц: в эти дни старожилы, ветераны революции, знатные люди города, писатели, историки знакомят горожан с прошлым и настоящим улиц-именинниц, рассказывают о тех, в чью честь названы многие улицы.

А в Орехово-Зуеве происходит торжественное посвящение в рабочие выпускников ФЗУ, которые приносят трудовую присягу...

Такое возможно только в нашей стране.

И разве было бы плохо, если бы подобными традициями, как, например, и белорусским праздником малышей, обогатились многие наши народы?

Я целиком согласен со словами Ш. Рашидова, что «те традиции, которые отражают любовь к Родине, верность дружбе, способствуют сближению наций и народов, надо всемерно поддерживать и развивать, а те из них, которые были порождены социальной и национальной несправедливостью прошлого, обычаям, чуждые коммунистической морали, необходимо решительно искоренять, используя для этого все формы и средства идеологической работы».

Правда, следует быть очень осторожным в подходе к вопросу о старых традициях, дабы с водой не выплеснуть ребенка.

Одно дело — излишние, «обязательные» траты на свадебный той, другое дело — торжественность, ритуальность обстановки, в которой он проходит. Когда с улицы доносятся звуки карнаев и сурнаев, то невольно подходишь к окну, чтобы полюбоваться на автомобильный свадебный кортеж, объезжающий город. Один из моих ташкентских друзей сказал даже так: «Почему бы нашим милиционерам, когда приближается свадебный поезд, не перекрывать путь другим машинам? Пусть все видят, какое у нас уважение к свадьбе! Праздник должен быть таким, чтобы запомнился на всю жизнь».

Как-то в «Литературной газете» был опубликован очерк об Узбекистане, где автор с некоторой высокомерной снисходительностью советовал узбекам пересест с ковров за столы, желая поднять их, так сказать, от «отсталости» к «цивилизации». А это вовсе не отсталость, а традиция, обусловленная многими этнографическими причинами. Возможно, когда-нибудь все узбеки по своей воле будут сидеть за столами. А может

быть — кто знает! — иные москвичи предпочтут столам — ковры. Когда мне, например, предлагают стол или сури, с наброшенными на нее курпачами и подушками, то я чаще всего выбираю сури: так удобнее и для неторопливой беседы, и для приятного застолья (вернее, «задастарханья»).

В общем, повторяю, в вопросе о старых традициях требуется тактичность. Упаси боже тут декретировать, указывать «свысока».

Нельзя считать отсталой любую традицию.

Но нельзя и подлинную отсталость оправдывать тем, что она, мол, сложилась веками.

Еще не исчезли традиции косные, вредные. И не исчезнут, если мы будем мешать, а не помогать процессу взаимосближения наций и национальных культур. Помочь же этому можно упорной борьбой со старым, отживающим, за новое, светлое, передовое. Ибо старое — разделяет, новое — сближает.

То же можно сказать о литературных традициях.

Межой между национальными литературами часто служат такие традиции, которые сдерживают развитие и самих этих литератур, такие традиционные средства и художественные приемы, которые уже не соответствуют новому жизненному содержанию. Борьба с ними пойдет только на пользу и самим национальным литературам, и делу сближения братских советских литератур.

Прогрессивными же национальными традициями, стимулирующими литературный расцвет, можно и нужно делиться, не держась за «свое», не чураясь «чужого».

Иначе ведь легко «законсервировать» в своей литературе отмирающее, ненужное, даже вредное.

Один мой друг, азербайджанский писатель, защищая произведение своего земляка, говорил, что многое там «высокопарно, несовременно, но это в нашей литературной традиции».

Но нельзя же цепляться за старое по принципу: несовременное — да свое. Так следование традициям может превратиться в рабское служение традиционности, а это уже топтанье на месте.

И нельзя художественные недостатки возводить в степень национальной традиции, — а мы порой делаем это. И выдаем за национальную специфику литературную отсталость.

Говорили, например, о «национальном колорите» в повести талантливого повеллиста С. Ахмада «Приговор», посвященной годам коллективизации, о следовании автора «поэтической» традиции. Но от поэзии у него — лишь упрощенность психологических мотивировок, что никак нельзя считать достоинством прозаического полотна. Грешит повесть и некоторой плакатностью, наивностью...

Критикой
средне
в ста
на пер
неуклонно во.

В прежних
ной мере обу
рыми национа

Но по косн.
ские писатели,
препоны на пути
искусственные.

Этого не избежал даже такой замечательный писатель, как Айбек. В его романе «Ветер золотой долины» Сабир и Анархон любят друг друга. И любовь эта была бы безоблачной (разве ж это преступление?), если бы автор искусственно не драматизировал отношения своих героев. Рецепт подобной драматизации весьма прост: Мастура распускает сплетню о том, что Уктам «так и вьется вокруг Анархон». И этого достаточно для того, чтобы Сабир впал в отчаяние. Сомнения, подозрения мучают героя. Его состояние замечает Уктам. Уктаму все время хочется «подойти к Сабиру и спросить: «Что случилось? В чем я виноват перед тобой?» Однако писатель, дабы оттянуть развязку, удерживает Уктам от столь простого и естественного шага.

О надуманности, литературной шаблонности этой ситуации можно судить хотя бы по тому, что она подозрительно совпадает с подобной же ситуацией в книге туркменского прозаика Ата Коушутова «Бахар и Хошгельды». Оба писателя использовали один и тот же прием, идущий от старовосточных литературных традиций.

На это, повторяю, уже указывала критика. И многие среднеазиатские писатели успешно преодолевали эту традицию. Так, в книге «Айсолтан из страны белого золота» Берды Кербабаев тоже отталкивался от тра-

... один из недостатков
...го следует искать
...ой схеме даста-
...руга, непременно,
...препятствия.

...пятствия были в извест-
...ой обстановкой, некото-
...удками.

...ые советские среднеазнат-
...енную жизнь, воздвигали
...ых героев, — препоны уже

диционного сюжета дастана, изображавшего страдания влюбленных, но он использовал этот сюжетный мотив лишь для того, чтобы тут же пронически его обыграть. Препятствия на пути его влюбленных героев оказываются иллюзорными, недоразумения, вытекающие из старых обычаев, разрешаются легкой шуткой: героям самим становится стыдно и смешно...

Казалось бы, в Средней Азии покончено с этой литературной схемой... Но вот я читаю подстрочник новой повести одного туркменского прозаика (повести, уже вышедшей в свет на туркменском языке) и встречаюсь со старой знакомой: сплетней, встающей на пути влюбленных и играющей решающую роль.

Видно, живуча традиция, в нынешних произведениях оборачивающаяся литературным шаблоном. Упрямое цепляние за нее в данном случае еще раз привело к общей художественной неудаче.

В документальной повести «Девушка смотрит вдаль» Н. Сафаров после одного из эпизодов оговаривается: «Может, для русского читателя эта сцена покажется слащавой...» Но почему же только для русского? Слащавость — это всегда плохо, и от нее надо избавляться, а не оправдывать ее.

В романе «Преданность» И. Рахим так заставляет своих героев говорить о героинях: «Милая девушка, земная звезда!» «Целыми днями можно любоваться на нее. Не она ли та самая, которую он давно ищет, о ком мечтает с юности?». А вот цитаты из повести А. Якубова (в общем-то, очень современного прозаика): «От такого обращения сердце мое и совсем растаяло. Правда, я был как пьяный... человек пьянеет от одного улыбочивого взгляда», «Сердце мое рвалось из груди», «Ее губы напоминали цветок тюльпана, согретый лучами весеннего солнца...». А сколько героев среднеазиатской прозы в счастливые минуты «обретают крылья», парят над землей, летят на конях, как вихри...

Неужели же писатели полагают, что эти экзальтированность, пышнословие, «красивые» возгласы-определения — от национальной традиции? Нет, это просто плохо. Шаблонно, обще и бледно.

Надо сказать, что и некоторые читатели считают истинно национальным все традиционное. Любопытен в этом отношении один из читательских откликов на роман Ш. Рашидова «Сильнее бури». Автор этого отклика утверждал, что любое отклонение от традици-

онного колорита как раз и является недостатком и что подлинно национальный характер в романе — это Муратали. «Старик Муратали — да, это Узбекистан!»

Но это традиционный Узбекистан, каким мы привыкли его видеть в произведениях о прошлом. И не случайно положительные герои романа, передовые люди Узбекистана борются с упрямством Муратали, с его приверженностью старым традициям, за самого Муратали.

Нам следует, на мой взгляд, бояться таких «традиций», о которых говорилось выше, и им противодействовать, а не сближению наших культур, не обмену прогрессивными традициями, не отношению к ним как к нашему общему достоянию.

Приобщение к достижениям всех литератур, поиски нового никак не обедняют и не унижают братские литературы. То, что вчера было естественным, сегодня может стать старомодным. И что же зазорного в том, чтобы отказаться от этого устаревшего «своего», взять что-то у других литератур?

Ведь это помогает литературе сделаться новаторской...

Я вовсе не собираюсь перечеркивать само понятие «национальная форма», «национальная специфика» в применении к современным советским братским литературам. Я лишь хотел показать, насколько все это сложно. И тут нельзя отделяться общими фразами, по сути дела, критическими отписками.

Нужно брать то или иное литературное явление в его развитии, в перспективе, подходить к нему диалектически.

Да, национальная форма — это реальный факт, с которым смешно было бы не считаться. Но это форма, преобразованная новым содержанием. Да, существует и национальный характер — но это характер на современном этапе развития и в процессе развития.

И еще: национальную специфику произведения нельзя рассматривать в отрыве от идей этого произведения, жизненного материала, метода, каким оно создано, наконец, от индивидуальной манеры писателя. В конкретной книге сложно, в неповторимом единстве сочетаются и особенности жизненного материала, послужившего ее основой, и колорит самого времени, и национальный характер, и творческая индивидуальность автора. Все

это, вместе взятое, и предопределяет отличие данной книги от других.

Как из этого выделить «собственно национальное»?

В этом, по-моему, и заключается главная трудность анализа национальной формы.

Вопрос о национальной форме — это в большой мере вопрос о стиле писателя. А писательский индивидуальный стиль — сложнейший сплав таланта, освоенных традиций, субъективных пристрастий, самобытности характера!

Мы часто путаем национальное и индивидуальное, принимая за национальную специфику именно индивидуальный стиль, подменяя одно другим.

Романтизм, некоторая патетичность у Мехти Гусейна — вращены, видимо, азербайджанскими литературными традициями. Но это в то же время и проявление его творческой индивидуальности.

Символика романов Шарафа Рашидова тоже, наверное, в истоках своих национальна. И в то же время эта творческая особенность присуща лишь Шарафу Рашидову, она глубоко индивидуальна. У Аскада Мухтара та же символика находит иное конкретное выражение.

Мне по душе рассказы молодого татарского прозаика Рустема Кутуя (пишущего на русском языке). Они очень своеобразны, подкупают лиризмом, психологически-поэтичным подтекстом, чистотой чувств излюбленных автором героев. Но как различить в этом специфически-национальное и творчески-индивидуальное? Вполне возможно, что Р. Кутуй идет в своих рассказах от национальных традиций, и как-то проявляется в них его национальный характер, но чтобы углядеть это, нужно, видимо, в совершенстве знать татарскую культуру и татарский национальный характер — во всех тончайших оттенках.

Можно, конечно, привести примеры ярко выраженного специфического стиля и образного мышления того или иного национального писателя.

Когда, например, Н. Сафаров пишет в повести о Турсунной Ахуновой: «...для меня они (строки) звучат громче карная», — то такое сравнение выглядит вполне естественным, и русский так, пожалуй, не скажет.

Специфичен и такой образ в романе Х. Гуляма «Светоч»: «...его мертвого карабандра, его потухшей молнии».

Приведу еще несколько цитат: «Время движется медленно, как усталый караван», «Она еще зелена, как

майский урюк» (С. Абдукадир, «Начало жизни»), считал он так, что одни фразы превращались в гору, другие в пылинку, одни он выкатывал изо рта, как арбуз, а другие проглатывал, как кишмиш» (А. Каххар, «Птичка-невеличка»), «...вместо черного котла, что покрывал землю ночью, надо мной опрокинуто, словно воловина арбузной корки, изумрудное небо» (И. Рахим, «Огнероб»), «волочившая свою снежную саблю зима удалялась. Снег, как стада белых верблюдов, залегший сугробами на земле, начал таять, словно сахар в воде» (Дж. Аймурзаев, «Проделки Камекбая», Каракалпакья).

Все это — и специфично, и очень естественно в устах узбекских писателей.

Но, во-первых, как уже говорилось, и такая, стилистическая, специфика перенимается инонациональными писателями, когда они хотят полнее, правдивей и глубже отобразить жизнь братского народа.

А, во-вторых, здесь многое зависит от творческой индивидуальности писателя: один пишет более, другой менее образно и метафорично, у одного больше, у другого меньше национальных пословиц и поговорок.

Вообще доля национального различна в творчестве различных писателей. И это опять-таки обусловлено их индивидуальностью.

Так, «национальное» заметней в поэзии С. Рустама, чем в поэзии Р. Рза, хотя оба — азербайджанцы.

И в стихотворном сборнике Наби Хазри (Азербайджан) «Весна и ты» национальное начало выявлено куда четче, чем в сборнике Олжаса Сулейменова (Казахстан) «Ночь-парижанка», что вовсе не умаляет ни поэтических достоинств обоих сборников, ни талантов автора.

Б. Буряк в дискуссии на страницах «Литературной газеты» писал, что «если бы И. Грекул глубже вчитался в стихи А. Малышко или М. Танка, о которых он вспоминает, если бы обратился к творчеству своих земляков-молдаван, то он увидел бы в творчестве и манере каждого писателя не только то, что объединяет его с другими, но и то, что определяет неповторимость его восприятия мира, интонаций, красок. И это лишь подтвердило бы известную мысль: истинно художественное произведение всегда национально».

А, может, это подтвердило бы иную мысль: что подобная неповторимость — это плод творческой инди-

видуальности писателя. Ведь Б. Буряк сам признает, что метод социалистического реализма обуславливает расцвет именно «творческих индивидуальностей».

Говоря о творческом почерке А. Довженко, мы часто подчеркиваем, что это, мол, украинская традиция в кинематографии. На мой же взгляд, мы имеем дело с крупнейшей творческой индивидуальностью прежде всего (хотя в индивидуальное входит и национальное) и с режиссерской довженковской школой. И если режиссер, представляющий другую нацию, следует за А. Довженко, разве мы говорим, что он развивает украинскую традицию в кино? Нет, это советский режиссер развивает довженковскую традицию, ставшую уже нашим общим достоянием.

Да, разговор о национальной специфике — тонкий, трудный, сложный. В этой области нам еще работать и работать!..

Однако, подчас затрудняясь определить, что в творчестве данного писателя, в данном конкретном произведении, чисто русское, чисто узбекское или чисто эстонское, мы без труда замечаем советское в нем.

Я часто слышал, что о Расуле Гамзатове говорят как о дагестанском поэте. Но ведь Дагестан — это множество народностей. Р. Гамзатов — поэт аварский. А в чем специфика его творчества именно как аварского поэта — могут, пожалуй, разобраться лишь специалисты.

Для широкого же читателя Р. Гамзатов — прежде всего, в первую очередь, большой советский поэт.

Уже и сейчас мы пишем и говорим о нашей литературе как о многонациональной, советской, единой.

А ведь еще Максим Горький в свое время писал: «...Разноплеменная, разноязычная литература всех наших республик выступает как единое целое перед лицом пролетариата Страны Советов, перед лицом революционного пролетариата всех стран и перед лицом дружественных нам литераторов всего мира».

Это сказано почти треть столетия назад!..

Ныне же братские народы все щедрей делятся своими культурными ценностями, обогащая друг друга и создавая таким образом многонациональную социалистическую культуру советского народа.

Я вспоминаю своих друзей — узбекских, русских, азербайджанских, кабардинских, белорусских, аб-

хазских писателей... Вспоминаю любимые стихи, романы, музыку, картины, созданные разноплеменными представителями нашей культуры. И горжусь всем этим — как советской культурой. И радуюсь рождению чудесных сплавов, где главное — общесоветское, выступающее как неотъемлемый момент новой национальной формы, а порой и как сущность того или иного произведения.

Иные полагают, что процесс сближения братских советских культур можно, так сказать, пустить на самотек, мол, это — как дыхание, это нечто стихийное, и не о чем да и незачем тут спорить, все само собой образуется...

Нет, это, я бы сказал, процесс естественный и направленный. Естественный — ибо рожден самой жизнью. Продиктован закономерностями ее течения. Направленный — потому что мы сознательно поставили перед собой задачу формирования единой культуры коммунистического общества через взаимообогащение национальных культур.

То есть, существует стихийная тенденция, но ее можно и нужно ввести в правильное, заданное русло. Ведь, например, метод социалистического реализма не сформировался сам по себе — его созданию сознательно способствовали все советские писатели во главе с Максимом Горьким. Мы тут имеем дело с активным творческим началом, а не только со стихийным самообразованием, самовозникновением, саморазвитием.

Итак, процесс сближения литератур — процесс целенаправленный, и важно видеть не только избранную нами яркую конечную цель, но и путь к ней. И нужно спорить — чтобы выбрать путь наиболее прямой и не свернуть в сторону.

Большой спор о путях развития братских литератур еще не закончен. И, мне думается, что, несмотря даже на крайность позиций, он важен и плодотворен, ибо помогает «прояснить», по какому же пути нам идти в дальнейшем.

Правда, например, участники дискуссии, развернувшейся в свое время на страницах «Литературной газеты», скорее констатировали состояние национальных культур «на сегодняшний день», чем раздумывали о путях, тенденциях их развития.

Так, полемизируя с И. Грекулом, Н. Худайбергенов

фиксировал: «Нет, не перестали быть национальными по форме советская литература и искусство. Не перестали потому, что роман, поэма, драма, стихотворение всегда рождаются на своей национальной почве и всегда несут на себе ее печать».

Но кто же с этим спорит? Да, не перестали. И. Грекул неправ потому, что он тенденцию утверждал как уже свершившееся, и, естественно, его позиция вызвала дружный отпор.

На мой взгляд, как раз очень важно определить: в каком направлении развиваются, будут развиваться, должны развиваться национальные литературы. Выяснив это, мы определим и наши задачи — как общие, так и конкретные.

Тенденция развития братских литератур, по-моему, ясна: в сторону взаимосближения. По мнению Ш. Рашидова, «основное направление развития многонациональной социалистической советской культуры характеризуется усилением, по мере движения нашего общества к коммунизму, интернациональной основы каждой национальной культуры».

Поэтому, возражая Н. Худайберганову, можно сказать так: советская литература еще не перестала быть национальной по форме.

Нашу же главную задачу я вижу в сознательном стремлении к взаимообогащению братских культур. В борьбе со всем обветшалым и косным, ложно-традиционным и псевдо-национальным в братских культурах, со всем, что препятствует их развитию и развитию советской культуры в целом, в идеологическом вмешательстве в процесс сближения национальных культур — в целях активизации этого сближения.

Надо сказать, что советские партийные работники понимают, какую важную роль играют средства идеологического воздействия на процесс взаимосближения культур, и их тревожит недооценка этих средств, недостаточная наступательность, гибкость партийной и иной пропаганды.

Так, один из работников ЦК КП Азербайджана писал в «Правде»: «Наша пропагандистская трибуна нередко действует... стихийно, самотеком и еще далеко не достаточно использует лучшие достижения советской литературы и искусства для усиления процесса сближения национальных культур... Нам кажется, что в распространении и утверждении лучших народных

традиций, рождающихся в нашем движении к коммунизму, должны активнее применяться все средства идеологического воздействия... Время, жизнь, глубинные процессы, происходящие в развитии народов, требуют от нас поднять работу по интернациональному воспитанию масс на еще более высокую ступень».

Примерно в таком же духе высказывался и покойный секретарь ЦК КП Туркмении Я. Худайбердыев: «В нашей стране с каждым годом все шире идет процесс взаимообмена и взаимообогащения национальными традициями. Однако, думается, этот процесс мог бы идти гораздо активнее. Ведь каждая республика накопила опыт использования хороших старых традиций, а также внедрения новых. На наш взгляд, в целях лучшей информации, обмена опытом было бы полезно периодически проводить встречи представителей партийных организаций, ученых, творческих работников союзных республик для обсуждения, как лучше использовать праздники и обряды в целях воспитания».

Об активном воздействии на процесс сближения братских культур говорилось и в Узбекистане: «Партийная организация Узбекистана в последнее время уделяет много внимания дальнейшему развитию литературы и искусства в республике, их обогащению из сокровищницы передовой русской культуры и культуры всех братских народов нашей страны».

Здесь, кстати, я отметил бы слова о взаимозависимости развития национальной культуры и ее обогащения другими национальными культурами.

Я вижу нашу задачу также в постоянном практическом содействии взаимообогащению, взаимосближению братских культур, в широкой, заинтересованной пропаганде положительного опыта каждой из них, в максимальном расширении межнациональных культурных связей — во всем их многообразии.

Мне кажется, что Узбекистан особенно готовно и широко пропагандирует, поддерживает межнациональные культурные контакты.

Тем представителям национальных культур, кто хоть раз побывал в Узбекистане, никогда не забыть горячего энтузиазма и братского гостеприимства хозяев.

Формы взаимообщения братских культур не только совершенствуются, но и все больше разнообразятся.

В том же Узбекистане состоялись вечера русской поэзии, недели братских культур, музыкальные фести-

вали: «Ташкентская весна», «Долина роз». В Ташкент и Каракалпакцию приезжали со своеобразным творческим отчетом ленинградские поэты. Неделя в Прибалтике, а потом вечером в Москве была представлена кабардино-балкарская литература. А ульяновцам запомнятся дни литовской культуры.

Да всего и не перечислишь!..

1967-й — юбилейный — год стал годом особо интенсивного взаимообщения братских культур. С большим успехом, широко и празднично, прошли дни национальных культур в Москве. Дело большое, нужное и полезное. Они упрочивают братские взаимосвязи, дружбу народов и литератур, обогащают как гостей, так и хозяев.

Нужно, чтобы творческое взаимообщение стало рабочей повседневностью. Наряду с «праздничными» надо развивать постоянные, дружески-деловые, «будничные» творческие контакты. Например, приглашать в республики отдельных братских писателей — для встреч с литературной молодежью, для творческих споров, для обмена творческим опытом. «Почему бы московским писателям, журналистам, художникам, кинороботникам, — писалось в «Правде», — не бывать почаще в союзных республиках... чтобы ярче, во всей полноте показывать нашу жизнь? Надо искать все новые и новые формы для широкой пропаганды единения братских культур».

К слову сказать, при таких постоянных, повседневных творческих контактах та или иная литература приобретает все больше «личных» друзей из братских республик. И, например, преданными друзьями Узбекистана и его литературы уже сделались многие русские писатели: Николай Грибачев, Анатолий Софронов, Георгий Некрасов, Борис Привалов и другие.

Меня привлекло сообщение о поездке каракалпакских литераторов по маршруту: Москва, Ленинград, Казань, Ульяновск, города Украины, Грузии, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, а также республик Средней Азии. Писатели рассказывали своим инопатриотическим братьям о достижениях своей республики, о своих творческих успехах.

Хорошее начинание!..

Отрадно, что на страницах наших газет писатели бликуют рецензии, отклики на произведения литера-

торов братских республик, причем эти выступления отличаются глубоким знанием инонациональных литератур. Мне, например, запомнилась рецензия Яна Судрабалка на сборник Петруся Бровки «Сентябрьский дневник», статья Анатолия Софронова о стихах Гафура Гуляма.

Однако важно не столько взаимоознакомление, сколько взаимоучеба братских писателей, пристальное, творчески плодотворное внимание к инонациональному литературному опыту.

И потому одной из первостепенных наших задач я считаю использование советскими писателями всего ценного в богатейшем опыте наших братских литератур, непрестанную, активную творческую учебу друг у друга.

К расцвету — через сближение! К сближению — через расцвет!..

ЖИВАЯ СВЯЗЬ ЯВЛЕНИЙ

Мы часто ошибаемся в оценке того, насколько полно и ярко представлена в советской литературе та или иная тема, так как не учитываем достижений всей нашей многонациональной литературы в целом.

Например, мы сетуем, что в нашей прозе очень мало талантливых произведений о современном рабочем классе. «В сегодняшней литературе мне не хочется читать об очередных шоферах-лихачах, рефлектирующих мальчишках,— писал в «Литературной газете» критик В. Стариков.— Я хочу читать книги о рабочем, нашем современнике... А в литературе его не так часто встретишь... талантливых книг, раскрывающих процесс роста и мужания рабочего класса и его технической интеллигенции, у нас сегодня не так уж много».

Упрек был предъявлен всей советской литературе. А речь в упомянутой статье шла лишь об одном из ее отрядов — литературе русской. Часть была оторвана от целого, но почему-то выдавалась за целое.

В подобных тематических обзорах с ограниченным в пределах лишь одной национальной литературы отбором литературных явлений происходит этакая «усушка» материала. И у читателя создается несправедливо обедненное представление о развитии советской литературы.

Стоит же выйти на большой литературный простор,

и общая картина выглядит куда отрадней: и многокрасочней, и тематически многогранней.

На нынешнем этапе развития советской литературы в корне неправильно судить о литературных процессах, рассматривать положение в той или иной национальной литературе изолированно, спонтанно, вне ее органических связей с остальными братскими литературами. Литература у нас — единая, многонациональная. Только так к ней и нужно подходить.

И в этом случае можно было бы назвать не «два-три» острых, интересных и значительных произведения о «людях промышленного труда», созданных за последнее время, а гораздо больше, ибо тогда к прозаическим полотнам Г. Николаевой, В. Кетлинской, В. Кочетова, писавших о нашем современнике, рабочем, примкнули бы романы и повести украинских, узбекских, белорусских, грузинских, азербайджанских, армянских, прибалтийских писателей.

Разве «Черные скалы» азербайджанского писателя Мехти Гусейна — книга не острая, не волнующая? А «Небит-Даг» туркмена Берды Кербабоева или «Караганда» казаха Габидена Мустафина — не масштабные романы? Живые и в то же время героические образы рабочих-строителей создал Аскад Мухтар в книге «Рождение».

Все это, конечно, не должно нас успокаивать, советским литераторам еще многое предстоит сделать в смысле достойного освещения этой темы, но многое уже достигнуто, упомянутые книги (и многие не упомянутые) вошли в золотой фонд достижений послевоенной советской литературы, и нам грех прибедняться.

Однако, когда я перелистал в памяти «разнонациональные» произведения, посвященные теме рабочего класса, то вместе с гордостью за нашу литературу ощутил и некоторую неудовлетворенность, вызванную на сей раз изолированностью, оторванностью, в пределах каждой книги, данной темы — от других.

В жизни все диалектически взаимосвязано. От любого явления тянутся тысячи нитей, зримых и незримых, к другим явлениям. Любой процесс происходит на фоне и в связи с другими процессами. Одно проникает, переходит в другое, зависит от другого, влияет на другое, взаимодействуют с ним.

В нашем же обществе, сила которого в монолитности, в единстве — социальном, политическом, экономи-

ческом, национальном, — связи между жизненными процессами и явлениями, между коллективами и людьми особенно многообразны, прочны и органичны.

А литературная критика (в свое время и я этого не избежал) раскладывает по разным полочкам: тема колхозная, тема рабочего класса, тема военная, студенческая... Правда (и к сожалению), критика, столь резко разграничивая темы, часто исходит из конкретного литературного материала. Что греха таить, иные писатели, если уж повествуют о строителях, так только о строителях, о геологах — так только о геологах, о колхозниках — так только о колхозниках (плюс сельская интеллигенция), о студентах — так только о студентах (плюс профессура) и т. д.

Как известно из одной шутки, нельзя объять необъятное.

Но нельзя и разъять неразделимое!

Ведь между нашей промышленностью и сельским хозяйством, городом и селом не существует китайской стены. И так же, как жизнь, труд советских рабочих, технической интеллигенции неотделимы от жизни, труда, борьбы всего советского народа, так и тема рабочего класса должна «входить» в другие темы, втягивать, вбирать их в себя.

Неправомерно, конечно, регламентировать писательские замыслы. И я вовсе не хочу сказать, что в произведениях (особенно небольших) не должно быть тематического «центра». Я призываю не к тематической пестроте, а к широте мышления, к широте видения жизни — во всех ее связях, к полноте охвата действительности — со всеми гранями единого целого. Конечно же, не обязательно прямое отражение сразу всех этих граней. Но ведь даже описывая только заводскую жизнь (не узко производственно, а в ее многообразных проявлениях), возможно и необходимо раскрывать ее слитность со всей жизнью, кипящей вокруг. Причем не механически, не через разговоры героев, например, о злободневных международных событиях, об искусстве, о решениях последних Пленумов ЦК КПСС, а художественно, в сюжете, композиции, образном строе воплощать, пусть опосредствованно, взаимодействие, взаимозависимость, взаимопроникновение (существующее в самой жизни) внешне различных явлений, процессов, сфер бытия.

Выше говорилось о диалектических нитях, тянущих-

ся от одного явления к другому. И важно показывать даже не сами эти «другие явления», но хотя бы начала идущих к ним путей. Как это сделать? Это уже вопрос индивидуального мастерства.

В этом плане весьма интересно передана связь между стройкой и колхозом в романе А. Мухтара «Рождение»: через показ становления характера молодого строителя, недавнего колхозника Кимсана.

Разумеется, способов воплощения таких связей — множество.

На мой взгляд, в широких прозаических полотнах правомерно и тематическое «двуединство», например, изображение на равных правах и завода, и стройки, и колхоза.

Нельзя сказать, чтобы писатели не стремились к этому. Но в иных книгах перед нами механические связи между различными участками жизни. Мехти Гусейн в романах «Утро», «Апшерон» сумел органически спаять «городскую» и «сельскую» темы. А вот в первой книге «Черных скал» деревенский, довольно развернутый сюжет — на отшибе от основного: герой-нефтяник посещает родную деревню лишь затем, чтобы забрать оттуда мать.

Мне кажется более примечательным воплощение темы рабочего класса в тесном единстве с колхозной темой в романе узбекского писателя Шарафа Рашидова «Могучая волна» (который мне довелось переводить на русский язык). Правда, писателю несколько облегчила задачу специфика развития Узбекистана, где рабочий класс в силу прежней отсталости этого края образовался, в сущности, сравнительно недавно и в основном из дехканской массы. Сам жизненный материал предоставил автору «Могучей волны» благодарную возможность слить тему трудового подвига узбекских колхозников в годы Великой Отечественной войны с темой формирования рабочего класса республики. И писатель мастерски использовал эту возможность. В центре произведения — строительство Фархадгэс (в романе — Галабагэс). На этой народной стройке трудились колхозники, из них выросли рабочие. На Фархадгэс, на Бекабадском металлургическом заводе я встречал потом много кадровиков, бывших дехкан, участвовавших в сооружении электростанции.

Но взаимосвязаны не только заводская и колхозная жизнь, «заводская» и «колхозная» темы. Сейчас все

чаще стали говорить о синтетичности жанров как черте современной литературы. Мне же думается, что сама наша действительность во всем ее многообразии, естественные для советского художника широта, многоохватность, синтетичность мышления диктуют синтетичность тематики.

И хотелось бы, например, прочитать произведение многоплановое, но не пестрое, где были бы изображены и завод, и колхоз, и театр, и институт, и т. д. — в едином комплексе, в неразрывности прямых и косвенных, явных и глубинных (только не механических!) связей. То есть где была бы жизнь со всеми гранями единого целого, при сквозном сюжете, при доминирующей главной проблеме.

Подобные произведения у нас имеются. Но их во всей нашей литературе не густо, и многие из них художественно несовершенны.

Выше не случайно подчеркнуто, что все линии произведений с «синтетической» тематикой вполне можно пронизать, «обнять» единой проблемой, которая равно волновала бы почти всех героев книги.

Перед нашим обществом в целом стоят одни проблемы, одни задачи. Все вопросы, которые решает наша страна, все, чем она занята, в одинаковой мере затрагивает нас всех, независимо от того, кто где и над чем работает.

Здесь имеются в виду проблемы политические, социальные, научные, моральные, народнохозяйственные.

Мне могут возразить: мол, в принципе вы ломитесь в открытую дверь. Что касается литературы, то проблемы моральные — да, это ее дело, основная ее задача — создавать полноценные характеры, идейно и эмоционально воздействуя на читателей образной системой произведений, а не подменять собой министерства, Госплан, прессу и т. д.

Так-то оно так... Но, во-первых, подразумевается, что проблемы должно не «подверстывать» к произведению, а органично вводить как раз в образную ткань. А, во-вторых, характеры развиваются не в безвоздушном пространстве, они окружены плотно насыщенной атмосферой современности.

Порой читаешь книгу, где вроде налицо и колоритные характеры, и пластичные детали, но не видишь, когда конкретно происходит действие: до войны или по-

сле, сегодня или десять лет назад, в 1964 году или в 1968?.. Как говорилось в одном из фельетонов, «в каком году происходит действие — в этих картинах не обозначено. Так, вообще, в наши дни».

Герои таких книг, не окропленные «живой водой» сегодняшнего дня, при всей их внешней рельефности, выглядят все же этакими фигурками на шахматной доске: они слишком «общие», в их крови не пульсирует бурный ток жизни.

Меня в свое время поразило флоберовское «Воспитание чувств» своей четкой прикрепленностью к конкретному времени, к конкретнейшим датам, событиям и проблемам, которыми жила тогда Франция.

А романы Достоевского? Да они гудят отзвуками конкретных споров, шедших на страницах газет и журналов, между политическими деятелями, писателями, философами!

При наших же темпах движения к будущему, к коммунистическому Завтра каждый год отличен от других, и хотя общая наша цель остается неизменной, с каждым нашим шагом вперед перед нами встают новые конкретные проблемы и задачи.

Передовые советские писатели никогда не отмахивались от них с этаким снобистским пренебрежением. Вспомним «Поднятую целину», решавшую проблемы колхозного строительства. Или «Русский лес», где писатель страстно ратовал за сохранение народного достояния — Природы. Или «Фронт», где столкнулись противоборствующие взгляды на принципы военного руководства. О том, что М. Шолохов, Л. Леонов, А. Корнейчук вместе с тем дали путевку в жизнь и полнокровным характерам, говорить не нужно. Не случайно эти книги, наряду с другими значительными произведениями многонациональной советской литературы, завоевали самое широкое признание и наибольшую популярность у читателей.

Постоянно видеть перед собой сегодняшнего читателя — вот что необходимо советскому литератору.

Попробуем в общих, приблизительных чертах проследить от утра до вечера за этим читателем: о чем он раздумывает, говорит, спорит, что его интересует, что восхищает, что вызывает боль и гнев?

Вот он за завтраком проглядывает газеты. А как на Ближнем Востоке? Мир разделен на два социально-идеологических лагеря, и это отражается везде и на

всем. Сложно все, а хочется досконально разобраться в происходящих событиях: ведь любое — касается нас всех.

Так, а что на «внутренних» полосах? Опять о браконьерских набегах доморощенных дикарей на народные заповедники. До каких же пор мы будем это терпеть? С одной стороны на природу наступают варвары-одиночки, с другой — целые официальные ведомства во всей мощи своего авторитета. Вот солидные ученые пророчат чуть не гибель Аралу. А море-то какое!.. Неужели и правда ему грозит беда? Сердце щемит. Ведь природа — это мое богатство. Я должен в целости и сохранности передать его внукам. Это у капитализма нет будущего. И поэтому после меня хоть трава не расти. Нашему же обществу просто противопоказано жить лишь сегодняшним днем. Мы обязаны думать не только о «сиюминутной» отдаче, но и о нашем Завтра.

Но вот удовлетворительный кивок. Да, мы о нем думаем. Экономическая реформа — в действии. Наша экономика избавляется от своеобразных пожниц, когда подчас то, что было выгодно отдельному предприятию, било по интересам народа, государства в целом. Вал перестает быть фетишем для планирующих органов и для самих предприятий. Отрадно...

На работе, в свободную минуту, читатель толкует со своими сослуживцами, причем со знанием дела, о запуске еще одной нашей космической станции, о положении в сельском хозяйстве. Хоть он и горожанин, его не может не задевать все относящееся к колхозам, не только потому, что село его одевает и кормит, а потому, что колхозы — часть его большого хозяйства. Речь заходит о стихийных бедствиях в Средней Азии, о затяжной зиме, паводках, позднем севе хлопка — «белого золота» всей страны. Борьба за хлопок требует от колхозников напряжения всех сил, трудового подвига. А читатель тревожится: подвиг подвигом, но доколе же мы будем зависеть от стихий? Что думает по этому поводу уважаемая наука? Делаются ли попытки «управлять» хлопком?

В обеденный перерыв читатель (в который уж раз!) сталкивается с железобетонной проблемой обслуживания. И жалуется соседу по столику: когда же мы, наконец, перейдем от разговоров о нашем советском сервисе — к делу? И что в этом смысле разумней всего предпринять?

Вечером, дома, читатель, ежели он стонк, усаживается перед телевизором и внутренне включается в диспут о последнем фильме или о том, что понимать под одержимостью, подлинной интеллигентностью и т. д.

А может, наш читатель проводит день совсем в дру-гих беседах и спорах. Но так или иначе, а проблемы самые разнообразные, большие и малые, обступают его со всех сторон. Есть над чем призадуматься и поволноваться...

А перед сном он берет, предположим, новомодную книжку (берет потому, что о ней слишком уж шумят, а может, и потому, что его, читателя, уже не устраивают тематически плоскостные или скучные по форме произведения) и уходит от всех мучавших его проблем в другой мир — отвлеченный и камерный, мир «вечных» тем и картонных страстей, жаргонных словечек и жаргонного образа мыслей и чувств, неприкаянных юнцов и кающихся грешников, хороших стюардесс и циников-физиков, философствующих парикмахеров и грубоватых микроцефалов-«трудяг». В этом мире главные проблемы: ехать или не ехать из столицы в «глубинку», не поступить ли для разнообразия на работу и где взять денег на «рюмку кальвадоса», самый острый повод для переживаний — измена любимой или любимого, самая яркая мечта — о театральной или, на худой конец, какой-либо иной славе.

От таких книг не перехватывает дыхание и не вскипает мысль. Но читать их интересно.

И, по сути дела, они отвлекают нас от подлинных сегодняшних забот и насущных проблем.

А может, так и надо? Человек устал после трудового, граждански-напряженного дня. Почему бы ему и не отдохнуть, не отведать досуга ради литературной «клубнички»?

Один мой знакомый так и заявил, когда я поделился с ним своими раздумьями:

— Может, твой читатель за день пресытился острым и плотным, и его потянуло на что-нибудь полегче, по-десертней? Нельзя же все время сидеть на одном ра-ционе.

— Проблемы, которыми мы живем, это — как воз-дух. А воздухом мы дышим постоянно, без перерывов «на десерт».

— Но порой рвемся на лоно природы подышать иным, до остроты чистым воздухом.

— Вот пусть литература и даст мне этот чистый воздух, как бы сконцентрировав, освободив от всего наносного все, над чем приходится задумываться, прояснив, высветлив главное, важное, зарядив меня желанием поиска верных решений, волей к такому поиску!

— Но согласись, чтение — это все-таки досуг. Наши идеологические противники за рубежом с жадным нетерпением, с готовностью принять желаемое за действительное ждут не дождутся, когда же мы, наконец, «переродимся». И много пишут о том, что с сокращением рабочего дня у советских людей будет все больше свободного времени, и вот в эту отдушину и просочится к нам «Запад» через книги, фильмы. Проблема досуга не так уж безобидна, как кажется на первый взгляд.

— Видишь!.. Опять проблема. И важная. И нельзя, чтобы она уходила в песок. И пускай литература толкнет нас на ее решение! Я вообще-то далек от попыток выдумывать и навязывать какие-то универсальные литрецепты. Я даже и за «развлекательную» литературу. Но хочу, чтобы наша литература в целом не щекотала мне нервы, а будоражила душу, не уводила от проблем, которые сама жизнь выдвигает перед страной, а значит, перед каждым из нас, а будила, направляла мою мысль. Хочу, чтобы она активней вмешивалась в жизнь, напряженней и заинтересованней участвовала в наших общих свершениях, в решении общих, наиболее важных и острых вопросов. Но, естественно, не «в лоб», не поверхностно и конспективно, а с завораживающей яркостью и глубиной изображения современной действительности, чтобы всем нам захотелось заполнить досуг чтением именно таких книг.

Литература — это разговор с читателем. Откровенный разговор, по большому счету, о самом насущном и важном. От такого разговора сам читатель ждет большего, чем внешняя занимательность и острота.

Желательно, конечно, чтобы писатель обращался к проблемам наиболее значительным, по-настоящему острым и масштабным и не брал их с потолка, не высасывал из пальца, а зорко высматривал, чутьем выбирал в самой действительности и художественно воплотил не задним числом, когда они уже решены партией и народом, а и сам искал, подсказывал их решение.

Вспомним еще раз нашу советскую классику. Когда создавался «Русский лес», нынешние законы об охране природы еще не были приняты. Да и доньше вокруг

проблемы, поставленной писателем (я говорю только о «лесной» проблеме), бушуют страсти. Убежден, что справедливость восторжествует, поскольку все мы ее поборники. И весомый вклад в это уже внесен Леонидом Леоновым.

Если же писатель повествует об уже решенном, утвердившемся в жизни, он должен глубоко, значимо раскрывать, что же в самой действительности, в течении истории предопределило и обусловило данную постановку вопроса, данное решение проблемы.

В противном случае возникают печальные казусы... Некый (скажем, «среднеазиатский») писатель закончил роман на «колхозную» тему. И ничтоже сумняшеся пропел гимн производившемуся тогда «расщеплению» обкомов и райкомов, то ли не разобравшись в данном явлении (хотя, коли уж не разобрался, не спешит бить ни в набат, ни в литавры), то ли поддавшись конъюнктурным соображениям (что уж совсем худо). Позднее же, перерабатывая роман, автор вообще выбросил из него упоминания о парткомах производственных управлений, как будто в описываемый период их и не существовало в природе. Но что было, то было, и незачем закрывать на это глаза, не к чему торопливо замазывать трещины, которые порой пересекали нашу дорогу.

Уверен, писателю, анализирующему жизненные процессы, тенденции, явления глубоко, с четким, мудрым к ним отношением, нет нужды ни строки вымарывать из своего произведения, как бы ни повернулась жизнь.

После появления первой книги «Поднятой целины» много было крутых перемен, претерпели изменение и некоторые наши взгляды на прошлое. А шолоховский роман ни в чем не устарел. Он шагает широким шагом в ногу с веком. Ибо в нем — сама Правда, отображение решающих тенденций в развитии нашего общества на высшем художественном уровне.

Долгая жизнь суждена и произведениям о современности Леонида Леонова, Галины Николаевой, Вадима Кожевникова, Мехти Гусейна и Мирзы Ибрагимова, Шарафа Рашидова и Аскада Мухтара, Берды Кербабаева, Ивана Шамякина и других крупных представителей советской многонациональной прозы, произведениям, в которых все, в том числе и конкретная проблематика, подчинено всепронизывающей, непреходящей теме народного подвига.

У нас особенная действительность. И особенный читатель. Ему присущи широта кругозора, разнообразие интересов, чувство хозяина своей страны. Он ощущает себя причастным ко всему, что свершается у него на родине и в мире, ему до всего есть дело, он ищет в книгах ответа на самые различные волнующие его вопросы.

Долг многонациональной советской литературы — достойно отвечать этой широте читательских запросов, отвечать всем содержанием произведений, раскрывающих главное и особенное в нашей действительности. Отвечать — и комплексно-взаимосвязанными темами, актуальной проблематикой.

ВОСПЕВАТЬ СОВРЕМЕННОСТЬ!

Современная тема...

Я убежден: если перед читателем, — не считая убежденных поклонников исторического жанра, — положить две равных по качеству книги — одну о прошлом, другую о современности, — он выберет, все-таки, последнюю.

Спору нет, нам насущно нужны произведения о прошлом нашей Родины: порой весьма полезно оглянуться назад — дабы уверенней пролагать путь в будущее. Знание прошлого помогает достойней оценить настоящее. Прошлое, настоящее, будущее — это звенья одной диалектической цепи. И вполне закономерно, что многие молодые литературы наших братских республик начинались с загляда в исторические дали. Рост самосознания народов СССР вряд ли был бы возможен без обобщения опыта прошлого, опыта зачастую горького, тяжкого, но и включающего в себя борьбу за светлое Завтра. Художественный показ прошлого, сравнение его с настоящим, что тоже было характерно для начального периода развития иных национальных литератур, разжигали ненависть к строю, сметенному революцией, и к обломкам этого строя, еще загромаждающим нашу дорогу в Завтра, учили дорожить настоящим, добытым ценой жертв и крови, звали строить новую, счастливую жизнь.

Однако, хоть нам и сейчас близко и нужно многое в произведениях о давнем или недавнем прошлом на-

шей страны, каждой братской республики, все же еще ближе и нужнее сегодняшнему читателю книги, где непосредственно изображен пынешний день — в ответах солнечного Завтра. И лишь в таких книгах мы можем найти наиболее исчерпывающие ответы на вопросы, тревожащие нас сегодня.

Мы знаем, что в свое время бесстрашного, горячего бойца Павку Корчагина увлек «Овод», роман, далекий по содержанию от тех вихревых событий, в которых активно участвовал Павка.

А нам и поныне кровно дорог сам Корчагин. Он помогал советским людям в их беззаветной борьбе с фашизмом, своим примером вел их на врага. Герой романа Николая Островского «Как закалялась сталь» и сейчас с нами, как и Чапаев Д. Фурманова, как и Давыдов из шолоховской «Поднятой целины».

Но как же сегодня всем нам, особенно молодежи, не хватает Корчагиных и Давыдовых наших дней! Тем более, что таким Героям, как они, несмотря на все их мужество и подвижничество, пелегко почти в одиночку выдерживать напор лжесовременных героев некоторых романов и повестей, инфантильных, действующих в камерной психологически-бытовой обстановке, проникнутых усталым скепсисом или ворчливым критиканством и занимающихся, в основном, бесплодным самокопанием или потугами на решение «вечных» вопросов, а также персонажей, единственную заслугу которых и сами авторы, и критика видят в «неоднозначности» их характеров, оборачивающейся неопределенностью взглядов и позиций.

И трудно согласиться с писателями и критиками, пытающимися придать понятию «современность», «современная тема» некую универсальность. Так, известный русский художник слова К. Паустовский утверждал: «Настоящая литература живет всегда современностью и откликается на современные события. Прямо или косвенно. Важно, чтобы писатель был с «веком наравне», тогда любая тема будет действительно современной».

Мы наслаждаемся точностью и меткостью характеристик, мягкой достоверностью в воссоздании атмосферы отдаленного от нас времени, пластичностью письма, рельефностью образов, прозрачным лиризмом и тонким юмором в автобиографических повестях К. Паустовского. Они созданы истинным мастером. Но таких горячих

споров, такой обостренной реакции, как, например, более слабый с художественной точки зрения роман В. Кочетова «Чего же ты хочешь?», — эти повести не вызывали. Видимо, как раз потому, что В. Кочетов откликнулся на современные события прямо, а не косвенно.

Как образно выразился в одной из статей Шараф Рашидов, «для литератора писать о современности то же, что для орла летать».

Трудно представить себе писателя, который видит недостатки, тормозящие развитие нашего общества, и равнодушно проходит мимо, не выхватывая из ножен разящий меч обличения.

Трудно представить писателя, уклоняющегося от постановки проблем, которыми живет его страна, сворачивающего с магистральных дорог современности на узкие тропинки квартирного бытия своих героев.

Трудно представить писателя, ставшего свидетелем ратного, трудового или нравственного подвига советского человека и не попытавшегося воплотить этот подвиг в художественном произведении.

И уж совсем невозможно представить себе писателя, советского писателя, который не любил бы своих замечательных современников, созидателей нового, коммунистического общества, не жил бы их интересами, тревогами, радостями и горестями, не восхищался бы делом их рук, достижениями нашего народа.

А раз так — то можно ли не писать о них, не делиться с читателями мыслями о том, что волнует сегодня всех советских людей?

Таким образом, тема современности в творчестве советского писателя — это естественное и наиболее полное выражение его тесной и органичной связи с жизнью своего народа.

Потому-то, еще не оплатив сполна своего долга перед темами исторического прошлого своих наций, все неуклонней тянутся писатели братских республик к изображению сегодняшней многогранной, полной многозначительных, примечательных событий, явлений и процессов действительности.

Конечно, поднять в своем произведении важную проблему, которую еще решают партия и народ, исследовать явления и процессы, рождающиеся у тебя на глазах, характеры, формирующиеся в ходе этих процессов и несущие в себе черты нового, оперативно откликнуться полноценным художественным полотном на то

или иное актуальное событие, поймать его в фокус художнического видения и осмысления, пока оно не сделалось вчерашним,— это задача не из легких. Видимо, по этой причине иные произведения на современную тему носят следы торопливости, обстоятельства изображены в них недостаточно ярко и убедительно, характеры выглядят подчас схематичными, плакатными... Закрывать на это глаза — значит делать обидную скидку писателю, разрабатывающему современную тему, обидную — прежде всего, для самого писателя.

И все-таки, все-таки...

Мы все отлично понимаем, что чем ответственной и значительней избранная художником тема, — а современная тема уж куда как ответственна и значительна,— тем более глубоким, художественно достоверным должно быть ее воплощение, и что поверхностный подход к ней может ее лишь дискредитировать.

И все-таки, все-таки...

И все-таки писатель, не только не чужающийся современной темы, но органично тяготеющий к ней, сохраняющий ей постоянную верность, вызывает у меня искреннее уважение, какие бы художественные огрехи ни допускал он в своем творчестве.

Ведь современная тема, современный жизненный тернал обладают повышенной сопротивляемостью. Их еще веет раскаленностью свершающихся процессов движущейся жизни, — и есть риск обжечься. По новка актуальных проблем современности, попытка и ти, вместе со всем народом, их решение,—это уже прямое и непосредственное вмешательство писателя в сегодняшнюю жизнь,— и есть риск ошибиться. Хвала же тем литераторам, которые не боятся ни обжечься, ни ошибиться, а упрямо шагают своим путем, вспарывая лемехами художественного анализа все новые и новые пласты современной действительности.

Что там ни говори, а над темами уже апробированными, над материалом, предположим, историческим, достаточно изученным — в основных его пластах, работать все же легче, чем над современным, еще клокочущим, так сказать, не успокоившимся, не устоявшимся. Одно дело лепить нечто из холодной глины, которую, конечно же, надо сперва подчинить себе, сделать податливой, и другое дело — придавать нужную форму расплавленному металлу, ковать железо, пока оно горячо.

Но если ждать, пока материал остынет, когда само время расставит все по своим местам,— то у нас будут появляться произведения лишь о прошлом. А я, читатель, хочу знать что-то о себе — сегодняшнем, я хочу и вправе требовать, чтобы писатель помог мне разобраться в вопросах, которые властно ставит перед всеми нами наше Сегодня, помог увидеть в современных явлениях и процессах то главное, типическое, что определяет наш путь в грядущее.

Нет слов, в истории нашей страны еще немало и «белых пятен», ждущих вдумчивого и пристрастного исследователя, и таких этапов, событий, фигур, отношение к которым, оценка которых весьма противоречивы,— и к ним нужен новаторский подход. Взять Петра Первого. А. Н. Толстой своим романом внес весомый вклад в анализ и изображение петровской эпохи, а споры вокруг личности царя-реформатора не утихают доньше. По-своему подходит к деяниям русских князей Д. Балашов в своих книгах о сыновьях Александра Невского, Иване Калите и других «собираателях» земли русской — и тут тоже неизбежна полемика. Уж сколько писалось об Улугбеке, а в романе А. Якубова «Сокровища Улугбека» и фигура ученого и правителя, и его окружение освещены по-новому.

То есть сама историческая тема — это не только объект археологических раскопок, но и поле брани, место диспутов.

Следует также учесть и возросший интерес читателя к литературе на историческую тематику, обусловленный не одним лишь любопытством к тайнам жизни «замечательных людей», к закулисной стороне событий прошлого, но и желанием найти в прошлом разрешение сегодняшних сомнений.

И писатели, обращаясь к истории нашей родины, стремятся открыть в прошлом то, что и ныне звучит остро и актуально.

Так, не случайно роман С. Бородина «Дмитрий Донской» увидел свет в 1941 году, — взволнованное и убедительное повествование о битвах прошлого, о непобедимости русского народа формировало патриотическое самосознание советских людей в Великую Отечественную войну.

Не случайно и Айбек в годы войны углубился в историческую тематику, создав романы «Священная кровь», о предреволюционной жизни узбекского народа, и «На-

вой» — совсем уж вроде бы о «старине глубокой». Но именно в грозные годы сражений с врагом наш народ, все наши братские нации нуждались в опоре на свое прошлое, в гордом осмыслении величия того пути, который они прошли, и книги о прошлом помогали утвердиться вере советских людей в свои силы, острее осознать, на какие духовные богатства, накопленные нашими народами, покушался фашизм, еще и еще раз убедиться в неизбежности победы прогрессивных, гуманистических идеалов над силами зла, великой социальной правоты — над теми социально-неправедными формациями и режимами, пусть внешне могучими, посягающими на мировое господство, которые самой историей, самой логикой общественного развития обречены на гибель.

Такой глубоко-современный азербайджанский писатель, как Мехти Гусейн, в годы Великой Отечественной в пьесе «Джаваншир» обратился к прошлому своего народа, к его ратным подвигам во славу родной земли,— и каким же грозным оружием в руках писателя стала эта драма, какое пламя патриотизма зажгла она в сердцах его современников!

Ощутимую пользу принесли в военное лихолетье советским читателям и зрителям и другие исторические произведения, посвященные борьбе наших народов против чужеземных захватчиков.

А возьмем уже упомянутый роман А. Якубова «Сокровища Улугбека», написанный не так давно,— писателя в прошлом интересовало не прошлое само по себе, а те обстоятельства, те проблемы, которые способны задеть нас за живое и сегодня.

И все-таки, все-таки...

В период войны нужны были и фильм «Александр Невский», и пьеса А. Корнейчука «Фронт». И если влияние фильма на тогдашнего зрителя было опосредствованным, преломлялось через исторический пример, то «Фронт» захватывал, будоражил злободневностью своей проблематики, участвовал самым прямым образом в разрешении конфликтов, порожденных конкретной обстановкой на фронте, различиями в стратегическом мышлении наших военачальников, в их отношении к опыту прошлых войн. И, конечно, для создания «Фронта» требовалось больше гражданской смелости, дерзости мысли, оперативности, чем для создания исторического полотна. Но и недаром же пьеса печаталась в те

дни на страницах газеты «Правда» — рупора нашей партии.

Когда «Фронт» ставят сегодня — это интересно: ведь режиссер и актеры стремятся по-своему осмыслить прошлое. Уже прошлое! Но если бы «Фронт» и сочинялся бы сегодня, то это была бы просто другая пьеса, в которую незачем было бы вводить коллизии, споры, ошибки характеров и позиций, в свое время выглядевшие накрашенными до предела. Это был настойчивый заказ Современности, и А. Корнейчук готовно и достойно его выполнил, отозвавшись сердцем художника-гражданина, художника-воина на проблемы важные, болезненные, постановка которых не терпела отлагательства.

Я далек от категоричных сравнений и ассоциаций. И хочу лишь сказать, что писатель, стремящийся к освещению современной ему действительности, со всеми ее проблемами, свершениями, процессами, с ее жарким дыханием, заслуживает всяческой поддержки и поощрения.

И мне отраден пример одного из зачинателей узбекской прозы Айбека, признанного мастера исторического романа, создавшего вместе с тем и одно из лучших произведений о героических трудовых буднях хлопкоробов республики в дни войны — роман «Ветер Золотой долины», написанный по горячим следам событий. И янисколько не удивляюсь тому, что туркменский писатель Берды Кербабаяев, снискавший более чем всесоюзную славу историко-революционной эпопеей «Решающий шаг», счел своим гражданским и художническим долгом работу над романами о современном рабочем классе Туркмении — «Небит-Даг» и «Капля воды — крупица золота».

В свое время я воздал должное роману азербайджанца Мехти Гусейна «Утро», посвященному революционной деятельности Азизбекова и других бакинских комиссаров, но с куда большим удовольствием я писал о его романах «Апшерон» и «Черные скалы», где писатель восславил трудовой героизм нефтяников Баку.

Я высоко ценю роман Ю. Шамшарова «Свет» о том периоде в истории советского Узбекистана, когда проводилась земельно-водная реформа, и переводил эту книгу на русский язык со всем тщанием, на какое способен. Но Юлдаш-ака дорог мне и тем, что он — аксакал очеркового жанра в своей республике. И после «Света» он увлеченно отдался работе над документаль-

ной повестью «Дыхание земли» — о своем земляке и современнике, руководителе нового типа, энтузиасте освоения целинных земель в Центральной Фергане — Ахмаджане Адылове.

И, естественно, ближе всего мне творчество писателей,— так сказать, адептов современной темы. В Узбекистане это Шараф Рашидов, Ибрагим Рахим, Мирмухсин, Аскад Мухтар, Сагдулла Караматов, Борис Пармузин и другие.

Честь и хвала им!

Известно, что в Узбекской ССР наряду с основной сельскохозяйственной культурой, хлопком — «белым золотом», выращивают также пшеницу, рис, кукурузу, джугару, овощи, фрукты, арбузы и дыни... Все это тоже — крупный вклад республики в развитие экономики нашей страны. Однако труженики Узбекистана, заботливо ухаживая за посевами зерновых, бахчевых культур, сознают, что главная, первоочередная их задача — это повышение урожая хлопка, прежде всего — хлопка!

Вот так же, признавая необходимость и плодотворность углубленной разработки исторической и историко-революционной тематики, мы все же считаем, что **главной** темой творчества советских писателей по праву остается сегодняшняя социалистическая действительность.

И недаром в отчетном докладе на XXVI съезде КПСС Л. И. Брежнев, констатировав «успехи творческих работников в создании ярких образов наших современников», приветствуя «свойственные лучшим произведениям гражданский пафос, непримиримость к недостаткам, активное вмешательство искусства в решение проблем, которыми живет наше общество», заявил: «Жить интересами народа, делить с ним радость и горе, утверждать правду жизни, наши гуманистические идеалы, быть активным участником коммунистического строительства — это и есть подлинная народность, подлинная партийность искусства».

И, думается, чем глубже и страстнее воплощает писатель тему современности, тем больше доля его участия в строительстве коммунизма.

Если пристально взглянуть в литературную жизнь наших братских республик, то легко увидеть, что дело с освоением современной темы обстоит не так уж плохо. И все же наша литература не всегда успевает за теми деяниями, свершениями, которыми так богата советская

действительность. События часто обгоняют писателей.

У народа нашего широкая поступь, у пятилеток — «шаги саженьи», темп развития советского общества мощный, бурный, события разворачиваются столь стремительно, что за ними порой просто трудно угнаться. Ты описал явление сегодняшнего дня — глядишь, на завтра его затмили еще более яркие, характерные явления и процессы.

О путях преодоления этой трудности хорошо сказал Шараф Рашидов: «Чтобы книга не отошла в прошлое вместе с событиями, которые в ней отражены, нужно уметь в настоящем видеть будущее. Не сочинять, не придумывать это будущее, а уметь разглядеть его конкретные черты в сегодняшнем дне — вот в чем сила художественной интуиции, вот в чем мудрость художника слова».

Следуя этому совету, писатель и не отступит от правды жизни, которая всегда содержит в себе зерна будущего, и не отстанет от быстротекущего времени.

Для глубокого, яркого и своевременного воплощения современной темы писателю, кроме оперативности, активного вмешательства в жизнь, идейной прозорливости, требуется еще и высокое профессиональное мастерство.

Оперативность и мастерство — как трудно, на первый взгляд, сочетать эти качества! Иные писатели убеждены, что оперативно откликаться на сегодняшние события — значит, неизбежно при этом приносить в жертву художественность. Они хотели бы действовать по узбекской поговорке: «Потерпи, и ты дождешься, когда зеленые плоды станут сладкой халвой». Но события, процессы, явления современности не вызревают, как плоды на дереве, а сменяются одно другим, переходят одно в другое. Тактика выжидания приводит к тому, что вместо сегодняшнего приходится писать о вчерашнем или вообще — сделавшемся историей. Однако и нетерпеливая погоня за актуальной темой, попытки схватить ее «на лету» могут обернуться идейно-художественным срывом. Плохо, когда писатель упускает благодарную возможность отобразить сегодняшний день. Не менее плохо, когда из-под его пера выходит произведение-скороспелка.

Проявить оперативность и вместе с тем создать произведение высокого художественного уровня писатель сможет лишь в том случае, если вложит в это произ-

ведение всю свою душу, если будет трудиться в полную меру своих сил и таланта, с творческой самоотверженностью, не делая себе скидок на современность темы, актуальность решаемых проблем. Иначе он окажется в плену у конъюнктуры, которая ничего общего не имеет с подлинной злободневностью жизненного материала.

Каждому настоящему писателю, обладающему обостренной гражданской совестью, знакомо, наверно, чувство, когда кажется, будто по сравнению с теми, среди кого он живет, о ком пишет, для кого и ради кого работает, сам он сделал слишком мало. Люди совершают подвиги, а он? Лишь восславляет эти подвиги.

Но ведь от самого писателя зависит — превратить свой труд в творческий подвиг. Пожертвовать во имя отображения современности и временем, и всеми накопленными запасами души и профессионального умения.

Призывая советских писателей глубоко, правдиво, мастерски раскрывать современную тему, партия и призывает их к творческому подвигу.

Конечно, как уже говорилось, можно и через десятилетия выпустить в свет книгу о сегодняшних событиях, оглядываясь на них с вышки обретенного за эти годы опыта, неспешно обдумывая то, что происходило когда-то, утешая и оправдывая себя тем, что «большое видится на расстоянии». И читатель, просмаковав такую книгу, с восхищением скажет: какое это было замечательное время!

Но как хочется, чтобы читатель, сегодняшний наш читатель, перевернув последнюю страницу произведения, с удовлетворением подумал: в какое замечательное, интереснейшее, сложное время я живу, какие рядом со мной живут и трудятся чудесные люди!

Я так горячо ратую за то, чтобы писатели оперативно откликнулись на события современности не потому, что потом та или иная тема может устареть. Настоящее реалистическое искусство, отображающее явления и процессы в их развитии, в их истоках и последствиях, в их диалектическом единстве, глубоко проникающее в их сущность, старению не подвластно. Но отложить выполнение задач, связанных с воплощением современной темы, «назавтра», — это все равно, что в жарком сражении опоздать с выстрелом по врагу или надолго задержаться с возведением нового дома, с пуском нового завода, — не лучше ли, если люди порадуются но-

воселью и завод начнет производить нужную стране продукцию сегодня, а не когда-то?

Спешите же, писатель, запечатлеть черты сегодняшнего дня и облик своих современников, не утрачивая при этом художнической зыскательности!

Наше время и наши люди достойны того, чтобы увековечить их на страницах произведений, создаваемых — сегодня же.

СЛОВО О СТАРШЕМ БРАТЕ

До сих пор мне трудно поверить, что Берды Кербабеева уже нет больше с нами, — хотя после его смерти прошло почти что десять лет.

Он скончался вскоре после того, как отметил свое восьмидесятилетие.

Странно о человеке такого возраста говорить, что он умер нелепо. Но в отношении Берды Кербабеева дело обстояло именно так. Нелепая простуда во время пребывания в Казахстане. Жестокое воспаление легких. Как мне потом рассказывали, лечившие его врачи изумлялись: какое могучее у него сердце, как яростно боролось оно с недугом! Недуг оказался сильнее...

Наверно, ему не следовало ехать в Алма-Ату, — в такие-то лета требуется покой. И, наверно, не случись этой поездки с такими роковыми последствиями, он прожил бы еще долго, и написал бы еще много. Но покой был противопоказан его натуре, — он был неутомим, жадно любознателен, всю жизнь ему не сиделось на месте. И когда представлялась возможность отправиться в новое путешествие, он просто не мог такой возможностью не воспользоваться. Пригласили в Алма-Ату — он с радостной готовностью согласился. Это было для него органично. Закономерный порыв!..

Нелепая закономерность...

Я познакомился с Берды Мурадовичем, когда ему было уже около семидесяти лет, но не помню его старым. Величественным — да. Солидным, маститым — да. Но не стариком! Годы, казалось, были не властны над ним.

Доныне я вижу его перед собой, как живого. Высокий, статный, со степенными движениями и жестами. Глуховатая, с акцентом, речь. Поредевшие бело-серебряные волосы, зачесанные назад и чуть на сторону, от-

крывают высокий лоб. Черты лица — добротной, четкой чеканки: их вырезали, выжгли, закрепили ветры и солнце Туркмении. Узкие, с живыми искорками, с лукавой проницательностью глаза под приопущенными припухлыми веками. Вертикальная щеточка усов, под которыми часто пряталась улыбка, то добродушная, то понимающе-проническая.

Я все ждал от него мудрых изречений, настоянных на богатейшем жизненном опыте, воспоминаний о пройденном — нелегком и не гладком — пути, а он с грубоватым юмором рассказывал веселые истории, и редкие морщинки у глаз лучились озорной хитрецей.

А о себе говорить не любил, и трудно было в беседах с ним «добывать» крупшцы сведений о его жизни. Впрочем, он вообще был скуп на слова, ронял их медленно, с расстановкой, и оттого они казались весомыми и значительными. Даже когда он шутил, — а чувством юмора судьба наделила его с полновесной щедростью.

В нем была какая-то значительность, органичность — и в прямой, не по возрасту, твердоте головы, и в манере держаться, и в собственном достоинстве. Часто в себе что-то недосказанное, тайно время разговора с ним, возникало ощущение, что он думает о чем-то своем... В нем была какая-то важная работа мысли, скрытая от окружающих.

С Мурадовичем были знакомы и в Москве, и в Ташкенте. Его творчество, а особенно его проза, уже привлекало его творчество, а особенно его проза, уже привлекало его творчество, а особенно его проза, уже привлекало его творчество. Он, видимо, был знаком с моими выступлениями в периодике, потому что однажды через мою сестру, бортпроводницу, с которой летел в очередное зарубежье, передал мне привет и пригласил меня в гости, в Ашхабад.

Но свел нас и познакомил не его родной край и не мой родной город — Москва, а Ташкент.

С Ташкентом Берды Кербабаев был связан длительными и прочными узами, и даже свое семидесятилетие отпраздновал не в Ашхабаде, а в Ташкенте, где всегда чувствовал себя, как дома.

«Ташкент, Ташкент! — писал он в очерке «Встречи с друзьями», — Город дружбы. Город друзей».

Да, друзей у него в Ташкенте было — не сосчитать. Писатели — в том числе Айбек, Гафур Гулям, Камиль

Яшен. Артисты. Музыканты. Ученые — многие из них помогали ему в поисках архивных материалов, когда он создавал роман-хронику «Чудом рожденный», о славном сыне туркменского народа, революционере-ленинце и государственном деятеле Кайгысызе Атабаеве, работавшем одно время в Ташкенте.

У Берды Кербабаева и во всех наших республиках были добрые знакомые, люди самых различных профессий, — в России, Казахстане, Грузии, Азербайджане, на Украине... Как человек и гражданин он являл собой пример подлинного интернационализма — это сказалоь и на его творчестве.

В очерке «Встречи с друзьями» он вспоминал, как однажды заглянул по своим творческим делам в Ташкент, и узбекские собратья по перу решили свозить его на реку Бозсу. «Я торопливо собрался и вышел на улицу. У подъезда гостиницы стояли мои друзья и с ними — два московских писателя. Мы познакомились, хотя, как оказалось, обоих я хорошо знал: читал их работы, слышал о них».

«Два московских писателя» — это я и Борис Привалов, который, кстати, в свое время перевел детскую юмористическую повесть Берды Кербабаева «Веселые джаббаки».

Мы сидели вместе на берегу Бозсу за вкуснейшим пловом, и Берды Мурадович, оживившись, делился впечатлениями от своего пребывания в Ташкенте еще в двадцатые годы.

Да, тесен мир! Или, как уточнил в своем очерке Берды Кербабаев, «не мир тесен, а бурно, обильно своеобразное творческое «кровообращение» между нашими литературами. Все мы друг с другом так или иначе связаны, не очно, так заочно, недаром же мы называем советскую литературу многонациональной и единой,— конкретные подтверждения этому встречаешь на каждом шагу».

Мир тесен более всего для советских людей: дружат братские нации; естественно, закономерно и постоянно вступают в прямое общение и конкретные их представители. И не случайно за одним дастарханом встретились узбеки, москвичи и туркмен — уже, собственно, знакомые друг с другом.

И все же мне и Берды Мурадовичу надо было оказаться в Ташкенте, чтобы установить, наконец, личные контакты.

Воистину Ташкент — город дружбы!

Эти «личные контакты» переросли у нас в многолетнюю дружбу.

Берды Кербабаев был тогда уже широко известным писателем, человеком, умудренным жизнью. В самой Туркмении к нему обращались не иначе как «Берды-яшули» — Берды-учитель.

Я называл его «Берды-ага» — «старший брат». И в этом был свой символический смысл.

Старший брат... Так часто именуют представители братских литератур русский народ. Старший брат — это и родня, старший в семье, и заботливый наставник, щедро делящийся с младшими накопленным опытом, мудростью, творческим богатством, и образец для подражания.

Но для меня, русского литератора, таким вот наставником, учителем, яшули стал туркменский писатель Берды Мурадович Кербабаев. Берды-ага.

Это был настоящий усерднейший труженик, и у него можно было поучиться неутомимости в работе. В каких только жанрах он не пробовал свои силы! Роман, роман-эпопея, роман-хроника, повесть, рассказ, очерк, поэмы, стихи, пьесы, сценарии, а еще — литература для детей, переводы на туркменский язык таких титанов русской классики, как Лев Толстой, Пушкин, Шолохов и другие. Только за последние годы жизни, несмотря на почтенный, аксакальский возраст, Берды Кербабаев создал романы «Чудом рожденный» и «Капля воды — крупинка золота», повести «Прорванная дамба», «Сын Карли Чокана» и «Солнце с Севера», рассказы и очерки, свидетельствовавшие о его пристальном интересе к важным проблемам современности, пьесу «Кайгысыз Атабаев», за которую был удостоен республиканской премии имени Махтумкули, путевые записки, насыщенные живыми впечатлениями от поездок по родной стране и зарубежным державам. Строчки его писем ко мне звучали как краткие рапорты: «Кайгысыз Атабаева» я закончил. Для Вас у меня есть пока не законченная повесть», «Подстрочник очерка «Встречи с друзьями в Ташкенте» послал», «Закончил ту повесть, о которой я Вам написал когда-то... о драматурге и режиссере Алты Карлиеве», «Пишу роман о Каракумском канале», «Написал новую повесть к столетию Ленина...». А порой того лаконичней: «усиленно работаю», «тружусь».

И в то же время он жил активной жизнью общественного деятеля, долгие годы возглавлял Союз писателей Туркмении, избирался членом ЦК КП Туркменской ССР и депутатом Верховного Совета республики, занимался, как академик, научной — филологической и литературоведческой — работой, строго и заботливо учил и пестовал молодых литераторов, горячо, заинтересованно участвовал в литературных спорах, выступал на страницах газет и журналов с острой, страстной публицистикой, со статьями по животрепещущим вопросам современной литературы. И на все его хватало. Уж сколько — за всю-то жизнь — было пройдено, сделано, создано, но до конца дней своих он был полон творческих планов и замыслов, сохранил душевную молодость, творческую бодрость, его нрав оставался беспокойным, темперамент борцовским, талант свежим, взгляд зорким и сердце пылким.

«Время — поистине сказочный скакун», — писал он, но вместе с тем в одном из своих стихотворений утверждал, что «старости в пути как раз меня и не догнать».

И у него впору было поучиться непреходящему интересу, вкусу к жизни во всех ее проявлениях, и не только неутомимости, но прямо-таки какой-то неугомонности. Он был неустанным путешественником. Его влекли новые впечатления, дороги, встречи; как-то он в шутку признался, что реже всего бывает дома, в Ашхабаде, что в поездках он отдыхает душой, они молодят его, как молодит человека любовь. А еще он любил повторять, что силу обретает идущий, и естественное состояние человека — быть в пути, во всех смыслах этого слова.

И вечно он куда-то торопился: то на юбилей своих собратьев по перу — в Ташкент, в Баку, в Киев, то на конференцию писателей стран Азии и Африки или на конгресс писателей мира, то в еще неведомый, непознанный уголки земли, — попутешествовав с группой по земле сибирской, он привез оттуда очерк о людях этого края, и осваивать, об их грандиозных планах.

В нем билась журналистская жила, активный отклик. Он был другом братских республик, в размах его то и дело встречались «Веймар», «в первых числах ноября вылетел в Москву, а дальше в Прагу», «собираюсь поехать в Болгарию и Румынию»...

Уже на склоне лет Берды-ага побывал в Турции и, вернувшись оттуда, неторопливо рассказывал о своем общении с турецкими прозаиками и драматургами, о посещениях театров в Анкаре, о городах и весях дотеле незнакомой ему страны, чем-то его подивившей, в чем-то разочаровавшей; он пробыл там недолго, а успел увидеть, узнать — многое; взгляд у него был хваткий.

Чаще же всего он наведывался в Москву,— приезжал сюда охотно, с радостью. Москва для него, как он сам писал, была «священным городом», с древними реликвиями, «овеванными легендами и тайнами», но в то же время и «городом Нового, городом Революции».

Лишне, думаю, напоминать, что родную-то Туркмению он изъездил вдоль и поперек, часто встречался со своими читателями, туркменскими труженниками — героями прошлых и задуманных книг, знал по именам многих своих земляков — колхозников, нефтяников, мелнораторов, стронтелей... Труднее всего Берды-ага было застать в его городской, ашхабадской квартире. Он поистине всегда находился в самой гуще жизни, и совершенное, «изнутри», знание туркменской действительности, тесное общение с земляками, непосредственное участие в их делах и заботах было тем могучим родником, который питал его творчество, помогал ему и в главном, и в каждой детали быть глубоко, убедительно правдивым.

Берды Кербабаев торил новые пути и в своем творчестве, ему были хорошо знакомы муки писательского поиска. Если взять его последние повести, особенно «Солнце с Севера», то легко заметить, что обстоятельность бытовых описаний сменилась в них лаконизмом, в тексте стал преобладать насыщенный, колоритный диалог. По-видимому, в этом сказались навыки Берды Кербабаева как сценариста. И работа над переводом его прозы последнего периода была для меня интересна как раз тем, что он каждый раз ставил перед переводчиком все новые художественные и стилистические задачи. И я не без волнения ждал — каким он предстанет в следующем своем произведении.

Берды-ага был очень современен — и в смысле творческих исканий, и по взглядам на сегодняшнюю жизнь, и по отношению к молодежи — требовательному и терпимому, и по резкой непримиримости к пережиткам прошлого, с которыми он молодо воевал в своих про-

изведениях, и по горячему интересу к тем проблемам, которые решала партия, весь советский народ.

— Для меня самого борьба со старыми пережитками, в том числе и с религиозными предрассудками, суевериями, — говорил Берды Кербабаяев в одном из своих интервью, — это не только прямое выступление против них, разоблачение их конкретных носителей, но, прежде всего, утверждение нового в нашей жизни — новых моральных норм, новой роли туркменской женщины, нового духовного мира нашей молодежи. О ней я особенно люблю писать, — это могучая свежая поросль на ниве социалистической действительности, наши девушки и юноши свободны от многих пут, порой еще связывающих их родителей, и в то же время берегают все ценное из национальных традиций своего народа.

До конца дней своих сохранил Берды-ага борцовский темперамент. Революционным жаром веет от его эпопеи «Решающий шаг», от романа «Чудом рожденный». Его последние повести и рассказы свидетельствуют о максималистском неприятии всего, что стоит на нашем пути к коммунистическому будущему. В этих произведениях он беспощадно бичевал косные нравы и обычаи, национальные и религиозные предрассудки. И вместе с тем убедительно показывал, что хоть они и мешают нашему движению вперед, но уже потеряли былую силу, их решительно сметает мощный поток времени. Недаром один из рассказов на эту тему так и назывался: «Песчаной запруде не сдержать потока».

Пылкое сердце бойца билось в его очерках, публицистических выступлениях, литературно-критических статьях. Его творческое кредо можно сформулировать так: воинствующая верность идеям партии, идеям Ленина. «Наша идеология, — утверждал он в статье «Писатель — борец за коммунизм», — это наше оружие в борьбе за счастье человечества, мы обязаны держать его острым».

Перо самого Берды Кербабаяева и было острым, грозным оружием в его руках.

Его заботили судьбы мира. Помню, когда в братской Чехословакии подняли голову ревизионисты-контрреволюционеры, лицемерно призывавшие к «улучшению» социализма, а на деле стремившиеся к реставрации капиталистического строя, Берды-ага принес мне раскаленно-публицистическую статью, содержащую обращение

к чехословацким писателям. Жаль, что это яркое выступление так и не появилось в печати: пока Бердыага готовил его к публикации на русском языке, чехословацкий народ круто и решительно изменил, оздоровил политическую ситуацию в своей стране. А, как известно, злободневный материал подчас может устареть — в мгновение.

В статье этой Бердыага, кстати, упоминал, что его сын был во время Великой Отечественной войны тяжело ранен на чехословацкой земле, борясь в рядах Советской Армии за освобождение Чехословакии от фашистского гнета. Так что он имел и личное право на обращение к чехословацким коллегам, оно продиктовано было огнем и болью сердца.

У Бердыага можно было поучиться и жизнелюбию, жизнестойкости, непреходящей творческой бодрости, оптимистическому восприятию действительности, увлеченности — работой, новыми замыслами, самой жизнью во всем ее разнообразии. В его произведениях, насыщенных сочным бытовым национальным колоритом, чувствовалось упоение борьбой со всем отживающим, враждебным и любовь к краскам, к живым формам окружающего нас мира.

И сам он уже в первую встречу поразил и покориł меня вот этим своим жизнелюбием, вкусом к жизни, своей динамичностью, неуемностью, молодым задором. И в дальнейшем, когда мы виделись с ним, я забывал о его возрасте. Применительно к нему казались уместными не только такие эпитеты, как «мудрый», «многоопытный», но и более звонкие: «творчески бодрый, непоседливый, неутомимый».

За ним трудно было поспеть...

Помню, когда я был у него в гостях под Ашхабадом, на его даче в предгорной местности с поэтичным названием «Фирюза», — он не давал мне ни минуты передышки. С утра «внедрял» в свой газик, сам садился за руль, и мы ехали в Ашхабад, на фабрику, где ткот ковры изумительной красоты, или в горы, или к озеру в пещере, или на его городскую квартиру, где он показывал мне исписанные мелким почерком страницы нового романа, или в пустыню — осматривать историческую крепость, а то и просто искать чал, кислое верблюжье молоко, живительный пенистый напиток, спасающий от невыносимого зноя. Зной лился раскаленной лавой, он изматывал людей, траву, деревья. Я к вече-

ру уставал донельзя, а Берды-ага, потрудившийся и в качестве водителя, выглядел таким же бодрым, как и утром, и посматривал на меня со снисходительной усмешкой: куда, мол, вам тягаться со старой гвардией...

А можно ли забыть его чуткость и доброту? Как дороги моей памяти его скупые слова сочувствия и утешения в трудные минуты моей жизни...

Свое пятидесятилетие я отмечал в Ташкенте, со своими узбекскими друзьями. И горжусь тем, что скромное это торжество почтил своим присутствием Берды Кербабаев, — он специально прилетел в Ташкент из Ашхабада, и меня глубоко тронуло его внимание. Вот такой он и был в жизни: величественный, знавший себе цену — и вместе с тем простой, заботливый. Помню, он накинул мне на плечи роскошный туркменский халат и добродушно усмехнулся: «Ну, теперь вы совсем, как курбаши!». Я отшутился: «Я ведь литературный критик, а это страшнее, чем курбаши». Как святыню, храню я фотографии, где мы сняты вместе: под Ташкентом, в гостях у знаменитого селекционера «цитрусовода» З. Фахрутдинова, потчевавшего нас огромными, как мячи, лимонами в саду Института имени Шредера, с букетами пышных роз в руках, в совхозах Голодной степи...

Берды Кербабаев призывал писательскую молодежь: «Работайте, мои молодые друзья, так, чтобы руки болели, каждую минуту используйте во благо народное!»

Именно так работал Берды-ага.

Приобретая с годами мудрость и бесценный жизненный опыт, он до кончины своей сохранял пылкость и неумолимость души, творческую щедрость и трудолюбие.

И, думается, не только я, но и многие русские писатели, наши собратья из национальных республик, знакомые с Берды-ага и его творчеством, донныне благодарны ему за все эти высокие уроки.

Ко времени нашего знакомства имя Берды Кербабаева было известно не только у нас в стране, но и за ее пределами, и множество его книг вышло в переводах на языки братских советских народов и на иностранные.

А начинал он свой путь в литературе в давние, грозные времена...

Берды Мурадович Кербабаев родился в преддверии нашего века, в 1894 году, в одном из глухих аулов в районе Теджена, в семье бедняка-дейханина.

Что такое Туркмения тех времен? Захолустная, отсталая полуколония, с кочевым укладом жизни, где простой народ находился под тройным гнетом: местных богатеев, баев, алчного мусульманского духовенства и царских чиновников. Уделом простого труженика была беспросветная нужда, темнота, невежество. Если и удавалось кому-нибудь получить хоть какое-то образование, то лишь в религиозной школе, медресе.

Так было и с юным Берды. И, наверно, его ждала бы горькая участь изгоя — выходца из народа, если бы не грянула Октябрьская революция.

Она не только разбудила созидательные способности туркменского народа, но и дала выход творческим способностям талантливых его сыновей, вывела их на широкую дорогу знаний и творчества.

Судьба сделала Берды Кербабаева свидетелем важнейших событий и процессов двух социальных эпох: предреволюционной и послереволюционной.

В сложной обстановке ожесточенной классовой борьбы не так-то просто было сделать правильный выбор. Но Берды Кербабаев был плоть от плоти своего народа, он сопричастно знал его беды, нужды и чаяния и потому встал на сторону Революции. В годы гражданской войны он сотрудничает в политотделе Закаспийского фронта и принимает непосредственное участие в схватках с контрреволюцией; позже его посылают агитатором в аулы, и оружием будущего писателя становится пламенное слово; направленный затем в органы печати, он долгое время занимается редакторской, журналистской деятельностью, существенно обогатившей его жизненный опыт.

Первая его литературная публикация относится к 1923 году, когда в печати появился стихотворный фельетон «Пей еще». Именно в эту пору он формируется как писатель, для которого дороже всего правда жизни.

Он стоял у истоков развития советской туркменской поэзии, по праву считается одним из зачинателей туркменской драматургии и прозы — до революции на его родине этих жанров, по существу, не было.

В газетах, журналах публикуются его сатирические

стихи, поэмы, выходят книги очерков, рассказов, повестей, ставятся первые пьесы.

В этих произведениях Берды Кербабаяев, глубоко благодарный Революции и Советской власти, которые сыграли решающе-благодатную роль в его жизни, от всего сердца славил то новое, что утвердилось на туркменской земле, воспевал братство советских народов, беспощадно срывал маски с врагов новой жизни. С особыми энтузиазмом и страстью ратовал он за раскрепощение туркменской женщины, рабыни косных обычаев, шариата.

Из его поэтических произведений наибольшую популярность у читателя снискали поэмы, в которых Берды Кербабаяев броско рисовал тяжкую долю, подневольный труд туркмен-бедняков до революции, крутые послереволюционные перемены, преобразование родного края и душ человеческих,— это «Девичий мир», «Жертва адата», «Аму-Дарья», «Весна на земле туркменской» (название тут говорит само за себя) и другие.

Мощно прозвучала патриотическая тема в творчестве писателя в годы Великой Отечественной войны, когда он создал пьесы «Братья», о великой и нерушимой дружбе советских наций, «Любовь к Родине», повести, поэмы о подвигах советских воинов. Среди этих произведений выделялась его драма в стихах «Махтумкули», посвященная жизни классика туркменской литературы, гордости народа Туркмении.

С годами в творчестве Берды Кербабаяева все более заметное место стала занимать «большая проза».

И это закономерно: чем весомей жизненный опыт, чем обширней знания, шире кругозор — тем сильнее тяга писателя к крупным, эпическим формам, способным охватить действительность в ее полноте, многообразии и развитии.

Еще до войны Берды Кербабаяев начал, а после войны завершил роман-эпопею «Решающий шаг», за которую был удостоен Государственной премии. Это произведение оставило Берды-ага в ряд выдающихся советских мастеров слова.

* * *

Само название романа — «Решающий шаг» — многозначительно. Писатель выбрал его потому, что в романе был отображен решающий этап в истории турк-

менского народа. Но и сама книга — первое крупное произведение туркменской прозы — явилась своего рода решающим шагом для литературы Советской Туркмении.

Роман этот ярко свидетельствовал об успехах туркменской литературы, о быстром темпе ее развития. В самом деле: к Первому всесоюзному съезду советских писателей в 1934 году проза в Туркмении лишь зарождалась, а уже в сороковых годах появилось эпическое полотно, «Решающий шаг», роман, расцененный и критикой, и литературной общественностью, и широким читателем как значительное явление всей нашей литературы.

Столь уверенному становлению туркменской прозы способствовал общий рост культуры в нашей стране и то, что национальные литературы могли опираться в своем развитии и на собственные прогрессивные традиции, чаще всего традиции устного творчества, и на уже накопленные к тому времени традиции русской советской литературы, литературы социалистического реализма.

Обращение к богатейшему художественному опыту русской классики и русской советской прозы, глубокое знание туркменской действительности, творческое использование достижений родной литературы, своеобразность писательского почерка, уже к тому времени оформившегося, отличающегося зрелой простотой, ясностью и сочностью, — все это и помогло Берды Кербабаяву создать фундаментальное прозаическое полотно.

Роман «Решающий шаг» с полным правом можно назвать эпопеей жизни и борьбы туркменского народа в начале двадцатого века. Писатель сумел «объять» важнейшие исторические события, определившие судьбу Туркмении; четко и убедительно изобразил классовое расслоение в туркменском ауле и городе, непримиримые противоречия между бедняками-дейханами, изнуренными байским гнетом и правительственными поборами, и противостоящим простому люду тесным союзом царских чиновников и местных богатеев и заправил.

В соответствии с правдой жизни в романе выделена проблема, всегда занимавшая в туркменской действительности особое место, — проблема воды. Земля под знойным среднеазиатским солнцем изнывала от жажды, и в борьбе за основной источник плодородия — воду с наибольшей резкостью сталкивались интересы бедноты

и баев, которые обманым путем, ловко спекулируя на родовых предрассудках, «избирали» на должности мирабов — распределителей воды — своих людей и с их помощью обкрадывали народ.

Канун революции. Первая мировая война. Великий Октябрь. Годы войны гражданской.

Туркменская беднота — батраки и мелкие арендаторы. Русские большевики-красногвардейцы. Рабочие, железнодорожники. Купцы, захребетники-баи и их подручные. Представители царской власти, уездные начальники и их преданные помощники — волостные управители, старшины аулов, миробы, толмачи (переводчики), писари. Окружение «ханов» и «беков». Мусульманское духовенство. Меньшевистские и эсеровские прихвостни контрреволюции.

Город. Аулы. Фронт. Штаб контрреволюции. Стан новоявленного восточного «владыки» Эзиз-хана. Советы.

Весь этот пестрый поток людей, событий, конфликтов писатель сумел направить по единому сюжетному руслу.

Учась у таких художников слова, как Горький и Шолохов. Берды Кербабаяев в центр своего многопланового повествования поставил судьбу рядового, типичного представителя туркменского народа, и образ этот, как магнит, притянул к себе, сконцентрировал вокруг себя **главное** из используемого писателем многообразного жизненного материала, композиционно организовал расположенные в радиусе романа, — в основе его части, — коллизии, ситуации, эпизоды.

Когда речь идет о каком-либо многолинейном эпическом произведении, мы порой, запутавшись в основных и второстепенных героях, патетически заявляем: здесь, мол, нет главного козачеткого героя, главный — народ!

В романе «Решающий шаг» четко и выделено пять основных героев это молодой действующий Бабаля. Пусть Артык и есть главным героем романа, можно смело утверждать, что главным героем и действия является и народ. Имя Артык, по сути, показано на широком, массовом фоне народной жизни. Артык сам является одним из представителей своего народа и в этом смысле является носителем и в этом образе и в действиях, противопоставления, сра-

в прошлом темной и полуживотной, в которой еще не доросшей до революции (для большинства людей революции «революция») и даже «революция» есть — стихийно революционная.

Перед вами роман о том, и в то же время о том, миссу, роман одного героя.

Характер этого героя, Артыка, довольно необычен: его путь — это путь горничной, путь, к счастью парвая, путь, который, уходящий, Артыка, такая кровавая борьба вместе с парави и с парави, счастья победы, путь, который, парави, а многие его земляки.

Не сразу Артык находит свое место в сложном социальном строю. Он хорошо знает, был бы он царский чиновник — праг. Но идея, что он, Артык расстался с единственной женой, с женой, урожаем, чуть не потерял любимую, Аша. Но жене ему помогают разобратся русский, большевик, Чернышов и его товарищи. Но Артыку, хотя он и знает многих своих соплеменников, братья по социальному положению, не хватает все-таки той ясности, той действительности, той способности распутывать клубки жизненных, социальных противоречий, которые обладают большевики Чернышов, Тыжденно и друг Артыка — Ашир, долгое время находившийся среди русских рабочих и прошедший там хорошую школу классового революционного самосознания.

К тому же и характер у Артыка не из стандартных: он по молодости горяч, упрям, сердце у него «скачет впереди рассудка», и хотя Артык все же стремится к одному — «освободить туркменский народ от гнета, завоевать дейхам свободу и лучше жизнь», — он идет к своей цели всячески окольными путями.

Еще до революции, в дни, когда в его краю вспыхнуло стихийное восстание против царских властей, отдавших приказ о мобилизации туркмен на тыловые работы, Артык примыкает к националистам Давидхану, действиями которого руководило одно желание: свалить царское чиновничество, самому сесть на шею народу. Но он был не политиком, и на какое-то время его демагогия привела простых дейхам. И Артык, которому не нравилась предменность главаря восстания, терпясь сомнением, все-таки идет за Давидханом.

И в первую пору революции, выйдя из тюрьмы, куда он попал после разгрома восстания, Артык не становится сразу рядом с Чернышовым, Тыжденко и Аширом, а вновь возвращается к Эзиз-хану, поднявшему зеленое «знамя пророка» — знамя махрового национализма и исламизма. В Советах же в это время действуют не только большевики, но и скрытые враги народа, байские приспешники, эсеры. И Артык не в силах правильно и трезво оценить положение, обусловленное сложной расстановкой политических сил; ему кажется, что Чернышов поддерживает таких хамелеонов, как Куллыхан, который до революции служил писарем волостного управления, а затем пробрался в Совет, оставшись исполнителем байской воли. Не разглядев, где белое, а где черное, Артык отшатывается от своих истинных друзей.

Немало проходит времени, немало испытаний выпадает на долю Артыка, пока он прозревает и начинает понимать, кто ему враг, а кто соратник. Сама жизнь, суровый учитель, сняла с его глаз шоры, показала ему подлинное нутро Эзиз-хана, злобного, алчного деспота, меньше всего пекущегося об интересах народа. Сама жизнь раскрыла перед Артыком всю глубину и трагичность его ошибки: в одной из стычек банды Азиз-хана с красногвардейцами Артык чуть не убивает Ашира.

Но не только уроки, преподанные жизнью, не только раздумья над происходящим приводят Артыка к единственно правильным выводам и решениям. За него борются его друзья, верившие в него, видевшие в его «чистых глазах... душу его трудового народа». И, пройдя сквозь горнило жизненных испытаний, внутренней борьбы, Артык принимает протянутые ему друзьями руки и вместе с ними вступает в решающую битву за счастье народа, битву, завершившуюся полной победой революции в Туркестане.

Многим прозаическим произведениям молодых братских литератур, произведениям, где воплощались новые для этих литератур темы, был присущ один общий существенный недостаток: характеры главных положительных героев оказывались статичными, герои триумфально шествовали от первой до последней страницы, как бы окаменев в своей заданности. Вокруг них все менялось, перемены происходили и в их жизни, а они все оставались такими же, какими явили их авторы в самом начале повести или романа.

Берды Кербабаев в «Решающем шаге» счастливо избежал этого просчета. Образцами для него служили лучшие книги русских советских писателей, особенно шолоховский «Тихий Дон», и он показал Артыка в движении, в росте, в преодолении ошибок и заблуждений. Артык финальных глав отличен от того Артыка, с каким мы познакомились в начале повествования, и перемены, происходящие в нем, помогают нам лучше понять смысл и суть развивающихся в романе событий, яснее увидеть закономерность пути героя в революцию, глубже осознать ту благотворную роль, которую играла в жизни народов нашей страны большевистская ленинская партия.

Артык Бабалы — главный герой «Решающего шага», но писатель не позволил ему загородить собою остальных персонажей романа, он подкрепил его образ целой галереей запоминающихся характеров: русских большевиков, Ашира, обездоленного судьбой бедняка Гандыма, байского работника Мавы, смелой и самоотверженной Айны, решительно защищающей свою любовь и свободу, байской наложницы Мехинли, бежавшей от Халназар-бая и ставшей женой Мавы. Рельефными получились и фигуры эксплуататорского и контрреволюционного лагеря: Эзиз-хан и его кровожадный «наставник» Джунаид-хан, правитель Ташауза и Хорезма; уездный начальник полковник Беланович — властный и высокомерный, а в то же время и беззастенчивый взяточник; лукавый ходжа Мамедвели, молитвенно призывающий дейхан «прислушиваться к словам Халназар-бая»; старшина Бабахан, изо всех сил старающийся угодить начальству; болтливый, нескладный мираб Покги Вала — ревностный защитник байских интересов и другие.

Особенно колоритен Халназар-бай, фактический хозяин аула Гоша, из которого родом и Артык. В образе бая характерное и социальное слито в неразрывное целое: это и очень живой человеческий характер, и вместе с тем типический представитель определенной социальной группы, наглый и безжалостный эксплуататор, выжимающий из дейхан последние соки. Отлично написан эпизод «усыновления» Халназаром своего работника Мавы: стараясь спасти сыновей от мобилизации на тыловые работы, Халназар начинает заискивать перед Мавы, усыновляет его, подстраивает все так, что недалекий Мавы готов для него «не только на работы, на

смерть пойти, если нужно». Побуждения Халназара сродни побуждениям других баев, старающихся свалить все тяготы на плечи трудового народа, и возможности у него такие же, а вот действует он по-своему, — он изворотлив и сладкоречив, этот хитрый притвора!

В романе «Решающий шаг» немало примечательного. Остановимся на одной его особенности — многоцветности, полифоничности. Многие главы, словно отличающиеся свежими, сочными красками, выглядят как законченные картины. Но, различные по тональности, по колориту, все вместе они составляют как бы новую картину — большую и яркую, радующую глаз обилием тонов и красок.

Возьмем, например, сцену в чайхане — фигуры бравшихся там кутил, из богачей и местной знати очерчены с такой сатирической резкостью, быт и подробности выписаны так убедительно, что и безоговорочно веришь всему, что видишь и слышишь, и чувствуешь омерзение к этой шайке разбойников.

А вот другая сцена: дележ заимодавцами собранного Артыком. Слово вороны, слетелись к Артыку, и зловещей угрозой звучит для действующих лиц приветствие: «Изобилие вашему урожаю!» Свои «долю», они лезут друг на друга с клятвами. Артыку, оставшемуся без зерна, приходится горько усмехаться. Грустный и злой эпизод кончается так, как печальная сказка: «От вас осталась лишь горсточка зерен, застрявшая в подошвах (самодельной обуви. — Ю.К.), Артык в землю: доля птиц...»

Каждая из этих сцен — и картина.

Большинство подобных сцен носит характер бытового эпизода. Берды Кербабаев многое дает в бытовых эпизодах обрисовку в характерах социальное начало тональностью эпизода, отбором социальное отношение к происшедшему. Это не только достоверное описание, но и идейно-художественную нагрузку.

Правда, подчас в романе чужда бытописательством. Замысел не вытекает от идейно-сюжетной основы, а может быть, сами по себе время и в произведениях дореволюционных писателей. И, значит, это уже

туре стал и выход в свет нового издания «Решающего шага» в дополненном и переработанном виде. Немного у нас примеров такой вот макситребовательности писателей к своим уже завоевавшим популярность произведениям, — на память приходит лишь работа Л. Леонова над «Вором» и Ш. Рашидова над «Победителями».

* * *

Почти одновременно с «Решающим шагом» Берды Кербабаяев готовил к изданию повесть «Айсолтан из страны белого золота», вышедшую в 1949 году.

Объектом художественного исследования стала в ней современная действительность Туркмении.

В повести есть такой пейзаж: «Тяжелые, свисающие с веток полураскрывшиеся коробочки напоминают переполненное молоком вымя верблюдицы. Нежное, шелковистое волокно кое-где выбивается наружу пышной пеной, кое-где чуть белеет между створками, плотное, круглое, как куриное яйцо... А на верхушках кустов еще колышутся желтоватые цветы и тянутся к небу, к благодатному, живительному солнцу».

Это описание, простое, тёплое, пластичное, необычайно характерно для всей повести. В нем чувствуется какая-то бережная любовь к тому, что составляет смысл жизни для тысяч туркменских дейхан, — к хлопку, «белому золоту», одному из главных богатств республики.

И сила повести в том, что писатель задушевно и выразительно передал радость вдохновенного творческого труда хлопкоробов Туркмении, поэзию их надежд и дерзких замыслов.

В то время многие прозаики Средней Азии в своих произведениях отдавали дань цветистой красавости, восточному пышнословью. Берды Кербабаяев не поддавался этому искушению, он стремился к реалистической точности описаний, к пластически завершённому портрету, пейзажу, увиденных во всей их живописной неповторимости и подлинной красоте. Все произведение проникнуто лиризмом, взволнованным отношением писателя к людям, о которых он рассказывает. Это и помогло ему поэтично раскрыть внутренний мир героев повести.

«Ведь каждая коробочка хлопка — это бутон, — говорит комсомолец Бегенч, — когда он распускается — это как улыбка, каждое волоконце хлопка — как сол-

нечный луч, оно веселит душу, светом озаряет мрак, зиму превращает в весну!». Не правда ли, проза здесь звучит, как стихи, это гимн во славу хлопка. И гимн этот в повести не выглядит чужеродным — он органичен для ее общего поэтического строя, для того светлого и радостного мироощущения, каким пронизана повесть.

Одна за другой возникают перед нами яркие картины колхозного труда, нового колхозного быта. Писатель ведет нас на бахчи, к колхозникам, готовящим арбузную патоку, в прохладный сад, на конеферму, в кузницу, где «от горячих углей поднимается зеленоватое-белое пламя, и раскаленное железо цветет в этом пламени волшебным красным цветком». И мы в полной мере ощущаем, какой богатой, насыщенной сделалась к тому времени жизнь туркменских колхозников. Недаром же Айсолтан восклицает ликующе: «Наша земля — как золото!»

Это вовсе не значит, что Айсолтан и ее друзья пребывают в атмосфере покойного благодушия, упиваются своими успехами. Они полны стремления к новым достижениям, их не удовлетворяет то, что уже сделано. Айсолтан, как истинная хозяйка земли, просто не может пройти равнодушно мимо того негативного, что еще мешаает дальнейшему расцвету ее колхоза. Нота торжествующей радости звучит в повести как самая сильная и полновластная, но вместе с тем писатель показывает, какая воля к труду, жажда нового движут героями.

Воспевая радость труда, победную поступь нового, полнокровность жизни, Берды Кербабаяев выступает как певец мира. Он вводит в повесть рассказ матери Айсолтан, Нурсолтан, у которой сын погиб, сражаясь с немецко-фашистскими захватчиками, а мужа искалечили еще в первые годы Советской власти английские империалисты, вторгшиеся в Туркмению. И этот рассказ о прошлом помогает оттенить красоту настоящего, выразительно напоминает о бедствиях, которые несут с собою войны, и в нем слышится страстный призыв — к борьбе за мир. Нурсолтан не только хорошо знает, «какая это лихая беда — война», но и полна активного желания всеми силами воспрепятствовать возникновению новой войны.

Этот важный тематический мотив повести делает ее актуальной и для наших дней.

Мир необходим советским людям для спокойного, — но в то же время и беспокойного! — труда, для счастья, для плодотворных творческих исканий, для того, чтобы уверенно и бестревожно смотреть в будущее, строить будущее. Тема труда и тема мира переплетаются в повести в нерасторжимой слитности. Для Берды Кербабоева эти понятия неотделимы друг от друга: миром оберегается труд, трудом крепится мир. И права Айсолтан, когда на колхозном собрании вносит в предложенную председателем повестку дня — сперва послушать доклад Айсолтан о Всесоюзной конференции сторонников мира, а потом поговорить о хлопке — существенную поправку: «...по-моему, мирная жизнь и наш труд, наш хлопок — это все так связано вместе, что нечего тут делить на две части».

И как тут не вспомнишь, что на первой сессии Всемирного Совета Мира академик А. И. Опарин, говоря о задачах, стоящих перед борцами за мир во всем мире, тут же рассказал и о великой битве за воду, а, значит, и за хлопок, развернувшейся в пустынях Туркменистана.

Центральный эпизод повести — это как раз поездка Айсолтан в Москву, на конференцию. Айсолтан и там чувствует себя полновластной хозяйкой. Хозяйкой судеб мира входит она в Колонный зал Дома Союзов. И когда знаменитый туркменский ученый, сын безграмотного пастуха и в юности сам пастух, заявляет с высокой трибуны: «Мы не просим мира, мы ведем за него борьбу» — он выражает и мысли Айсолтан.

Берды Кербабоеву удалось показать, что борьба за мир неотделима и от упрочения дружбы народов. Нурсолтан, мужа которой спасли от гибели русские солдаты, считает себя должницей русского народа. Признательное уважение к России, ведущей за собой к коммунизму братские нации, испытывает и Айсолтан, и это — уважение к старшему другу, старшему брату в семье, полноправным членом которой является вместе с присутствующими на конференции украинцами, грузинами, латышами, представителями других советских народов и туркменская колхозница Айсолтан.

Многозначительна в этом смысле сцена приезда Айсолтан на подмосковную текстильную фабрику. «Когда в Ашхабаде начали строить текстильную фабрику, — рассказывает писатель, — десятки юношей и девушек из туркменских городов и сел отправились в подмосков-

ный район, на Реутовскую фабрику, учиться новому для них мастерству — и вернулись в родной край инструкторами и мастерами-текстильщиками». А теперь новые подруги Айсолтан требуют от нее: «Давай нам больше твоего белого золота, мы оденем всю нашу великую родину в его золотое сияние!» И, возвратившись в родной колхоз, Айсолтан приступает к выполнению наказа русских ткачих. Ей и ее товарищам приходится вступить в борьбу с безводьем, и Айсолтан напряженно размышляет над проблемой орошения хлопковых полей, мечтает о том времени, когда советские люди научатся управлять солнцем и дождями...

Знаменательно, что главной героиней повести Берды Кербабая сделал простую туркменскую девушку. Женские образы в литературе Туркмении и других советских восточных республик как бы фокусируют в себе те благодатные перемены, какие произошли в жизни народов. Стоит сравнить судьбу Айсолтан с судьбой героини ранней поэмы Берды Кербабая «Девичий мир», — и бросится в глаза, как далеко вперед шагнула за годы Советской власти труженица-туркменка. Айсолтан в повести мыслит широко, по-хозяйски, как государственный деятель, живущий нуждами и интересами не только своего колхоза, но и всей страны, всего мира; этот новый тип туркменской женщины — результат борьбы передовых людей Туркмении, в том числе и самих женщин, с мрачными пережитками старины, с косными обычаями и взглядами; писатель, кстати, с меткой иронией высмеивает остатки этих обычаев, еще сохранившихся в туркменском быту.

Рассказывая о любви Айсолтан и Бегенча, Берды Кербабая шел от традиционного в старовосточной поэзии сюжета дестана — поэмы, где изображались страдания влюбленных, бесплодно старавшихся преодолеть возникавшие перед ними преграды. Но использовал он эту поэтическую традицию лишь для того, чтобы иронически ее обыграть. В первой половине повести ему это удалось: препятствия на пути героев оказываются иллюзорными, ненастоящими. Но в дальнейшем писатель уже с полной серьезностью начал нагромождать любовные недоразумения, воздвигая перед героями искусственные препоны. И то, что Бегенч, умный и пронзительный, ревнует Айсолтан, поверив пустой старушечьей сплетне, — это уже плод авторского произвола.

Надуманность отдельных коллизий связана с общи-

ми композиционными недочетами повести. Подробно и интересно рассказывая о результатах труда колхозников, делая сочные жанровые зарисовки, набрасывая яркие картины быта, в детали которых всматриваешься с вниманием и удовольствием, писатель почти не показал своих героев в одолении трудностей, подменил апофеозными результатами сложный процесс. Так, Айсолтан, увидев, что из-за испортившейся погоды хлопок раскрывается плохо, бежит за советом к секретарю колхозного партбюро. А писатель спешит отвести беду от героини: несмотря ни на что, хлопчатник раскрывается, все заканчивается благополучно — без малейших усилий со стороны самих персонажей повести.

Вот эта облегченность ситуаций вызвала в свое время справедливые нарекания критики и читателей. Но повесть упрекали в идилличности и за преобладание в ней светлых тонов, по сути дела, за поэзию, разлитую по ее страницам, и это уже были беспочвенные упреки. То, что писатель от души воспевал современную ему действительность, достижения советских людей, было как раз сильной стороной повести, воплощением правды жизни.

В «Айсолтан из страны белого золота» Берды Кербабая убедительно выразил глубокий советский патриотизм туркменских тружеников-хлопкоробов, их волю к миру, и не случайно был удостоен за это произведение второй Государственной премии.

* * *

В своей автобиографии, говоря о бурном послевоенном развитии в Туркмении нефтяной промышленности, о долге художников слова перед нефтяниками, Берды Кербабаяев писал: «...я поставил перед собой задачу создать роман о жизни наших нефтяников. Однако, как говорится в народе, «из пустых слов плова не сварить». Сидя у домашнего очага, не изучив досконально дела, которое ты собираешься описать, хорошего, художественно правдивого произведения не сочинишь. И я переехал в Небит-Даг, прожил среди нефтяников два с половиной года».

Да, Берды Кербабаяев, истинно народный писатель, не мог пройти мимо такого отрадного и многозначительного, характерного для туркменской действительности явления, как промышленное возмужание республи-

ки, формирование ее рабочего класса. Не просто собрав, а именно досконально изучив жизненный материал, относящийся к напряженному, подвижническому труду нефтяников Небит-Дага, писатель взволнованно поведал об увиденном, познанном, сопережитом в романе «Небит-Даг», выдержавшем множество переизданий, что само по себе красноречиво свидетельствовало о творческой победе Берды Кербабаева.

«Кочевники, погонщики верблюдов, дети пустыни создали передовую индустрию... вырастили сады, сами пошли в институты за знаниями, основали свою Академию наук,— удовлетворенно констатирует один из героев романа, — давайте чаще удивляться...»

И Берды Кербабаев, не скрывая своего удивления и восхищения, словно говорил своим романом: смотрите, как чудесно преобразился мой край, в прошлом отсталый, подвергавшийся алчному разграблению со стороны местных богатеев, царских сатрапов и иностранных концессиистов, смотрите, какие замечательные выросли у нас люди,— я люблю их, я горжусь ими...

Писатель поэтично передал новизну и своеобразие города нефтяников — Небит-Дага, точно и любовно написал пейзажи, запечатлевшие индустриальный расцвет республики, постарался бережно донести до читателя черты и черточки того нового, что прочно вошло в жизнь его земляков.

Герои книги — это поистине герои нашего времени, люди с новым, творческим отношением к труду, с новыми качествами сознания и характеров.

И любовь героев — Нурджана и Ольги Сафроновой, Тойджана и Айгюль — не та, что прежде: это не любовь украдкой или любовь в рамках обычаев, узаконенная одобрением старших, а открытая, раскованная, вступающая в резкое противоречие с отживающим укладом.

Сдержанно, с проникновенным лиризмом поведал писатель о чувстве Марджан и парторга Амана Атабаева. Искалеченный войной, Аман мучается сознанием своей физической неполноценности, не верит, что его можно полюбить. Но именно его скромность, неиссякаемая требовательность к себе и пленяет ясную сердцем Марджан. Эти же свойства души помогают Аману завоевать прочный авторитет на нефтепромысле. Когда-то он был учителем, партийная работа для него внове, а нефтяное дело тем более, и потому он стремится как можно больше узнать, детальней во всем разобраться.

Меньше всего в нем резонерства, свойственного партийным руководителям в иных произведениях среднеазиатских, и не только среднеазиатских, литератур. Это характер цельный и полнокровный.

Социалистическая новь как бы трансформировала и героев — носителей пережитков прошлого. И если старая Эшебиби — это все же привычная для среднеазиатских литератур фигура болтуни и сплетницы, то образ другой старухи. Мамыш, лишен традиционности. В ее характере причудливо соседствуют противоречивые качества. Она еще пытается командовать сыновьями, сама подыскивает для них жен, в общем, действует так, как того требуют устоявшиеся обычаи. Но вот она встречает Айгюль, «намеченную» в невесты Нурджану, и вместо того, чтобы задать ритуальные вопросы о здоровье родных, интересуется: «Много ли добываете нефти?» Мамыш ратует перед мужем за Айгюль, выдвигая доводы, немыслимые с точки зрения традиционных понятий и представлений: «Работа у них одна, интересы одни, может, и характерами сойдутся». А как трогателен восторг Мамыш, когда она наедине с собой рассуждает о газе, проведенном в их квартиру: «В ноги бы поклониться тем ученым, что нашли газ!». Новое врывается в туркменский быт, и Мамыш принимает это как нечто естественное.

Хороши в романе — и тоже не традиционны — старики: буровые мастера Атабай и Таган Човдуров, — с их рабочей гордостью, тягой к делам трудным и сложным.

Возможно, писателю было сравнительно «проще» вылепить образы представителей старшего поколения потому, что их судьбы складывались у него на глазах. Но убедительны в романе характеры и многих молодых нефтяников: Нурджана, с его поэтическим восприятием мира, порывистой Тойджан, русской девушки Ольги Сафроновой и других.

В стиле романа многоцветно отразилась творческая индивидуальность писателя, тяготеющего к пластичности, к сочной, свежей краске. В образной ткани повествования встречаются и выразительные, полные национального колорита пейзажи, и неожиданные метафоры, продиктованные самой новизной изменившегося туркменского быта: «Погоду уже нельзя было угадать. То вдруг белесым туманом заволакивало весь горизонт, то влажный ветер раздергивал туман, на час небо прояс-

нялось, и снова приходил караван облаков, в их пламенеющих разрывах еще блистали солнечные копыя, потом тучи сбивались, словно мокрая шерсть, и начинал моросить дождь», «Теперь бульдозер теснил вылезшие на асфальт барханы, точно конная милиция толпу у стадиона в час футбольного матча».

Мастерство Берды Кербабаева оттачивалось в работе над воплощением историко-революционной темы. И когда он с увлечением и присущей ему добросовестностью взялся за освоение тематической целины, то, естественно, почувствовал сопротивление нового для него материала. Отсюда — огрехи в повести «Айсолтан из страны белого золота» и в романе «Небит-Даг».

При создании «Небит-Дага» писателю не удалось найти наиболее действенный, соответствующий новизне содержания способ сюжетно организовать произведение. И он обратился к схеме, уже ставшей расхожей в иных романах и повестях на «производственную» тематику.

В литературе, к сожалению, на смену старым, изжившим себя традициям порой приходят новые, уродливые уже при своем зарождении. Такова, например, традиция искусственного построения «производственного» конфликта как сшибки мнений, а не характеров, мироощущений, взглядов на жизнь.

В «Небит-Даге» центральным является столкновение между главным геологом конторы бурения Сулеймановым и начальником конторы Човдуровым-младшим. Сулейманов и его сторонники, а геолога поддерживают почти все герои романа, считают, что можно и нужно продолжать разведку нефти в пустыне, в «труднодоступной местности» Сазаклы. Човдуров же после нескольких грозных аварий на сазаклинских буровых «потерял веру в Сазаклы», он убежден, что разведка там — дело и нерентабельное, и бесперспективное. Это его искреннее убеждение. Энтузиасты сазаклинской разведки оперируют волюнтаристской аргументацией: в Сазаклы, — именно там и нигде более, — бурить надо, так как стране нужна нефть.

Итак, одни верят, другой — нет. По-своему правы «сулеймановцы», но и Човдуров, как утверждает писатель, тоже «по-своему ...прав».

В данном случае сама основа конфликта — зыбкая. Но конфликт заявлен, его надо как-то решать. И вскоре в тексте романа появляется фраза о «шатких позициях Човдурова». И Човдурову, который аттестуется и писа-

телем, и многими героями как «человек честный и мужественный», «неутомимый и напористый», «бескорыстный труженик, во что верит — за то и стоит», — приписываются такие побуждения, которые ставят под сомнение и его честность, и его мужественность. «Ему бы вообще закрыть разведку в пустыне, — безапелляционно заявляет Тойджан. — Трус!» И, действительно, в дальнейшем создается впечатление, что Човдуров против разведки нефти вообще, хотя бурить новые скважины — прямая обязанность его конторы. Почему же он не хочет искать нефть? Из трусости, из ленивого равнодушия ко всему? Но ведь он мужествен, бескорыстен, энергичен, как декларировалось ранее.

На наших глазах меняется суть и качество конфликта, а черты характера героя начинают отрицать друг друга. Должно бы развитие конфликта определяться характером — а писатель укладывает характер в прокрустово ложе конфликта.

И все же, несмотря на очевидные сюжетные просчеты, на отступления от правды характера, роман «Небит-Даг» и донныне волнует новизной содержания, привлекает колоритностью многих образов, мастерски выписанными деталями и подробностями.

Берды Кербабаев «прорубил окно» в важную тему, представил нам героев, каких еще не знала туркменская литература, «открыл» еще не исследованную до него область современной туркменской действительности, и нельзя не быть благодарным писателю за это открытие.

* * *

Заметное место в творчестве Берды Кербабаева занимает жанр повести. Об одной из них, «Айсолтан в стране белого золота», уже говорилось выше.

Я счастлив, что к нашим дружеским контактам с Берды-ага добавились и творческие и мне довелось перевести три его последние повести.

Переводил я их, как говорится, в охотку — они захватили меня и разнообразием своей тематики, и обычной для писателя сочностью колорита — в обрисовке и героев, и окружающей их обстановки, и искрящимся юмором.

В «Сыне Карли Чокана», принадлежащем, как и роман «Чудом рожденный», к историко-биографическому

жанру, писатель поведал о горьком детстве, батрацкой юности и первом сценическом успехе знаменитого туркменского артиста и режиссера, одного из основателей национального театра Алты Карлиева.

Идейное содержание повести «Солнце с Севера» можно определить так: Ленин в судьбе простого туркмена. Это повесть-притча о том, как в отдаленный уездный городок Туркестана пришла Революция, и ее лучи, лучи ленинских идей, обновляюще озарили жизнь неграмотного туркменского паренька, бедняка-горемыки Италмаза, который под воздействием революционных событий и общения с местными рабочими, при поддержке и чуткой опеке старших друзей — большевиков вырастает в лихого командира красного конного отряда.

Родители Италмаза дали это имя своему сыну с отчаяния, и значит оно: «не нужен даже собаке». Почувствовав себя человеком, герой его переименовывает и называет себя Алмазом. Новое имя подходит ему куда больше, чем прежде: характер у юноши твердый и острый, как алмаз. Правда, это натура горячая, увлекающаяся, Алмаз нетерпелив и привык решать дела кулаками. Нелегко приходится с ним его наставникам, большевикам Абдулле Бекирову и Алексею Лукьянову, конторщику и механику мукомольного завода, куда поступает работать и Алмаз. Но при всей своей норовистости юноша обладает душой открытой и честной, классовой зоркостью, а революционные события стихийно вовлекают его в свой водоворот, формируя его сознание, закаляя характер.

А, главное, у него появляется мудрый учитель, к каждому слову которого Алмаз прислушивается с безграничным доверием. Это — Ленин.

С учением Ленина знакомят Алмаза Бекиров и Лукьянов. Юноша воспринимает их рассказы по-своему, сердцем и воображением. Ленин живет в нем, Алмаз мысленно постоянно с ним советуется, каждый раз спрашивает себя: а что бы Ленин сказал, как бы Ленин, великий вождь простого народа, поступил в том или ином случае... Ленин — это совесть Алмаза, это, как говорит Лукьянов, его «обостренное классовое чутье». Алмаз, если вспомнить Маяковского, «себя под Ленина чистит». И это помогает ему в трудные, крутые минуты принимать верные решения, действовать как преданный солдат армии Ленина.

Путь Алмаза-Италмаза — это путь многих тружени-

ков Средней Азии, осиянной солнцем Октября, солнцем, взошедшим с севера.

В повести «Прорванная дамба» писатель ведет прицельный огонь по пережиткам прошлого, еще сохранившимся в сознании иных его современников, по рудиментам старых обычаев. Основным конфликтом произведения, сочетающего подлинно народный усмешливый юмор с публицистическим запалом, служит столкновение председателя райисполкома Мятти Рахманова, человека и работника, в общем-то, неплохого, но еще не выпутавшегося из липкой паутины отмирающих взглядов и ложных представлений, с людьми нового склада, нового, передового образа мыслей.

Кербабаев-прозаик известен широкому читателю, в основном, произведениями крупных форм. Но им написано и немало интересных, колоритных рассказов, новелл, очерков, в которых писатель не только ярко и правдиво отображает черты нового, героического в жизни туркменского народа, но и — как и в повестях — ведет неустанное сражение с косностью мышления, рецидивами феодальных пережитков, с другими еще не изжитыми негативными явлениями. Это рассказы «Старик сердится», «Пастух», «Волчья впадина», «Песчаной запруде не сдержать потока» и т. д.

* * *

К жизни, быту, работе представителей одного из мощных отрядов «великой армии труда» — строителей обратился Берды Кербабаев в своем последнем романе «Капля воды — крупица золота», перевод которого на русский язык он доверил мне. И для меня особенно ценен этот последний знак доверия дорогого мне человека, большого писателя.

Роман этот — о строительстве Каракумского канала, обозначенного в книге как «Большой канал».

Сюжет романа сложно и привольно разветвляется на множество человеческих судеб, действуют в нем водители, бетонщики, экскаваторщики, руководители стройки, но среди них высвеченно выделяются два героя, представляющие два поколения борцов за социалистическое преобразование родной страны, за коммунизм.

Бывает порой так, что писателю трудно расстаться с каким-либо полюбившимся персонажем наиболее

удавшегося произведения. Тогда этот персонаж уверенно переступает порог новой книги этого писателя и продолжает в ней жить, открываться нам новыми гранями своего характера.

В романе «Капля воды — крупница золота» мы встречаемся со старым знакомым — бывшим батраком, а потом повстанцем и красным командиром Артыком Бабалы из «Решающего шага». Теперь он директор каракулеводческого совхоза. Он пользуется всеобщим уважением, его имя овевяно дымкой легенды... Но Артыкага мыслями своими, делами, заботами принадлежит не прошлому, а настоящему. Как жителю туркменского аула, ему хорошо известна цена воды, и потому он кровно заинтересован в создании канала, который должен обеспечить живительной влагой огромные пустынные территории. Артык Бабалы, однако, не только нетерпеливо следит за ходом строительства канала, но и стремится всем, чем можно, что в его силах, помочь этому строительству.

Начальником одного из важных и труднейших участков стройки назначают сына Артыка Бабалы — Бабалы Артыка, инженера-ирригатора, специалиста новой формации. Он как бы принимает из рук отца революционную эстафету, эстафету социалистического создания.

Бабалы Артык — главная фигура в романе. Он участвует, опираясь на твердую и принципиальную позицию, в основных коллизиях и конфликтах, достаточно крупных и острых. «Ведет» он в произведении и очень важный мотив доверия к людям, выступает в роли руководителя-воспитателя. Борясь за каждого человека, пусть даже ненароком оступившегося, он вместе с тем проявляет жесткую нетерпимость к помехам, преграждающим строителям путь к победе, дает бой маловерам, карьеристам, жуликам, которые не прочь погреть руки на великом народном деле.

В одном интервью Берды-ага говорил: «В этом году союзу наших братских республик — пятьдесят лет. С высоты, например, моего возраста не так-то уж и много. Но за это время успели родиться два, даже три новых поколения. Люди, принадлежащие к ним, росли и воспитывались в новых условиях и живут по-новому. О них — мой роман «Капля воды — крупница золота». Ну, и о старых моих друзьях, Артыке Бабалы и его боевых соратниках, с которыми у меня нет сил рас-

статься, как у Артыка — с любимым конем. Ведь и они наши современники. Они среди нас, с нами, они и доньше молоды духом».

По-молодому, на широком дыхании, написан Берды Кербабаевым его последний роман. Произведение это по-настоящему полифонично, лирические проникновенные ноты чередуются в нем с резко сатирическими, романтический пафос то с мягким, то с солоноватым юмором, сцены самоотверженного труда строителей с колоритными бытовыми эпизодами.

Красочно описаны в романе многие национальные обычаи. И, добродушно посмеиваясь над всем вздорным, занесенным в них из мутных глубин прошлого, Берды Кербабаев устами Артыка Бабалы призывает мудрее и бережнее относиться ко всему здоровому в тех традициях, что испытаны временем; он справедливо утверждает, что культура народа проявляется не в том, как люди сидят, спят, пьют, «а в вещах более важных: в нашем отношении к другим людям, к работе, к делу...»

На конкурсе на лучшее произведение художественной прозы о современном рабочем классе роман «Капля воды — крупица золота» был удостоен в 1974 году премии Президиума ВЦСПС и секретариата правления Союза писателей СССР.

* * *

В прозе, поэзии, драматургии Берды Кербабаева, по существу, отражены все этапы, все моменты истории Туркмении, начиная с дореволюционной поры и кончая сегодняшним днем. Он отдал дань и историко-революционной, и историко-биографической, и современной темам. Тематический диапазон его произведений широк, размахист. Я бы назвал его творчество не только многогранным, но всеохватным. Героями у него выступают люди разных национальностей, но прежде всего представители всех слоев туркменского народа: рабочего класса, интеллигенции, колхозного крестьянства. А также партийные руководители, вожаки колхозов и совхозов, студенты, школьники... Ну, а в историко-революционных романах и повестях Берды Кербабаева состав действующих лиц еще более пестр.

Но сам Берды-ага считал, что не написал еще о многом. «Я в долгу перед памятью павших на войне, —

говорил он, — хотелось бы покопаться и в историческом материале. Много у меня накопилось записей, относящихся к зарубежным поездкам. Ждут своего решения многие проблемы искусства, литературы».

Не суждено было ему осуществить эти свои замыслы...

И горько говорить о человеке, которого ты близко знал, в прошедшем времени: создавал, работал, ездил, был удостоен... Горько сознавать, что роман «Капля воды — крупнца золота» — это последнее произведение Берды Кербабаева.

Но я убежден: самим его произведениям суждена долгая жизнь.

К сожалению, классиками, как правило, мы называем писателей, достойных этого высокого определения, лишь тогда, когда их уже нет с нами.

Берды Кербабаева при жизни титуловали «известным», «видным», «признанным» художником слова. О нем писали как о ветеране, аксакале советской прозы, поэзии, драматургии в Туркмении, как об одном из зачинателей, основоположников туркменской советской литературы. За большие заслуги перед советской литературой ему были присвоены звание Героя Социалистического Труда и народного писателя Туркмении.

И только теперь, спустя почти десятилетие после его кончины, мы можем смело и уверенно утверждать: Берды Кербабаев — классик туркменской и вообще многонациональной советской литературы.

Глубоко и искренне то почтение, какое питали и питают к нему и его земляки, и читатели и писатели братских республик.

В заключение мне хотелось бы привести, в моем переводе, стихотворение известного узбекского поэта Ташпулата Хамида «Вожак каравана», посвященное Берды Кербабаеву:

В Каракумах часто так бывает:
Лаву раскаленную лучей
Солице на пустыню проливает.
Каждый луч — как золотой ручей...

Долго отдыхать тут не пристало.
В зной, подобный огненным тискам,
Тяжело, упрямо и устало
Караван шагает по пескам,

Все познавший в жизни, гордый, мудрый,
Опытный вожак его ведет.
Позади осталась свежесть утра,
Впереди колодца свежесть ждет.

Смел вожак. Усталости не зная,
В дали дальние торит он путь.
Не страшна ему ни тьма ночная,
Ни песчаных бурей баламуть.

Пусть шальное солнце жжет все плуце,
Пусть песок — костер, а луч — как бич,—
Знает он: дорогу лишь идущий
Сможет и осилить, и постичь.

Это написано еще при жизни Берды-ага.

Да, он всегда был в пути, шел вперед и вел за собой других.

А творчество его и ныне в пути — к сердцу читателя, в дали грядущих дней.

НЕОТСТУПАЮЩАЯ СТРОКА

Великая Отечественная война 1941—1945 годов не только нашу жизнь разделила на «до войны» и «после войны», но и прозу, поэзию, драматургию — на «довоенную», «военного периода» и «послевоенную», поставив отчетливую веху в развитии советской литературы.

Непосредственное участие в ратном подвиге, а потом и в подвиге созидательном, в восстановлении разрушенного войной народного хозяйства наложило глубокий отпечаток на творчество советских писателей разных поколений. Многие именно в годы войны или сразу после ее победного завершения пришли в литературу. Если говорить о поэтах, то это Сергей Наровчатов, Михаил Луконин, Сергей Орлов, Борис Слуцкий, Александр Межиров, Евгений Елисеев, Евгений Винокуров и другие. У многих же в эти годы окончательно сформировалась творческая манера — тут можно назвать Анатолия Софронова, Михаила Дудина, Алексея Суркова и других.

К этому поколению принадлежит и Николай Грибачев.

Писатели, прошедшие горнило великой патриотиче-

ски-социальной битвы, принесли в литературу на плечах, отяжелевших и окрепших от солдатского бремени, нелегко доставшийся опыт военных лет, а молодые — вообще ранний жизненный опыт.

Глубокое, выстраданное сознание опасности, реальной угрозы, надолго нависшей над нашей Родиной, над завоеваниями первой в мире страны социализма, закалило, укрепило сыновнюю привязанность к ней, озабоченность ее судьбой. Поэзия и проза этого периода обогатились высокими нотами, я бы сказал, возмужавшего патриотизма, обостренной любви к родной земле. Это было естественной реакцией на ту смертельную угрозу советской державе, социалистическому строю, личному счастью и свободе, которую каждый остро ощутил в годы войны.

Невольно вспоминается Маяковский: «Но землю, которую завоевал и полуживую вынянчил... с такую землю пойдешь на жизнь, на труд, на праздник и на смерть».

Как раз революционно-патриотические традиции Маяковского, в творчестве которого в органическом сплаве выступало то, что было «с бойцами или страной» или в сердце поэта, получили дальнейшее развитие в советской литературе военной и послевоенной поры.

В творчестве большинства прозаиков и поэтов гражданственность и лиризм слились воедино. Причем гражданственность и лиризм, как бы это выразиться, с налитыми мышцами, прочно привязанные к земле, начисто отринувшие романтическую риторику, декларативность, отвлеченность.

День Победы положил конец войне с германским фашизмом.

Но, как известно, вскоре после этого международный империализм развязал «холодную войну» против возросших сил социализма, против социалистического лагеря, образовавшегося по окончании Великой Отечественной...

В День Победы замолкли лишь пушки. А «война миров», миров социальных,—жесточайшее, никогда, собственно, не прекращавшееся сражение между полюсно-противоположными политико-социальными системами, меж социализмом и капитализмом,—вступила в новую стадию, когда на первый план выдвинулась бескомпромиссная идеологическая борьба.

В этой борьбе каждый советский писатель должен был четко определить свое место в общем строю, занять свою огневую точку.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что в творчестве писателей-патриотов после войны выкрипело боевое, идейно-наступательное начало, обрело большую зоркость и остроту «идеологическое» зрение.

Их оружием в идеологической борьбе стали глубинное воплощение темы осознанного ратного подвига во славу Родины, героического труда советского народа, патриотический и интернационалистский пафос, воинствующий социалистический гуманизм, активное неприятие всего чуждого духу, смыслу нашего бытия, создание ярких и правдивых образов советских воинов — самоотверженных защитников социалистической Отчизны и советских тружеников — творцов нового общества, верность идеям ленинизма, партийности и народности в литературе.

Плеяду писателей-воинов, преданных солдат партии и народа, невозможно представить себе без Николая Грибачева.

Он раз и навсегда выбрал свое место на переднем крае борьбы:

Я, как вечный солдат в дороге,
В полной форме встречаю утро
И, пока душа не остыла,
Не сплыла на покой по мраку,
Ради жизни — на силу сила! —

Поднимаюсь

рывком

в атаку!

• • •

Подчас в статьях, посвященных творчеству того или иного писателя, приводятся разъяснения самих писателей: о чем, зачем и во имя чего они писали и пишут. И возникает ощущение, что авторы таких статей словно бы не верят в силу, искренность, красноречивость произведений, созданных этими писателями.

Думается, настоящий художник слова не нуждается в подобных «авторазъяснениях». За него говорит само его творчество.

Убедительное подтверждение этому — творческая практика Николая Грибачева.

Естественно, что его «авторский голос» наиболее отчетливо слышится со страниц произведений публицистического характера: это ведь форма прямого разговора с читателем.

Но он и в своих стихах не прячется за спину так называемого лирического героя, не рядится в чужие одежды: если уж стихи написаны от первого лица, то это — мысли, чувства, убеждения самого Николая Грибачева. И это вовсе не пресловутое «самовыражение»: просто поэт открыто, на пределе искренности, когда чувство — как оголенный провод под током, говорит с читателем о том, что его, Н. Грибачева, волнует, что кажется ему значительным для себя и для других.

Он сам так когда-то писал о «лирическом герое»: «Из многих чувств, мыслей, поступков поэт выбирает и вкладывает в стихи только общественно важное, только такие личные черты (здесь и далее разрядка моя.— Ю. К.), которые делают его духовным «героем нашего времени».

Н. Грибачева видишь даже в его пейзажных, сюжетных эпических стихотворениях, в поэмах, в рассказах. Видишь — что ему дорого, а что враждебно, кого он любит и кого ненавидит, что принимает умом и сердцем и что решительно отвергает.

Он ничего не утаивает от читателя: грустно — так не бодрится, а откровенно признает, что ему грустно; а возмутит что-нибудь — так взорвется, не замедлит дать публицистический залп по противнику или выскажется в стихах с яростью и жестковатой прямоотой. И пусть жестковатый, главное — что с прямоотой!

В его поэзии, прозе, — я уж не говорю о путевых дневниках, — много личного, автобиографического. Конкретные приметы, нашедшие отражение в его произведениях, дают нам возможность увидеть, где он родился, как рос, работал. Каждый новый цикл его стихов, каждый новый рассказ — это этап его биографии.

И в то же время все автобиографическое органично сочетается с биографией страны, потому что Н. Грибачев всегда жил и живет одной жизнью, одними мыслями и чувствами, заботами, тревогами и чаяниями со всем советским народом. Главное, насущное в жизни,

истории родной страны — это главное, насущное и лично для Н. Грибачева.

«Поэт — выразитель своего времени, летописец эпохи... — писал Н. Грибачев.—Когда я думаю о своем творческом пути, то вспоминаю этапы жизни всего нашего народа. Я никогда не отделял свою жизнь от жизни всей нашей страны и даже не представляю, как можно это сделать».

А в одном из своих выступлений он сказал, что в наше время, когда фронт идеологической борьбы проходит по сердцам читателей и материкам, писателя касается все, и духовно жить на узком плацдарме — невозможно.

Бывают люди с непроницаемыми лицами. А есть лица, по которым легко прочесть, о чем думает, что чувствует, чем взволнован человек. Вот такое открытое творческое лицо у Николая Грибачева.

И он имеет право на подобную распахнутость сердца, обнаженность мыслей и чувств, ибо вполне может, как бы это сказать, «положить» на себя, на свои мысли и чувства. Ведь то, с чем он обращается к читателю, действительно важно, крупно, значимо.

* * *

Удивительно прям творческий и жизненный путь Николая Грибачева.

Были в его творчестве частные неудачи, качественные срывы, выходили из-под его пера стихи «газетные» (в плохом смысле этого слова) и подражательные, рассказы «зарисовочного» характера... Но о писателе судят по его лучшим, наиболее типичным для него произведениям, а они у Н. Грибачева, если говорить об их художественной форме, ярки и самобытны. Идеиная же позиция писателя всегда оставалась и до сих пор остается предельно последовательной и твердой. Ни при каких обстоятельствах он не шел ни на какие компромиссы с собственной совестью и приманчивой «конъюнктурой», не шараялся из одной крайности в другую, не заигрывал в спекулятивных целях с чуждыми нашему народу, всем традициям нашей литературы идеологическими, литературными течениями, подобными мутным ручейкам, которые мият себя притоками бурной реки, ни на шаг не отступал от принципов высокой идейности, партийности и народности в искусстве.

А если и ошибался, то находил в себе мужество честно признать и немедленно исправить ошибку. Мне помнится полемика вокруг его туманного по идее стихотворения «Спор». Н. Грибачев прислушался к критике, перечеркнул — для себя — это стихотворение и не включил его ни в один из последующих сборников.

Вместе с тем он неколебимо принципиален в отстаивании того, что для него дорого, в чем он считает себя правым. Готовя к выпуску в свет свое второе Собрание сочинений, Н. Грибачев многие — большей частью, поэтические — произведения подверг доработке, но не стал, в угоду конъюнктурным соображениям, отрешиваться от стихов и «переделывать» поэмы, в которых содержалась его точка зрения на иные события прошедших лет, не стал ничего ни опорочивать, ни приукрашивать, ни менять, оставшись в старых своих произведениях таким, каким он был тогда, в годы их создания, то есть — самим собой.

И я целиком присоединяюсь к высказыванию поэта Юрия Панкратова, относящемуся к сборнику Н. Грибачева «И ветер с четырех сторон...»: «Главное ощущение от новой книги поэта — это верность... самому себе. Да, это он, Грибачев, все такой же ироничный, убежденный, страстный и, добавлю, лиричный. Цельность, постоянство характера, верность строю своей поэтической речи — может быть, самое ценное качество творчества... Трудно представить без этой цельности настоящего поэта. Именно такой неколебимой верностью отличается творческий путь Николая Грибачева. И в новой книге его голос, резкий, сильный и прямой, нигде не сбивается на фальцет, не изменяет своему тембру, силе, высоте, проникновенности».

Твердость позиции, верность самому себе, последовательность... Проще всего сказать, что это, мол, присуще не одному Н. Грибачеву, а всем советским писателям — все они стояли и стоят на твердых партийных позициях. Да, это верно по отношению к подавляющему большинству наших писателей. Но ведь иные, хоть одной ногой, а с позиций этих соскальзывали, пытались нащупать более удобную «опору». Хотя партийные позиции — это не узкая жердочка, с которой легко сорваться.

Что греха таить, отдельные неустойчивые литераторы в поисках дешевой популярности у нашего доможителя обывателя и у буржуазного «демократиче-

ского» Запада угодливо поставляли нашим идейным противникам политическую и литературную «клубничку», поигрывали, пользуясь добротой и терпимостью нашего народа, в этакую литературную «фронду», — опять-таки на радость (и на руку) нашим заклятым недоброжелателям.

Бывало и так, что большие наши писатели, — допускаю, что из самых благих побуждений и уж во всяком случае без злого умысла, — перебарщивали с критикой негативных сторон нашей действительности, сбиваясь в своих произведениях на некоторую, скажем, двусмысленность, — и на Западе незамедлительно за это ухватывались. Совсем недавно в своих воспоминаниях о встречах с М. Булгаковым Сергей Ермолинский привел его слова, сказанные И. Ильфу, вернушемуся из поездки в Америку: «Послушайте, что там за гадости про меня пишут?.. Эх, эх, вы заметили, они обращают внимание лишь на тех писателей, кто у нас хоть чуточку проштрафился? Мерзкая манера, вы не находите?» Манера, что и говорить, мерзкая, но закономерная, обусловленная всей сущностью западно-буржуазной идеологии, антисоветской пропаганды, патологической социальной ненавистью к нашему строю, к нашей системе. Сам Н. Грибачев писал, что «оценки нашей поэзии на Западе делают не по эстетике, а по политике, так что за активные гражданские стихи пряников не дают».

В свое время один из критиков, поднимая на щит новую поэму большого советского писателя, высказал небезосновательное предположение, что «на Западе в известных кругах его поэму пытаются принять на вооружение всякого рода радетели «правды-матки» и «свободы», «борцы» против советского «тоталитаризма». Да что там говорить «вероятно»! Уже в первых информационных откликах некоторых буржуазных газет подобная спекулятивная тенденция чувствуется».

Как впоследствии выяснилось, гипотетическая «попытка» стала горькой реальностью — горькой и для поэта, и для его почитателей. И, значит, его поэма была в нашей литературе шагом не вперед, а в сторону.

Я не хочу противопоставлять этого поэта другим советским писателям, он более чем достойный член нашей могучей литературной семьи. Но вместе с тем я никак не могу себе представить, чтобы пресловутые «известные круги» отважились спекулировать на творчестве Н. Грибачева, а также М. Шолохова, Л. Лео-

нова, А. Софронова, В. Кочетова и многих других. Н. Грибачев не дает ни малейшего повода для подобных спекуляций у него нет ни строчки, за которую Запад мог бы предложить ему «пряник». Нашим идеологическим противникам остается только кривиться, читая его произведения: с них не снимешь нужную им «пенку».

И мне хотелось бы процитировать несколько строф из «Раздумий» поэта Александра Николаева, перекликающихся с моими мыслями:

Не нами сказано когда-то,
но мы охотно повторим:
перв сильнее автомата,
когда талант владеет им.
А некто в схватке,
в диалоге
вдруг оказался слабоват,
на фронте двух идеологий
он уронил свой автомат.
Но, ставший притчей во языцех,
он о себе высоко мнит,
поскольку где-то в заграничах
залезть пытается на шит.
Чем он особым отличился,
что и у нас порой твердят:
— Ах, это тот,
что оступился
и уронил свой автомат?
А кто ничем не поступился,
не уронил свой автомат,
не отступил, не оступился,
о тех порой не говорят.

Николай Грибачев — из тех, кто не роняет, а крепко, наизготовку держит свой автомат, кто не поступается ни своим идейным кредо, ни гражданской честью, ни творческой совестью. Он не только ни разу не свернул в сторону от генеральной магистрали советского искусства, но в борьбе с чуждой нам идеологией, чуждыми веяниями всегда был в первых рядах атакующих. И на плацдарме теоретических споров и утверждений, и в творческой практике, свободной от всякой недоговоренности и двусмысленности.

Все творчество Николая Грибачева пронизано пар-

тийностью и народностью, дышит борцовской страстью, опирается на четкие социальные категории, непримиримо ко всему, что вредно, враждебно советскому народу.

Это поэт-гражданин — в самом высоком, некрасовском смысле этого слова.

Он и не мыслит иной миссию настоящего художника: «Литератор, творчество которого находится вне сферы ищущего разума, вне сферы идеологии, — явление столь же противоестественное, как сухая вода или мокрый огонь. Прежде чем стать поэтом, надлежит стать человеком. Личностью. Гражданином».

Так пишет Н. Грибачев в одной из своих статей. То же самое он провозглашает и в стихах последнего времени:

Шепчет мне из глубин
Взрывной накаленный век,—
Где кончился гражданин,
Там кончился человек!

А вот передо мной ранняя поэма «Видлица» (1937 г.), темпераментная, напряженная, — о немеркнущем подвиге коммунистов-пограничников, которые в годы гражданской войны ценой своих жизней сорвали авантюру белофиннов, задумавших оккупировать часть Карелии. Она послужила как бы истоком той героической темы, которую Н. Грибачев многогранно, по восходящей, развил в последующих произведениях.

Сколько лет ему было, когда он написал «Видлицу»? Пожалуй, меньше, чем иным нынешним «молодым», расточающим всеядные восторги перед всем «западным», питающим пристрастие к стряпне «остреньких» литературных блюд, с готовностью принятых, например, печальной славы «Метрополем», ухмыляющимся при словах «героизм», «подвиг»... Мы нередко делаем им скидку на возраст: дескать, молодо-зелено, кто в их возрасте не ошибался, не совершал рискованных зигзагов в литературе?

Как это — кто? Не ошибались писатели, по-настоящему преданные Родине, партии, советскому народу. Николай Грибачев — типичный представитель этой мощной когорты: для него такие понятия, как «коммунизм», «советская Отчизна», «партия», всегда были святыми; он страстно выражал и выражает в своей

прозе, публицистике, поэзии неколебимую верность делу строительства коммунизма, немеркнущим идеалам, во имя которых трудятся и сражаются советские люди.

Я твой солдат, твоих приказов жду.
Веди меня, Советская Россия,
На труд,
 на смерть,
 на подвиг —
 я иду!

Это цитата из давних стихов. А вот из более поздних:

И чем глубже делались познавья,
Чем длинней пути день ото дня,
Тем дороже ленинское знамя
И священной было для меня.
Потому клянусь и присягаю
Знамени надежды и борьбы,
Ибо без него не постигаю,
Ни всеобщей, ни своей судьбы.

И еще:

И потому, в каком ни есть краю,
Своею ли иду, чужой ли далью,—
Приветствую,
 люблю,
 пою и утверждаю
Под красным флагом
 Родину свою!

Завидная творчески-идейная последовательность!

Путь Н. Грибачева прямой — и ему незачем было менять свою точку зрения на то или иное событие, явление, историческую вежу, не от чего было отречься в прошлом, нечего было вычеркивать в своем творчестве.

В одной из своих статей он дал горячую отповедь тем, кто, ударившись в панику после разоблачения партией культа личности, начал мазать черной краской прошлое нашего народа и тем возводил на него чудовищный поклеп.

Н. Грибачев всегда — в прошлом и настоящем —

полон живой веры в партию, в советский народ, в прогресс, в коммунистические идеалы, это-то и сделало его творчество последовательно партийным.

Конечно же, подлинная партийность заключается отнюдь не в том, чтобы на каждом шагу клясться именем партии. Стоять на позициях партийности — значит, служить в большом и в малом интересам, целям партии. А ее цели и интересы — это цели и интересы народа. Потому мы и ставим рядом понятия: «партийность и народность».

Боевой характер творчества Н. Грибачева подчеркивают все, кто писал о нем.

В. Ильин так заканчивает свою книгу о Н. Грибачеве: «Писатель-боец. Так зачастую называют Н. Грибачева. Да, он боец, но из числа тех, кто не засиживается в обороне. Вести позиционный бой не в его характере. Он всегда в атаке, всегда в наступлении».

Н. Грибачев утверждает жизнь как борение, битву, атаку. Писатель и тишина, покой — чужие. Так — «Чужие», — и называется стихотворение, в котором Н. Грибачев как бы формулирует главное в своей жизни:

Недосып. Работа. Драка. Бой.
Страсть. Залюбован. Усталость.
Что ж мне делать, тишина, с тобой,
Если ты не мне предназначалась.

Он сам говорит о своей «драчливости», и в ответ на упреки в «прямолинейности и бестактности» прямолинейно и страстно заявляет:

«Пока на свете — в интересах света —
Есть честь солдата и перо поэта,
Пусть сукнины сыны возмездья ждут!»

Уже по этим строкам можно судить о прямой, открытой натуре писателя-бойца.

Открытость, откровенность высказывания весьма показательны для творчества Н. Грибачева. Одно из его программных стихотворений носит заголовок: «Откровенно говоря». Можно сказать, что все творчество Н. Грибачева — это откровенный разговор с читателем. То, чем писатель делится с нами, — глубоко продумано и прочувствовано. И потому он вправе сказать:

«Мне по карману роскошь — жить открыто,
Открыто трусость презирать и лезть».

И добавим — открыто любить, открыто ненавидеть.

Для Н. Грибачева характерна также конкретность целей, по которым он наносит удары. О нем не скажешь, что он выступает против отвлеченного зла, защищает отвлеченное добро. Его не привлекает и бой — ради боя. С иронией пишет он о «буйном вихоре», который не способен «ни ветряк вертеть, ни двигать парус, ни упрочить планера полет», а «просто все, что под руку попало, поершит, потреплет и помрет». В другом же стихотворении он категорично заявляет: «тот дурак, кто без причины ищет драк».

Не устраивает писателя и «условный» противник:

«И пусть, когда хотят, другие
Бьют по условному врагу,
А я припасы дорогие
Для настоящих берегу».

Н. Грибачев всегда за что-то конкретное и против чего-то конкретного.

Цели его — социально-конкретны. Социально-конкретны и побуждения.

Писателем, как уже говорилось, движет сыновья любовь к Советской Родине, к советским людям — согражданам и землякам, честным труженикам, созидателям нового, разумного и справедливого общества, мечта о мире на земле: «если бы разоружить земной шар без остатка, какая наступила бы великая эпоха творчества и процветания!» Им движет чувство интернационализма, социальной солидарности с грудящимися других стран.

Советской литературе, литературе социалистического реализма, свойственны доброта и гуманность. И Н. Грибачев, по существу, писатель большой доброты, какой-то даже нежности к человеку, к окружающей нас природе. Вот он увидел девочку, курносую и загорелую, «пасущую» пчел, и такая она трогательная, что «ходишь потом весь день и хочется что-нибудь доброе сделать, полезное, что-нибудь душевное говорить людям» («Пчелиная пастушка»). А в рассказах «Белый ангел в поле» и «Здравствуй, комбат!» писатель, изображая историческое Сталинградское сражение, состра-

дает итальянским солдатам, нарвавшимся на похмелье в чужом пиру, да и герои его, советские воины, жалуют простых итальянцев: «...эти сами не понимают, чего их сюда черт занес». В «Белом ангеле...» война вообще дана глазами итальянцев, и писатель сопереживающе рисует их чувства и настроения, мытарства и муки, их трагедию...

Но именно добротой, любовью к людям и порождены «драчливость» писателя, его бескомпромиссность, активность в борьбе против всего античеловеческого.

«Я — гуманист, но с бомбой против бомбы!» — заявляет Н. Грибачев в стихотворении «Голосу Америки».

Его гуманизм, как у всей советской литературы, — воинствующий. «Гуманизм, который не борется, умирает, — отвечает Н. Грибачев своим читателям. — Гуманизм, который не защищается, становится пищей реакционных и фашистских крокодилов».

Многие стихи, статьи, рассказы Н. Грибачева полны тревоги за будущее Родины, за будущее человечества, над которым нависла угроза новой войны. А войну Н. Грибачев, ветеран войны, — ненавидит. «Война — дело жестокое», — пишет он в рассказе «Здравствуй, комбат!». И нелепая смерть человека на войне — это горько и страшно. С большой впечатляющей силой рассказывает писатель о гибели итальянского солдата, о зверином стоне в ночной тьме: «казалось, что это уже стонет не человек, брошенный всеми, а сама земля, израненная, изрытая, расколоченная за лето минами и снарядами, освистанная пулями и обвита бомбами — темная, мокрая, голая, сиротливая земля войны, жалуясь на неразумие людей, которых она сама породила» («Около полуночи»). Грустная мысль приходит рассказчику («Здравствуй, сержант!»), вспоминающему о другом погибшем, своем друге, комбате: «неужели и внуки твои, комбат, будут еще носить военную форму?..»

И всем строем своих произведений писатель отвечает: нет!.. Но за мир в мире — надо бороться. «Мир прекрасен», — и надо дорожить им, и беречь его («Затем»). И нельзя складывать оружие, пока нет на земле тишины, в образе которой символизируется для писателя мир, пока «по горизонту бродят грозы», и может тронуть «кнопку офицер, и где-то на меня нацелится ракета», пока «в мире снова возникает тень штурмовика», возрождается опасность фашизма, и «еще добычу ищут волчьи стаи, еще стрельба приносит барыши», и

«во Вьетнаме под американскими пулями и бомбами истекают кровью юноши и девушки, женщины, дети, старики».

«Таков наш мир — он в драках весь,
В его любовь, дерзання, сны
Впилась жестокая болезнь —
Предопасение войны.

И нам стоять настороже,
В своем полку идти, пока
На новом где-то рубеже
Не поцветлеют облака!»

Но поскольку облака еще не поцветели, — писатель во сне и наяву ощущает «дымный ворс шинели».

Творчество Н. Грибачева проникнуто пафосом утверждения.

Его радует благородная миссия нашего народа: «Мы стали действием поэмы, что революцией зовут!» Он утверждает коммунизм — как высшую цель человечества. Но «в коммунизм, несмотря на стремительность темпов движения, мы еще не пришли, и есть немало хлопочущих, чтобы мы туда и не попали...» И хотя «все мы любим добро в людях и для людей», однако, «если поэзия в таком мире, каким является современный мир со всеми его противоречиями, будет воспевать только добро и призывать к добру, не открывая людям все формы зла и не призывая к яростной борьбе с ним, — она не будет не только революционной, но не будет и просто гуманной поэзией».

Вот почему сам Н. Грибачев так непримирим к злу — во всех его конкретных формах, злу «вовне» и внутри нашей страны.

Вот почему он и призывает вести страстную борьбу, и ведет ее — «против старого, отжившего», «против мечтан, циников», против «мнившего мирка», который еще пыжится «кое-где у старой хаты... смущает помыслы и души», против духовных «стиляг», нытиков, маловеров и ренегатов, стяжателей и равнодушных, рыцарей принципа «моя хата с краю», против таких «типов», воплощающих социально опасные явления или просто путающихся у нас под ногами, как кляузник и брюзга Пузичкин («Пузырьки»), как Макар из Мыленки, «король соленого огурца», на которого насту-

пает новая, с достатком, действительность, или как заедающая чужую жизнь «кондовая» старуха из «Ведьмы», к которой не знаешь, как и подступиться, — в общем, против всей той «пены» (так называется один из рассказов), которая выскикивает еще на «могуче несущемся потоке» нашей жизни.

Меньше всего Н. Грибачева можно упрекнуть в бесстрастности, объективизме. Его симпатии и антипатии, отношение к изображаемому всегда четки и определены, оценки — категоричны и недвусмысленны.

«Изображать конфликт, не принимая сторону одного из борющихся,— писал Н. Грибачев в одной из статей,— значит, сползть на позиции натурализма и объективизма».

Сам он партийно пристрастен и тенденциозен, и часто — открыто полемичен. Он охотно вступает в спор со своими противниками, и голос его звучит то гневно, то презрительно, то с издевкой. Внутренняя полемичность сквозит и в его стихах, поэмах, рассказах.

И опять-таки, это темперамент — социально направленный. В своем боевом задоре, полемическом запале писатель опирается на четкие социальные категории.

Даже в его ранних поэмах ощущались социальная зоркость, партийная пристрастность в изображении классовой борьбы в деревне.

Он мог, в стихах о загранице, нарисовать южный пейзаж, с томной песней и влюбленной парочкой, а завершал его — ударной социальной концовкой:

«А на граните холодном,
Свесившись рядом со мной,
Молча плюет безработный
В море голодной слюной».

Позднее наши успехи в космосе Н. Грибачев объяснял с классовой точки зрения: они стали возможны потому, «что социализм расковал безграничные и разносторонние силы народа и окрылил их высокой гуманной целью».

После своих зарубежных путешествий Н. Грибачев опубликовал путевые записки, дневники — и в них сохранились пристрастные впечатления, с крепкой социально-политической закваской.

Б. Привалов, много писавший о Н. Грибачеве, в его

поэзии выделял «темперамент бойца, ярко выраженную тенденциозность, высокую идейность».

Разумеется, нельзя — и неправильно — сводить все в творчестве Н. Грибачева к боевитости, «борцовству». Его проза, например, внешне спокойна, часто насыщена лиризмом. Уже в стихотворном цикле «Раздумья» поэзия Н. Грибачева углубляется до философского осмысления пройденного жизненного пути, вообще человеческого бытия. И в последних стихах атаки бойца перемежаются с сосредоточенными размышлениями ветерана. В них меньше публицистического накала, зато прибавилось мягкости, прозрачной глубины. Немало у него стихотворений, где он выступает «лириком по складу своей души».

Надо сказать, сам он склонен поиронизировать над теми, кто видит в нем только бойца. Лично я в своих статьях о творчестве Н. Грибачева не избежал этой крайности и однобокости, и одну из своих книг Николай Матвеевич подарил мне с ядовитым автографом: «Юрию Карасеву — навечно одевшему меня в шинель бойца и вручившему нержавеющий штык». И его можно понять: писателю ведь обидно, когда его творчество подгоняют к заданной схеме, не замечая всего богатства красок его палитры.

Но при всей неоднозначности прозы и поэзии Н. Грибачева в них все-таки налицо идейная доминанта, позволяющая говорить о нем как о писателе борцовского темперамента. Ведь даже его спокойные размышления — это размышления о самом важном в нашей жизни, активное проникновение вглубь явлений, событий, процессов, характеров, души нашего современника. И не случайно авторы статей о Н. Грибачеве, публиковавшихся и давно, и в недавнее время, в самих заголовках выделяют активность, наступательность его прозы, поэзии, публицистики, литературной критики: «Прицельный огонь», «Честь солдата — перо поэта», «Перо бойца», «Художник переднего края», «Всегда в строю», «Мобилизованный и призванный», «Верность идеалу», «Бойцовская статья таланта», «Разведка боем и разведка чувством», «Поэт-боец», «Родины солдат», «Я твой солдат, Советская Россия!», «Устремленность в будущее», «Писатель-боец» и т. д.

Даже в дружеской эпиграмме на Н. Грибачева С. Смирнов подчеркнул: «Боец, глобальный публицист...»

Мне не раз доводилось бывать с Николаем Матвеевичем в Ташкенте, где он всегда желанный гость, — так вот, даже участвуя в дружеских застольях, он проносил тосты неизменно боевитые.

Для него самого слово «борец» — критерий истинного художника; так, говоря о различных позициях писателей Запада, он уважительно констатирует: «И, наконец, есть на Западе прогрессивные писатели, борцы в истинном значении слова».

В «Стрелке секундомера», одном из последних, по времени, поэтических сборников Н. Грибачева, мы найдем строфы, полные молодой задиристости:

В какой еще мне жить законности?
Выкидывая белый флаг,
Клониться в страхе и покорности
Под всякий вскинутый кулак?

Ну, нет! Меня учила улица,
Потом война, еще война —
Когда ударят, не сутулиться,
Асдачей потчевать сполна!

Выкидывать белый флаг — не в правилах Н. Грибачева. И рано еще складывать оружие. Как справедливо утверждал известный английский писатель, друг нашей страны Джеймс Олдридж, «мы живем в век решающей битвы идей, она ведется во всех частях света, всеми возможными средствами...»

Главное средство борьбы, оружие писателя — слово. Воплощенная в слово идея. И, как говорил С. Михалков в своем выступлении на V съезде писателей СССР, «когда у писателя личное сливается с его общественной деятельностью, когда писатель, сознавая свою ответственность, свою роль в обществе, умеет в любой обстановке твердо отстаивать партийные позиции, не уклоняться от решения острых политических вопросов, последовательно и убежденно проводит в жизнь политику нашей партии, — только тогда он добивается успехов в идеологической битве, ибо он становится солдатом, который выполняет поставленную перед ним боевую задачу. Таких писателей мы называем бойцами, и их немало в наших рядах».

Эти слова целиком и полностью можно отнести к Николаю Грибачеву.

На том же съезде, происходившем в 1971 году, и Н. Грибачев в своей острой, боевитой речи, перечислив задачи, стоящие перед советской литературой, требовательно вопрошал: «Как, наконец, увеличить ее атакующую мощь в мировой армии прогресса, поскольку мы никогда не сидели и не собираемся сидеть в болотах идейного нейтрализма?»

И один из основных творческих принципов Николая Грибачева: только не нейтрализм, не равнодушие, не бесстрастность, не игра в мнимую объективность, которая часто оборачивается всепринемлемостью.

Боевитость, наступательность, партийная пристрастность, полемичность, пусть порой скрытая, внутренняя,— вот характернейшие качества большинства его произведений, что вовсе не отменяет многокрасочности его художнической палитры, многогранности его творчества и писательского характера.

Николай Грибачев — всегда в атаке, в схватке, в споре.

И когда он протестует против однобоких суждений и о нем, и о том, что он пишет,— это тоже ведь спор.

Гражданская, активно направленная сущность позиций и нрава Н. Грибачева проявилась уже в первые годы сознательной жизни, в первых его литературных опытах.

• • •

Н. Грибачев родился в декабре 1910 года в селе Лопушь Брянской области.

И это не только факт его биографии.

Брянщина, ее прошлое и настоящее, ее природа, такая русская, ее люди, их беды и радости, чаяния и деяния,— все это получило широкое, яркое и, если можно так выразиться, проникновенное отражение в поэзии, в прозе Н. Грибачева, даже в публицистике: например, его публицистическая статья «Он — коммунист» посвящена жизни и работе земляка-писателя, заведующего школой крестьянской молодежи, а потом директора сельскохозяйственного техникума в селе Коккино Брянской области...

Н. Грибачев до сих пор не теряет прочной, кровной связи с родной брянской землей, он часто, и подолгу, живет в отчем крае, отдыхает там, черпая полной мерой творческие силы и вдохновение, работает, встре-

Любовь к родному уголку земли отнюдь не сужает идейно-тематического кругозора Н. Грибачева. Рассказ, думы об отчем крае закономерно и естественно вливаются у него в рассказ, думы о Родине. Ведь у любого ее уголка, как у частицы целого, судьба — неразрывная с общей. И в «частной» этой судьбе, как солище в капле воды, отражается то новое, типическое, социально-значимое, что характерно для движения всей нашей страны к коммунистическому будущему.

Впрочем, он и географически отнюдь не замыкается в пределах родного края.

В его стихах, статьях звучит гимн Родине — в ее общности, целостности и многогранности.

Гордость за Родину, и тоска по ней, полият зарубежные дневники и стихи Н. Грибачева. Он — в чуждальних краях — радуется любой мелочи, напоминающей ему о родной стороне. И, к примеру, живописуя в стихах болгарскую землю, куда забросила его война, он, ассоциативной мыслью, то и дело возвращается к Родине. И трактора под Плевной «листают землю до утра, почти как наши под Москвой», и за Варной «посухумски Черноморье бьется в берег медным звоном». А стихотворение «В пивнице», любовно рисующее пейзаж, быт Болгарии, завершается неожиданным, но для поэта вполне естественным, «вспоминательным» аккордом:

«Я ж из таюшей мглы,
Из прохлады истомной
Слышу — свищут щеглы
В конопле подмосковной».

* * *

До шестнадцати лет, вспоминает сам писатель, он «трудился в поле, как все в деревне». Потом закончил школу крестьянской молодежи с агрономическим уклоном, гидротехническое отделение мелиоративного техникума. В 1927 году в губернской газете «Наша деревня» впервые публикуются его стихи.

Некоторое время он работает в Карелии, прорабом в изыскательских партиях. А в 1933 году переходит на профессиональную журналистскую работу.

Все время он — в гуще жизни, на самых «актуальных» ее участках.

В тридцатые годы в советской литературе появляется целый ряд значительных произведений, посвященных коллективизации в деревне. Н. Грибачев не остается в стороне от этой темы. Первая его крупная вещь, поэма «Конец рода», повествует о победе в Карелии социалистического строя, об обреченности кулацкого, собственнического мирка. А затем он создает повесть в стихах «Судьба» (1938 г.) и поэму «Степан Елагин» (1939 г.) — обе о строительстве социализма в селе.

Как делегат от Карельской писательской организации, Н. Грибачев участвует в работе Первого съезда советских писателей. После съезда он целиком отдается напряженной творческой деятельности. Выходит первая книга его стихов «Северо-Запад» (1935 г.).

В качестве корреспондента он участвует в освободительном походе в Западную Белоруссию. Трудную зиму 1939/40 гг. проводит на финском фронте.

В начале Великой Отечественной войны Н. Грибачев, скрыв, что он писатель, получает под свою руку взвод, в 1942 г. командует саперным батальоном. Позднее его переводят, спецкором, в армейскую газету. В дни войны Н. Грибачев вступает в партию.

Оборона Москвы. Сталинградский фронт. Форсирование Дона. Польша, Берлин, Прага. После войны — Румыния, Болгария. Работа в газете «Советский воин» — органе Южной группы войск.

Эти вехи боевого пути Н. Грибачева стали вехами и пути творческого. Он пишет на ходу, урывками, но много и успешно.

Послевоенный период в творчестве Н. Грибачева особенно плодотворный.

Публикуются новые сборники его стихов, а также поэмы «Колхоз «Большевик» и «Весна в «Победе», завоевавшие широкую известность у читателя и удостоенные Государственных премий. Появляются в печати «Августовские звезды», «Рассказ о первой любви» и другие рассказы, снискавшие ему популярность как талантливому прозаику. Все чаще читательское внимание привлекают его публицистические статьи и репортажи, острые и оперативные. Н. Грибачев выступает и как литературный критик, пишет для детей, занимается переводческой работой.

Не менее активен он и как общественный деятель.

«Я принадлежу к числу тех,— признавался сам писатель,— кто всегда был связан служебными обязанно-

стями... а кроме того, еще и выполняет различные общественные обязанности».

Поселившись в 1948 году в Москве, Н. Грибачев работает в журнале «Советский воин», в Союзе писателей — секретарем парторганизации.

Сейчас он — один из секретарей Союза писателей СССР. И вот уже долгое время является редактором журнала «Советский Союз».

Н. Грибачев — кандидат в члены ЦК КПСС, Председатель Верховного Совета РСФСР.

К этому следует присовокупить «побочные», спорадические нагрузки: председательство в юбилейных комитетах, участие во всяческих делегациях и т. д.

И все время он — в поездках. Писателя обуревают стремление увидеть, узнать как можно больше, встретиться с новыми людьми, поговорить, поспорить.

«Из Смоленска, — писал он, — началось в 1939 г. двадцатилетие дальних дорог».

Теперь можно говорить уже о «сорокалетии».

1949 г. — старт зарубежных путешествий Н. Грибачева. Он посещает Швейцарию, Швецию, США, Францию, Австралию, Данию, Южную Америку и другие страны. По словам самого писателя, он девять раз пересек Атлантический океан, один раз — Тихий, шесть раз — экватор.

А, кроме того, побывал почти во всех краях нашей страны, почти во всех наших братских республиках.

Писатель М. Алексеев объясняет «удивительную многогранность» творчества Н. Грибачева как раз обилием дорог, «по которым провела его жизнь». И сам Н. Грибачев считает, что именно это «породило разнотемность и разножанровость в моей литературной работе».

Да, дорог было множество.

А путь — один: прямой путь писателя-патриота, коммуниста.

* * *

Партийная тенденциозность, страстность, четкость позиции, социальная заостренность, наступательность — эти качества, о которых я уже упоминал, в полной мере проявились в публицистических выступлениях Н. Грибачева.

Публицистика — это уже сам по себе боевой политический жанр.

Но не потому Н. Грибачев боец, что работает в этом жанре, а потому его выбрал — что боец.

Он не упускает возможности откликнуться на событие, взволновавшее страну, мир, и откликается — страстно и вполне определенным образом.

К драгоценнейшим свойствам советской журналистики сам Н. Грибачев относит «умение видеть и понимать события всесторонне, в том числе как бы изнутри, органически слить свой голос с голосом народа и века», и «партийную целеустремленность».

Этими свойствами обладает и сам писатель.

Он справедливо считает, что развернувшаяся в наши дни «предопределенная всем ходом истории борьба двух идеологий — коммунистической и буржуазной» перешагивает все границы, окрашивает все события, «и ее плацдармом является весь земной шар». И долг советской журналистики — оставаться на линии огня в этой схватке двух систем, двух миров.

В этом писатель видит и свой долг. И задачу свою, как и всей нашей литературы, видит в том, чтобы обнажать «пружины войны, заговоры против мира, махинации реваншизма, опасные претензии на «мировое руководство» и защищать «право каждого человека и каждого народа быть свободным человеком и свободным народом».

Добротную публицистическую статью, как стихи, пересказать невозможно. Ее надо читать: там все сказано. И у Н. Грибачева сказано так — что лучше не скажешь.

Но если попытаться выявить главную идею его публицистики, то она обозначится примерно так: революция, великий поворот, начатый в 1917 году, — продолжается, в разных формах, по всей планете. Этот поворот «приобрел глобальные масштабы и является главным содержанием современной эпохи». И люди, народы стоят перед выбором — выбором века: война, варварство, эксплуатация человека человеком — или торжество мира, разума, социальной справедливости.

Чутко чувствуя пульс событий, пульс эпохи, Н. Грибачев точно определяет характер перемен, происходящих в мире: они — в пользу прогресса, в пользу социализма.

Мыслящие люди все более осознают, что «мир, в ко-

тором один человек эксплуатирует другого, мир, в котором существуют миллиардеры и нищие, культ силы и расовая дискриминация,— этот мир неизбежно должен замениться другим, лучшим, действительно демократическим».

Но вместе с революцией продолжается «драка, бой за наши коммунистические идеалы в той «холодной войне», которую каждодневно ведет против нас буржуазная пропаганда».

Н. Грибачев сражается в своей публицистике за эти идеалы, утверждая достижения Октября, раскрывая их неизбежность, закономерность и вместе с тем беспощадно разоблачая политико-пропагандистские мифы империализма, выкрутасы ниспровергателей марксизма и советской идеологии на Западе, которых «считать — не пересчитать», шаманство новоявленных «пророков» от ревизионизма, срывая маски с генералов и солдат «армии антикоммунизма», каковые, «не имея возможности взять социалистическую крепость прямым штурмом», переодеваются «в мундиры защитников крепости для удобства проникновения и удара с тыла».

Особенно «боевиты» в этом отношении политические памфлеты Н. Грибачева.

Их действенность обеспечивается еще и тем, что разоблачительный их сарказм — уверенный, спокойный. Это спокойствие презрения, спокойствие — от сознания своей правоты и силы.

«Было все это, Говард Фаст, было!» — обращается автор к американскому писателю-ренегату, и в этих словах звучит не раздражение, а досада — памфлетист отмахивается от своего «героя», как от надоедливой мухи.

Н. Грибачев-памфлетист ищет острые, обличающие повороты, дает своим статьям, памфлетам меткие, точные, клеймящие, образные заголовки: «Туз из старой колоды», «Исландская сага с американской слезой», «Карлос Ромуло — паяц с фирменной улыбкой»...

Но он не старается уязвить пожелчней, побольнее, а наступает, спокойно прицеливаясь и разя наповал.

Наступательную позицию занимает Н. Грибачев и в своих зарубежных дневниках, путевых записках.

Это подробное, полчас с доброжелательными нотками, объективное — но ни в коем случае не объективистское — повествование о поездках в капиталистические страны, отличающееся достоверностью и остротой.

И в то же время — боевая, партийная публицистика. Н. Грибачев выступает здесь и как писатель, и как политик.

Сам автор, правда, предупреждает, что его записки — это «не преувеличение, гротеск, шарж, сатира», а живые наблюдения над жизнью той или иной страны, свидетельство очевидца.

Однако легко заметить, что перед нами не только факты — но политика. Потому что фактам, явлениям дается четкая политическая оценка.

Писатель, путешествуя по зарубежным градам и весям, не закрывает глаза на то, что сближает страны с различными социальными системами, но и на минуту не забывает о том, что их разделяет. Тепло рассказывая о встречах с друзьями, прогрессивными писателями, о простых людях капиталистических стран, не отмахиваясь высокомерно от того положительного, что ему довелось увидеть, Н. Грибачев в то же время безжалостно выявляет социальные контрасты, развенчивает, не декларативно, а опираясь на факты, мифы о буржуазной «свободе», «демократии», «всеобщем процветании», «народном капитализме».

С любопытством и доброжелательством друга любуется писатель австралийским пейзажем, рассказывает, чем славится Австралия. И тут же с горечью подмечает и сообщает нам с нескрываемым возмущением, что пейзаж в Австралии безнадежно изуродован, все земли поделены и огорожены, а виновник этого — частная собственность на землю.

В американских дневниках Н. Грибачев старается развеять отдельные наши неверные представления об Америке, он одобрительно отзывается о Концепсионском университете, о хорошей организации строительства новых домов, замечает, что не зазорно кое-чему поучиться у Америки. Но положительные стороны американской действительности не заслоняют от писателя главного, решающего в ней: непримиримых классовых противоречий, нещадной эксплуатации большинства меньшинством. Капиталистическая Америка для него это «джунгли, где жизнь можно потерять ни за что ни про что», джунгли, где на человека, на его мысли и чувства давит денежный мешок, расплющивая, уродуя, искривляя их...

И хваленая американская «свобода» оказывается при ближайшем рассмотрении иллюзорной.

Надо сказать, что Н. Грибачев и его товарищи испытывали все прелести свободы по-американски, что называется, на своей шкуре, и оттого рассказ писателя так убедителен и взрывчат. А к тому же предельно эмоционален — писатель не в силах, да и не хочет сдерживать свой темперамент.

Мир в грибачевских зарубежных дневниках и записках — это мир глазами советского человека, коммуниста, бойца. Повествование его дышит и активным сочувствием всем борцам за мир и прогресс, солидарностью с простыми тружениками, и ненавистью к эксплуататорам, расистам, милитаристам, и гордостью за нашу державу, за ее достижения, гордостью — при спокойной, без чванства, сдержанности, идущей, опять-таки, от уверенного сознания нашей мощи.

* * *

К публицистике Н. Грибачева примыкают его литературно-критические выступления.

Уже и в самой публицистике у него часто содержатся отступления в литературу («Слово о Лермонтове», «И избави нас от лукавого», «Касается всех», «Для чего, из чего, как» и т. д.).

Но и собственно литературно-критические статьи внутренне публицистичны. Грибачева-публициста узнаешь в них по бескомпромиссной идейной целеустремленности, по резкой ясности оценок, по яркой содержательности, острой проблемности и откровенной полемичности.

Статьи эти свободны как от наукообразности, хотя Н. Грибачев посильно участвует ими в развитии советской эстетической мысли, так и от недомолвок и идейной путаницы.

Позиция писателя здесь — это твердая партийная позиция. Точка зрения недвусмысленна: это точка зрения неколебимого поборника самого плодотворного творческого метода, метода социалистического реализма, с его «классовостью и тенденциозностью». Симпатии и антипатии вполне определены. Писатель за партийную, народную литературу, принимающую активное участие в борьбе идей, зовущую и ведущую народ к коммунизму, за ее тесную связь с действительностью и политикой, за сохранение и развитие животворных демократических, прогрессивных, революционных традиций, за про-

изведения, «отражающие жизнь народа и мощно воздействующие на развитие этой жизни и самой литературы», за воплощение героических тем, подвигов народа. Писатель против всякой безыдейности, ревизионизма и дешевого «скепсиса», против самоцельного трюкачества и манерничанья в литературе, поэтизации банальности и ложнозначительных мелочей, против равнодушия, аполитичности и пассивности, «проповеди непротивления злу», беззубого миротворчества, против малейшего подобострастия перед буржуазным Западом, спекулятивного зангрявания с чуждой нам идеологией, против «теории» сосуществования (когда «волки и овцы вместе») разноклассовых, а, значит, противоборствующих идеологий, против опасных попыток примирить непримиримое.

В своих литературно-критических статьях Н. Грибачев, со свойственной ему страстностью и темпераментностью, ведет бой в области эстетики как философии искусства.

Главный творческий критерий для него — это «общественное содержание, духовная и гражданская наполненность произведений», связь писателей с партией и народом, «без которой искусство либо мертво, либо вырождается в самоцель и становится не способным к выполнению своей исторической миссии», и «связь с жизнью, с той почвой, которая только и может питать подлинно вдохновенное творчество». Нет писателя — вне общества, среды, времени, его жизненный опыт «есть результат его деятельности в обществе со всем его духовным, материальным и политическим комплексом».

Исходя из этих критериев, из идеалов гражданственности искусства, Н. Грибачев горячо ратует за то, чтобы литература сознательно служила «свободе, гуманизму, прогрессу», активно воздействовала «на умы, души, на время и людей», ставила и решала кардинальные проблемы современности, выражала — Эпоху.

Проблемы идейности, гражданственности и писательского мастерства Н. Грибачев рассматривает слитно, в неразрывном единстве, убедительно, на конкретных примерах показывая, что идейная ущербность и неполноценность ведут к разрушению или, на худой конец, к обеднению художественной формы, ибо «без большого содержания, выраженного в формах гибких, но ясных», вообще не может быть большого писателя.

В своих литературно-критических статьях Н. Грибачев наступает, атакует, разоблачает — защищая, отстаивая чистоту нашего литературного знамени, принципы партийности и народности искусства, принципы верности жизненной правде, традициям революционности и демократизма от наскоков наших идейных противников и доморощенных путаников от эстетики.

Свойственные его писательскому темпераменту полемичность, борцовский пыл в данном случае служат формой утверждения его эстетических, творческих и общественных идеалов.

И это не только идеалы — литературно-критическая программа Н. Грибачева находит последовательное воплощение в его творческой практике как прозаика и поэта.

* * *

Обращаясь к молодежи, Н. Грибачев писал: «Прежде чем стать Поэтом с большой буквы, надлежит стать Человеком с большой буквы. Личностью. Борцом». «Поэзия — это оружие, энергия сердца, поступающая во всечеловеческую сеть высокого напряжения», «и ни от гражданственности, ни от политики поэзии никуда не уйти...».

Теоретические высказывания Грибачева-критика убедительно подтверждаются творчеством Грибачева-поэта.

В стихах Н. Грибачева, которые можно назвать философско-публицистической лирикой, нашла отчетливое и полное образное выражение борьба как жизненная, политическая, творческая программа.

Поэт утверждает бытие как борец, призывает к борьбе, не признает жизни без борьбы:

Не хочу стоять затылком к бою,
Перед новым делом быть в долгу,
С ненавистью давней и любовью —
Плачь не плачь — проститься не могу...

...Выходом из строя хоть на миг
Огорчить друзей моих не смею
И врагов порадовать моих.

Тема, мотивы борьбы варьируются от стихотворения к стихотворению: «И проверяю сам в себе решимость и готовность к бою...», «По всем сердцам проходит фронт

борьбы», «И сердце примет новый бой!». Даже в стихотворении, открывающемся элегическими строками: «Мы все умрем. И я, конечно», — вдруг начинает напряженно звенеть голос борца:

Я буду по ночам стучаться
К моим врагам еще живым.

Уже не сущий и не зримый,
Я стану рушить их покой
Неизжитой, непримиримой,
Неотступающей строкой...

По Н. Грибачеву, только борющаяся, «непримиримая», «неотступающая» строка, страстная, активная мысль имеют право на существование. Мысли же вялой, «равнодушной и лошенной» поэт выносит безапелляционный приговор.

Не лягнет челюстями, как волчица,
Врага увидев на пути своем,

Не разлетится, молнией сверкая,
Не брызнет пульей в каменные лбы.
Зачем она, кому нужна такая
Во времени, встающем на дыбы.

Тему борьбы, боя поэт программно развивает и в более поздних стихах: «Бой за будущее длится, длится...», «Я в этой жизни был не с краю — я был в бою, в бою, в бою...», «Отдай борьбе всю душу, всю кровь, все нервы бою...»

Это бой за будущее человечества, бой в защиту флага, реющего над Советской Родиной:

И в этой схватке,
 трудной,
 долгой,
 давней,
Что все еще берет
 за жизнь жизнь,
Держись, наш красный флаг
 многострадальный,
Прославленный,
 простреленный,—
 держись!

Это бой против многоликого врага, о котором с гневом и презрением говорится в стихотворении «Тишина»:

Он жив, наш враг —
 не приоткрыв лица,
Все выжимая
 из любого шанса,
Брюзжит и врет,
 ползет в тылах мешанство
И скепсисом
 минирует сердца.
Шипит пижон, беснуется брюзга,
В иносказаньях зауми
 подкованный,
И по болоту
 выродок духовный
Уходит
 на чужие берега.

Проникновенно выписывая приметы тишины, царящей в природе, поэт предупреждает, что тишина эта обманчивая, что мир — в сраженьи. «Мы, что ни день, опять в бою, солдат».

И как ни манит его тихий, лукавый, зазывный костерок в лесу: «Посиди со мной... Посиди, послушай, попечалься, выпей вдосталь тишины и тьмы», — поэт не внемлет его зову:

Ты меня не сманивай пока.
Чтобы рук не развязать врагу,
Не открыть ударам спину друга,
Хоть и туго мне порой —
 ой, туго! —
Не приду покамест. Не смогу!

Боевой задор и энергия ощущаются во многих «пейзажных» стихах Н. Грибачева.

Изобразив, например, «спокойный» зимний пейзаж, он тут же все круто перемешивает в нем, и перед нами уже не покой, не белое мертвое царство, а темп и бой, где «всем закручивает спешка, старье круша и хороня».

Или он пишет о луне, о соловьях, о любви, и — вроде бы неожиданно заключает:

Но смолкла птица,
И, сбив с черемухи росу,

Ягненка к логову волчица
Несет в лесу.

И дальше где-то,
Где под волной звенит песок,
Стоит, нацелена, ракета,
Сечет зарю нанкосок.

Или — темпераментно рисует «ночь с грозой и ветром», а гроза, ветер являются, кстати, его излюбленными поэтическими объектами, и это тоже не случайно, а в конце восклицает:

...Готов я сделать шаг последний —
В последний мрак, в последний бой!

* * *

Как уже отмечалось, во многих стихах и поэмах Н. Грибачева воспеваются его родная Брянщина, ее люди, «дорогие земляки».

С особенной теплотой описаны их деяния, их высвобожденный Победой трудовой энтузиазм в поэме «Колхоз «Большевик». В свое время вокруг этой поэмы велось немало споров, и иные упрекали ее в идилличности, бесконфликтности.

Сейчас видно, что эти упреки делались без учета авторской идеи и побуждений, без учета жанра произведения и общей атмосферы того периода.

Жилось тогда нелегко. Но война кончилась, народ повеселел, вздохнул облегченно, воспрял духом, начал мечтать о будущем. Поэт чутко уловил эту душевную настроенность земляков. Когда народ радуется — он поет. Н. Грибачев и создал как бы развернутую частушку, сплел многокрасочный венок из лирико-юмористических зарисовок.

И не «идиллия», а большая правда в том, что люди, изголодавшиеся по мирному бытию, жадно потянулись к труду, к учению, к светлой песне и к добродушной шутке. И богатый урожай, который собирает колхоз, это как награда, что выдает «сама земля за всю войну». И планы, мечты колхозников: построить гидроэлектростанцию, провести в дома радио — вполне реальны.

Н. Грибачевым, по его собственному признанию, двигало при создании этой поэмы «страстное жела-

ние... колхозного счастья и изобилия для моих земляков», а позднее оказалось, что его мечта «даже беднее самой развивающейся действительности». Сбылось больше, чем мечталось.

Потому поэма до сих пор не потеряла своего патриотического и художественного значения, осталась в литературе живым свидетельством послевоенного созидательного подвига советского народа, свидетельством любви поэта к родной земле.

В поэме «Колхоз «Большевик» привлекает внимание попытка нарисовать образ «солдата партии» — колхозного партийного секретаря, к которому несут люди «свое доверье» и «свои заботы» и который, как вся партия, «в ответе за рожь, за человека, за всех, за все на свете!»

Это герой-борец, один из изблюбленных образов Н. Грибачева.

Ратуя в своих критических статьях за «литературу Буревестников», за нового героя — деятельного, сражающегося, строящего и движущего жизнь, человека подвига, социального оптимизма, героя, устремленного «через драму, через трагедию, через гибель — к революционной цели и революционному деянию», Н. Грибачев, в соответствии с этой творческой платформой, стремится в своих стихах и поэмах воплотить героическую тему, создать образ героя-подвижника, патриота, борца, — с огромным чувством ответственности за судьбу Родины и народа.

Героико-революционный пафос «Видлицы» как бы продолжен писателем в 1963 г. в поэме «Иди, сержант!» — о бессмертии подвига, о непреходящем героизме советского солдата, который шел на смерть, на сознательные жертвы во имя будущего с одной мыслью и святой заботой: «лишь вечно б летел пламенеющий флаг под небом родной стороны!». На поэме лежат грозные отзвуки минувшей войны, но всем своим настроением она обращена в настоящее и будущее. Поэт вновь и вновь утверждает: бой не кончен! И призывает своего героя;

Пусть не пули в ушах жужжат,
А турбины, хлеба, дожди,—
Нужен новый плацдарм, сержант!
Надевай ордена!
Иди!

Подлинно «грибачевским» героем мы вправе назвать и колхозного партсекретаря Зернова из поэмы «Весна в «Победе». Писатель угадал в нем партийного руководителя нового типа, для которого главное — жизнь среди и для людей, забота о них, дума о каждом. И вечный бой.

Ситуация в поэме избрана драматическая: Зернов смертельно болен. Сознание цели, ради которой он жил, боролся, ни на минуту не покидает Зернова. Он весь в порыве: «работать, сражаться.. Жить!» Ведь «в бою и мертвый воин шаг последний делает вперед!» И последний шаг, последний день Зернова — неустанного, самоотверженного труженика «бессонного, горячего цаха» — это «новый шаг в коммуну».

Перед нами — оптимистическая трагедия. И не случайно так широко и насыщенно разлита вокруг героя атмосфера весны, когда чудится, что и Россия вся плывет «в весну, в бескрайнюю зарю». Это заря Грядущего. И картины будущего, коммунистического Завтра предстают перед Зерновым в его символическом сне:

Мир, что в дреме когда-то
Снился сердцу солдата,
Человек, о котором
Так мечтали поэты, —
Вот он встал на просторах,
Встал на землях «Победы!».

Поэма наполнена точными приметам времени, колоритными деталями. Плотное окружение реальными «типическими обстоятельствами», Зернов как бы отражается в людях, в их делах. И реальное переходит в символическое: колхозная дорога, проложенная по инициативе Зернова, воспринимается и автором, и читателями шире, значимей:

В просторы,
как в день грядущий,
Зерновский летел большак.

* * *

Н. Грибачев своими произведениями борется за человека, помогая воспитанию в нем активности, идейности, преданности Родине. И особенно — за умы и души молодых строителей нового общества.

Многие его публицистические выступления, статья «Молодым — крепкие крылья», стихи «Сталь и моль», «Нет, мальчики!» — звучат как прямое обращение к советской молодежи.

Н. Грибачев пишет о ней как о «гордости и надежде нашей», как о поколении «образованном и деловитом», сосредоточившем в своих руках «бесценный опыт старшего поколения и воистину гигантские духовные и материально-технические силы... новой цивилизации социализма», создающем уже сегодня — грядущий день и понимающем, что путь в этот день «не выстлан асфальтом, что у революции бывают свои трудности, но преодолеть их и добиться победы можно только дружной работой всех поколений советских людей».

Отдавая в «Стали и моли» справедливую дань старшему поколению, Н. Грибачев в то же время напоминает: «На дорогах звездных их сыновья». Он признается, что с молодыми «наше ярче горение, с ними в нашем светлей дому», и как бы напутствует их: «Вам возвышать человека, дел его пользу и славу, юноши звездного века, вашего века по праву!» Поэт верит, что молодые, прямые наследники ветеранов революции, Великой Отечественной войны, социалистического строительства, сделают «знамя Ленина всеземным!».

Но во многих его статьях, стихах, рассказах прорывается и тревога за судьбу той горстки молодежи, которая заражена духовным «пижонством» и с дикарским самодовольством поплеывает на все святое в нашей жизни.

И здесь писатель — бескомпромиссен и тверд, желчен и резок.

Еще в одном из ранних рассказов «Кто умрет сегодня...» он выводит такого безусого нигилиста, который посмеивается над «идейностью» своих товарищей по окопу. С жесткой убедительностью в рассказе показано, как идейная несостоятельность, «пижонство» приводят к предательству, дезертирству.

В статье «Касается всех» Н. Грибачев пишет, как горько бывает, когда молодой талант, «это ценнейшее достояние народа», вместо того, чтобы идти в революцию, «позволяет утянуть себя в обывательскую стихию».

Эта горечь и резкость — от подлинной заботы о молодых.

Писатель, не стесняясь в выражениях, завершает

стихотворение «Сталь и моль» недвусмысленным, яростно-категоричным предупреждением молодому скучающему доморощенному «скептику»: «Не глумись над подвигом — в зубы дам!».

В то же время он вправе сказать «мальчишкам», смотрящим на Россию «как бы слегка на заграничный лад»:

Мы
и за вас
ведем сегодня бой.
Чтоб вас теченьем книзу не сносило,
Чтоб вас могла
любить и понимать
Она сама —
Советская Россия,
Святая каша Родина и мать!

* * *

Проза Н. Грибачева по сравнению с поэзией и публицистикой не так раскалена, более спокойна.

Но внутренне и она тенденциозна и «боевита».

Иные из рассказов таят в себе спор, полемику, — например «Солнце всходит за Доном», где дискутируют друг с другом герои, или такой сугубо «позитивный» рассказ, как «Беспокойная ночь», в котором газетчик Прибылов, «старый кадр», убежденно и пылко защищает свое поколение от нападков ниспровергателей-скептиков: «стыдиться прошлого нам нечего, вон какое государство отгрохали. И каждого третьего человека на планете в социализм привели. Без нас не было бы того, нашей кровью изначально полито».

Рассказом-спором представляется «Ночь перед расстрелом», не случайно вокруг него разгорелась дискуссия.

В центре этого рассказа — исключительный случай: комбат Вадим Шершнева в труднейший момент бросает на произвол судьбы свой батальон (ему захотелось выпить), в это время фашисты предпринимают атаку, и батальон несет потери. Военный трибунал приговаривает Шершнева к расстрелу.

Но не случай сам по себе интересует писателя. Он старается разобраться: что же привело Шершнева к преступлению? Ответ суров и горек: виновато потака-

ние окружающих «фокусам» этого неустойчивого человека, то, что вокруг него «распускали... нюни и слюни», не придавали значения его циничным высказываниям о высоком и святом в нашей жизни. Ведь Шершневыращен не в стеклянной банке, он — «комплекс, производное от многих множителей. В этом вашем Шершневе разными величинами, не считая водки и девок, сидят папа, мама, дядя, учитель, приятель, комдив, вы, я...» Его преступление является конечным звеном целой цепи проступков и потачек. По отношению к нему пришлось проявить высшую жестокость, потому что прежде к нему были слишком добры.

Но писатель вовсе не за жестокость и не против доброты. Он за требовательность — против всепрощенчества и гнилого либерализма, которые служат для него синонимами равнодушия и безответственности. Доброту нельзя рассматривать отвлеченно, это фактор, который в одном случае может привести к одним последствиям, в другом — к другим. В данном рассказе она становится причиной трагедии.

И не только Шершневы тут расстреляны. Писатель целил в безответственную, развращающую снисходительность.

Рассказ призывает к борьбе за человека — и бдительности, содержит большие, серьезные обобщения, касающиеся непримиримой, решающей схватки, борьбы двух миров: «Кто против кого стоит тут, на Дону? Немцы против русских? Не только. Два духа времени, две идеи, два пути человечества», и граница меж ними «ныне по умам и сердцам проходит, не удержим ее — жизнь целого поколения пойдет под откос, жертвы и слава революции, завтрашний день, и не только наш».

В иных рассказах Н. Грибачева ощутимы разоблачительные нотки — при отсутствии чисто сатирической, клеймящей направленности, гротесковости, карикатурных преувеличений. Ткань их добротны реалистична, тон повествовательно спокоен.

Так, спокойно, без злости и гнева, писатель в рассказе «Наш сосед Кирилл Земенюшин» ведет речь о бывшем власовце. Автор даже по-человечески терпим к нему: ведь Земенюшину уже воздано по заслугам, да и в своих он, вроде, не стрелял. Но, как сказано в другом рассказе Н. Грибачева, «война предъявляет свой счет — прошлому и настоящему». Предательство Земенюшина, совершенное «ради спасения жизни», не забыто

людьми, о нем постоянно напоминает ему его собственная совесть, и он сам кладет конец жизни, за которую так подло цеплялся.

«Изнутри» тенденциозны и лирические рассказы Н. Грибачева, такие, как «Августовские звезды», «Рассказ о первой любви».

Казалось бы, они далеки от главных направлений борьбы, которую ведет писатель в других произведениях. Им свойственны полутона, настроение, порой аже какая-то недосказанность.

Но при всем при том они — активно утверждающе, авторская мысль бьется в них горячо и сильно.

В рассказе «Осенние листья» искусствовед, пытаясь изобразить во впечатлениях от картины своего друга, спрашивает себя: «Безусловно, написано оригинально, но смысл-то, смысл?..»

Смысл лирических рассказов Н. Грибачева — люди. Выражен же этот смысл не «в лоб», а в сложном и тонком образном строе, также и через настроение.

Герои этих рассказов, на первый взгляд, неприметны: Алеша Круглов «невзрачен», Марина «не броска». Но писатель сумел пластично вылепить и высветить изнутри сильные характеры с нерастраченным запасом нежности, заботы, любви. Герои выделяются душевной своей красотой, духовным богатством. Это рассказы о поэтичности, чистоте, сложности человеческих чувств, рассказы, где каждое сердце — открытый писателем клад.

Непростую психологию, богатый духовный и интеллектуальный мир героев раскрывает Н. Грибачев в рассказах, посвященных Великой Отечественной войне, советским людям на войне.

В этих рассказах, которые строятся как воспоминания, с авторским «я», с авторским присутствием, много солдатского быта, «прозы» войны с ее зримыми деталями и подробностями. И события зачастую разворачиваются на узкой площадке. Однако ощущения ее узости не возникает. Потому что писатель вскрывает идейную подоплеку действий, поступков своих героев. Потому что его герои спорят, раздумывают, мыслят — и мыслят широко, остро, крупными, значительными категориями. Ни на минуту не забываешь: перед нами — советские воины на конкретном историческом этапе, взращенные, духовно и интеллектуально, конкретной социальной обстановкой, новой, революционной эпохой.

Это и комиссар, и майор Доломанов, «немногословный», но любящий покопаться в «проблемах» («Расстрел на рассвете»), и острый на язык, умный и начитанный молодой адъютант, и Андрей Шубников, отличающийся некоторым максимализмом суждений («Солнце всходит за Доном»), и комбат Косовратов с его повышенной нравственной требовательностью, страстно и чисто выступающий против «скотства» на войне — потому что «если уж мы способны огрубиться до скотства, то и воевать не за что» («Здравствуй, комбат!»).

Более «заземленным» кажется, поначалу, рассказ «Шаг, шаг, еще шаг», где описывается отступление наших частей и прозаические, на первый взгляд, похождения пожилого, «от земли», солдата, обозника — правда, сидящего не на телеге, а на тракторе.

Этот трактор и спасает от гитлеровцев Павел Петрович Самородов. Над ним посмеиваются, балагурят, мало кто воспринимает его всерьез, а он знает, делает свое дело — едет на стальном коньке по дорогам войны, рискуя не меньше, если не больше, чем другие, надеясь на последнее, с предельной естественностью выполняя свой боевой патриотический долг.

Это не только солдат, но и труженик на войне.

Н. Грибачев часто употребляет в «военных» рассказах слово «работа»: Матвей Монеенко идет на пост «запросто, как на обыкновенную и уже приевшуюся работу», генерал говорит о предстоящей боевой операции: «работа впереди серьезная».

В рассказе «Шаг, шаг, еще шаг» мы видим героя в ратном труде: он ведет трактор, строит плот, чтобы переправить его через реку (автор так и пишет: «приступил он к работе»), проявляет именно труженическую добросовестность, ловкость и смекалку. И все это, в конечном счете, выливается в Подвиг.

Сам Самородов словно бы и не сознает, что он совершил, — настолько это для него органично. Командир батальона, куда «прибило» Самородова, «все не мог до конца понять, каким образом можно было через такую реку переправить трактор, когда противоположный берег уже три дня занимает противник? И Самородов снова и снова рассказывал ему... что с трактором он пришел в армию из колхоза и он для него вроде душа живая, и что ничего во всем этом особенного нет, так уж получилось».

Самородов простой солдат, но не такая уж прослая

натура. Чем дальше разворачивается действие, тем все больше раздумывает он и о войне, и о своем месте в ней. Писатель прослеживает в герое развитие, мужские мысли, доводя ее до решимости героя «одержать свою собственную победу над немцем», до такого сознания своей патриотической миссии, когда трактор уподобляется для Самородова «особой, что ли, позиции, кусочку территории, отданной под его личную защиту».

* * *

Через все творчество Н. Грибачева проходит принципиальное противопоставление, столкновение взаимноисключающих начал: беспокойства — и равнодушия, горенья — и тленья, движения вперед — и застоя.

Райкомовец Зернов из «Весны в «Победе» и Холодков из «Наших знакомых» — это герои разных поэм, но всей своей жизнью, чувствами, устремленьями они словно спорят друг с другом.

Казалось бы, их биографии в чем-то перекликаются: в молодости и Холодков был комсомольским вожаком, всего себя отдавал делу, ученью:

Не млея, не пел, любви не знал,
А к мысли мысль копил,
Глотая страницы, главы гнал,
Читал, что воду пил.

Но на каком-то жизненном повороте Холодков, поднявшись над людьми и, значит, оторвавшись от них, стал лишь «руководить, возглавлять и вести». Ничего страшного он вроде бы и не совершил. Никому не был ни врагом, ни другом, был «прилежен, но бескрыл». Порой он просто жалок. Но стоит поставить его рядом с Зерновым, как от жалости не остается и следа. Зернов — весь для людей, Холодков — для себя. Он не крал, «но недодал, недодал — значит, обобрал». Он «по уши сам в себе увяз» и уже этим обкрадывает страну, время, народ.

...человечества частица,
Среди привычной суеты
За все, что есть и что случится,
Несешь ответственность и ты...

...ни на миг тебе единый
Жить на отшибе не дано...»

В этих строках — гражданское кредо писателя и его любимых героев. А Холодков как раз — на отшибе, он бескрыл и равнодушен. У Грибачева же нет «ни сочувствия, ни жалости» к тем, кто жметя в сторону от гремящего вокруг боя, кто «равно одаривал улыбкою и подлеца, и храбреца», кто «ради почести отрекся от страстей живых» («Не жалко»).

Бескрылость, эгоизм, равнодушие, соседствующее с криводушием, для писателя — опаснейшие враги. И ему в дом «равнодушного», «как в волчье логово, с двустволкой однажды хочется зайти».

Беспокойство, творческое горение, заинтересованность в окружающем и мещанское понимание счастья, мещанский принцип «моя хата с краю», потребительская ограниченность, — такова расстановка сил в рассказе «Там, впереди».

Шофер Василий из этого рассказа — «честный», он даже «левака» не задает. Но уж и своего не упустит. А это «свое» ничтожно, как стершийся пятак. Исчерпывающую характеристику дает Василию агроном Таборовский: «Тебе же только деньга, жратва, дом, ты с двух ног на четвереньки готов опуститься — за кормом нагибаться легче, думать не надо...»

Василию противостоят в рассказе зоотехник Забродская, которая живет «во всей полноте чувства», и сам Таборовский, хоть чуть и сдавший под грузом прожитых лет, но страстно ратующий за «скорость», за интеллектуальную жадность и духовную одержимость: «Век же у нас такой, что без скорости только на могильник подвигаться...», «человека все касается, от выстрела «Авроры» до одуванчика и Млечного Пути, ему не думать — не жить».

И не стремиться вперед — значит не жить.

В одном из стихотворений Н. Грибачев заявляет, что «стал наследником движенья, что начиналось до меня» и «насквозь пронизан им», что он любит «жизни шум, борьбу, движенье».

Этот мотив — движенья, непокоя, поиска — повторяется у него не однажды. Жизнь — это «Труд. Праздник, Марш из боя в бой». Жизнь «во страсть и всласть лишь та, что вечным поиском слита!», «Мы в пути и отдыха не ждем».

Поэт призывает «лететь вперед», для него «горший вид беды — стать на болоте лужицей воды», он и ручей торопит — «спеши, ручей, беги! Вот если остановишься — беда: под ряской скиснет темная вода...»

Жизнь «с извечным движением, противоречиями, борьбой и достижением цели... только для того, чтобы появилась новая», Н. Грибачев утверждает и в своих рассказах.

Писатель — певец перемен, певец диалектики жизни.

Как время вскачь уносится,
как скоро
Вчерашняя стареет новизна!
Как все,
что вечным так недавно мнилось,
Само и для себя,
не напоказ,
Преобразилось и переменялось,
Переменило
и меняет нас.

Такой взгляд на жизнь помогает писателю и об уходе из жизни говорить без отчаяния, а с шутливой и, по существу, оптимистической иронией. Все в мире меняется, обновляется, на смену одним придут другие. Природа лишь пускает нас «в переплав». И пусть осень убирает «сгоревшую траву и листья сада, и нас — из тех, чей вышел срок», об этом не стоит горевать, потому что «в кровати мальчик спит, в земле — зерно» и «им в рост идти, им лето суждено!»

Перемены, движение — благо. И в одном из рассказов писатель говорит о «великой и спасительной, хотя подчас и горькой необходимости прощаться с прошлым...»

Герои прозы Н. Грибачева словно воплощают в себе эти его мысли. Они — в движении, в стремлении к новому, лучшему. Таковы пассажиры из рассказа «Одним рейсом», беспокойные люди, которым не сидится на месте, кузнец из «Кузницы», дед из «Старого сада» со своим мудрым наставлением внуку: «Когда мертвое живому мешает, только непорядок на земле получается». Глоток из «Казарок», ищущий, где приложить — только бы на пользу людям! — свой скромный талант,

строитель Егор Званцев из «Последнего дома», простой труженик, деятель, созидатель.

В иных рассказах Н. Грибачева героями выступают райкомовские работники, газетчики, агрономы, — по самой своей сути, по профессии неусидчивый, беспокойный народ.

В «Беспокойной ночи» это секретарь райкома Белобородов и очеркист Прибылов. Ситуация здесь выбрана писателем, казалось бы, статичная, «околомагистральная»: выезжают люди на рыбалку, сидят у костра, беседуют, спорят... Однако ночь оказывается беспокойной: и Прибылов, мечтающий о «тишине», будоражит всех своими полемическими эскападами, и Белобородова снедают заботы и беспокойство — оторванный от привычных дел, он чувствует себя неугодно. Он из «железного, двужильного» племени партийных руководителей, не ведающих отдыха и покоя. В то же время это, как и Зернов из «Весны в «Победе», руководитель нового типа, человек самостоятельного, нестандартного мышления, широкой культуры.

Фанатиком своего дела, своей специальности, человеком, полностью отдающим себя работе, любознательным и беспокойным, предстает перед нами и агроном Обдонский («Любовь моя шальная»).

Писателя привлекают такие натуры, беспокойные — и цельные.

В рассказе «Шаг, шаг, еще шаг» о майоре Вороновском с восхищением говорится, что это «человек цельного, сильного характера». Цельность, целеустремленность присущи и Белобородову, и комбату Косовратову («Здравствуй, комбат!»), и многим другим героям рассказов Н. Грибачева.

* * *

Важной особенностью творчества Н. Грибачева является жизнелюбие, эмоциональное полнокровие. Жизнь он любит — во всей ее яркости, многообразии и полноте.

Писатель чужд ханжеского аскетизма («я не святой, не ангел белоперый», «не святой глупец и не ханжа я»), он за душевное и физическое здоровье, за удаль, за жизнь во весь накал: «И если муки — так уж муки, и если страсть — так вправду страсть». Даже возраст

не должен мешать нам открыть «свои усталые сердца» «всем, всем, что есть, восторгам и печалям».

«Революционер не ханжа, он жизнелюб...», — утверждал Н. Грибачев в одной из своих статей.

Боевой, наступательный дух налицо и в его «анти-аскетических» произведениях. Признавшись, в стихотворении «Откровенно говоря», что он «не монах в монастыре», поэт далее пишет:

Во мне живет
Атак накал и топот
И споры трав, и песня соловья,
Я лунный свет люблю и полдня зной.
И майский гром, и женских глаз снянье,
И дерзостное чувства состоянье,
Когда как будто крылья за спиной,
И яростные поиски ума,
И мускулов без меры напряженье,
Когда тебя
В работу и сраженье
Бросает революция сама.

Не случайна здесь революция. Не случаен и майский гром — весна для поэта наиболее наполненное, смятенное время года, и он особенно охотно воспевает и саму весну, и весенние ветры и грозы.

Н. Грибачев программно против пассивности и хныканья, «примирения с неудачами, бедами, горем, слезами»:

Не люблю я слушать охи-вздохи,
Слезы капать на жилетку дня,
С надсонами атомной эпохи
Не сложилась дружба у меня.

Он против чахоточно-блеклого, вялого, вполсилы, житья-бытья, против тепленьких, мелких чувств, против «певцов страдания и сомнений», тех, кто «творит слона из мухи» и «видит в собственной мозоли сверхтрагедийность бытия», против «измельченного» счастья. «Поэты это самое счастье так измельчили и изжевали, — негодует Прибылов в «Беспокойной ночи», — так разменяли на медные пятаки, что и говорить о нем полным голосом неудобно. Полюбил — счастье, кашу с маслом съел — счастье. гриб в лесу нашел — счастье...»

Жалостливую брезгливость вызывает в писателе Вадик из одноименного рассказа, юноша, лишенный целеустремленности и подлинного жизнеприятия, — у него даже любовь и ревность «нерешительные», «старческие».

Сам же писатель страстно декларирует: мы живем затем,

...чтоб желать и брать
Все — от женских ласк до светил,—
Чтобы строить и воевать
До конца своих лет и сил!

Жизнелюбие как принцип бытия — это тоже боевая позиция Н. Грибачева.

Но вот в рассказе «Любовь моя шальная» писатель знакомит нас с героиней, которая тоже, вроде бы, против ханжества и за жизнь в полную силу. Зина, молодая, красивая, умная, не признает условностей, презирает жизнь «законсервированную», рвется в искусство — причем «напролом». Казалось бы, такая дерзкая натура должна быть близкой автору. А рассказ горький и завершается грустной нотой: «жалко мне Зину».

Дело в том, что для Н. Грибачева принципиально неприемлема и представляется опасной, циничная «философия» Зины, нигилистическое отношение к высокому в жизни. «Мертвым — гнить, живым — жить!», «Мы люди своего века, а не тургеневских времен. Зачем делать душераздирающую проблему из того, что просто».

У Зины не богатство чувств, а их упрощение, то есть обеднение. Сам писатель призывал совсем к иному: к полноте, силе, цельности и чистоте эмоций.

Позднее и Зинино «напролом» оборачивается циничным «любой ценой».

Но грош цена этому «напролом», и свободе чувств, и жизнелюбию, если все это для себя, без высокой цели. Тогда это лишь моральная распушенность, духовная ущербность. Умного, умеющего задуматься человека, а Зина из таких, это может привести только к внутреннему краху. Зина разменивает себя на пошлости, мелкие обиды и в последнем письме герою рассказа жалуется: «если бы ты знал, как холодно, одиноко, пыльно на моей дороге». И это закономерный исход, ибо дорога ее — слишком узка.

Любовь к жизни, любовь к родному краю естественно включает в себя любовь к природе.

А Н. Грибачеву она особенно дорога, потому что в ней он находит и цельность, и буйство красок и соков, и чистоту.

Любовно переносит он русский пейзаж в стихи и рассказы. И, как уже говорилось, он особенно пристрастен к просторному, мощному, шумному, динамичному в природе. Ему не по душе зимняя спячка — он ждет, когда «солнце ударит, как взрыв».

Пластично, в красочных, точных деталях, выписывает он гущину лесную, спорые рассветы, весеннее половежье, неожиданные дожди...

Природа в его произведениях — живая, «ветер за окном пытит и отдувается», а вьюга стесняется дневного света, и лишь к вечеру «отпустила себя, дает полную волю» («Любовь моя шальная»).

Без пейзажа нет Н. Грибачева.

Но пейзаж изображается им не ради пейзажа, это не только средство выражения любви к природе. Пейзаж участвует в сюжете, «подыгрывает» героям. Не случайно в «военных» рассказах пейзажные зарисовки встречаются реже, и сами по себе скупы. Ведь на войне просто некогда любоваться красотами природы. Но чуть выпадет героям передышка, и писатель рисует пейзаж уже более развернуто и подробно, «под настроение» героев.

Любить для Н. Грибачева — значит бороться, отстаивать, защищать.

С болью воспринимает он надругательство человека над природой, оскудение ее.

И — продуманно и темпераментно — выступает в защиту наших природных богатств, красоты земной.

Писатель предупреждает: опасно думать, что природа — это «чаша непочатая», и нам так много досталось, что «век таскать и не перетаскать».

Стоя у голого оврага, где когда-то ворковал прозрачный ключ «и помогал в листву ссыпаться росам и, в речку прыгнув, подпевал волне», он с горечью видит — нет больше ручья. Высох.

Ни деревца, ни кустика, ни травки —
Кошмар полупустыни наяву...

...Все отдано пылище и тоске,
И только ива, древняя старуха,
Заламывает руки на песке.

И «все плачет, плачет горлинка лесная над рукавом реки, что пересох»...

Бой против тупого варварства, разрушительства, против ущемления природы, расхищения ее богатств Н. Грибачев дает в рассказе «Журавли скликаются», в публицистической статье «Природа и мы», где он призывает «ополчиться на всякие упущения», «разумно регулировать наши отношения с природой».

* * *

Важной особенностью творчества Н. Грибачева является то, что бойцовский темперамент органически сочетается у него с раздумьем, с глубоким анализом причин того или иного явления, факта и последующим обобщением.

Меньше всего Н. Грибачев наблюдатель, пусть даже зоркий. В его творчестве просматривается как бы некое триединство: наблюдение, факт, деталь — активность позиции, темперамент бойца — и обобщение, анализ, мысль.

Причем мыслит он часто крупными категориями: в масштабах Земли, Века, Человечества.

Сам Н. Грибачев, напоминая о триединой формуле познания, писал, что литератор должен идти от созерцания и практики (опыта) к абстрактному мышлению и снова к практике («О серьезном — серьезно»).

Где-то хорошо и верно сказано о стихах Н. Грибачева: «боевые, раздумчивые».

Целый цикл его стихов так и назван: «Раздумье». Но и в стихах других циклов, идя от конкретного образа, точно подмеченной детали, поэт, в рамках внутреннего сюжета, стремится по-своему осмыслить наблюдаемое, прочувствованное, пережитое. Часто пейзаж для него — лишь органичный повод для перехода к символическому, лирическому или публицистическому обобщению. Так, картина слякотной осени в стихотворении «Темные осины у пруда» служит как бы трамплином для нападения на одного из главных врагов поэта — равнодушные: «Но бывает, и душа иная хлюп да хлюп — ни лето, ни зима». Или он описывает дуб

во время грозы, и этот, вроде бы «чистый», пейзаж завершает публицистической мыслью: «Его страшили только свиньи по окончании грозы».

Иные рассказы Н. Грибачева представляют собой сплав наблюдений — и обобщений, жизненных фактов — и споров вокруг них, раздумий над ними. Я бы сказал, что герои его «военных» рассказов — это люди и мысли. В них и автор, и персонажи тяготеют к размышлениям над жизнью, их окружающей, над проблемами, которые их волнуют.

«Ночь перед расстрелом» — это рассказ-спор. Но и рассказ-раздумье.

И во многих литературно-критических статьях Н. Грибачев не только спорит, убеждает, наставляет, но, в самом процессе полемики, ищет, размышляет. Литературный спор, боевая публицистика сплавлены здесь с теоретическими обобщениями, ищущими раздумьями — например, над проблемами положительного и отрицательного героя, конфликта, «лирического героя» и т. д.

Показательны и его путевые записки, дневники, где наряду с фактами, впечатлениями дается анализ фактов и явлений и острая политическая оценка, где факт, как правило, вызывает политическую ассоциацию.

Даже незначительное дорожное происшествие: велосипедист загляделся на девчонку и врезался в грузовик — влечет за собой ассоциацию обобщающую: вот так же американская политика позабыла, замороженная уругвайскими прибылями, о новых правилах движения, об осторожности и наткнулась на сопротивление народа.

И так во всем: факт—анализ—оценка, жизненное наблюдение—сбор—раздумье, — в меняющихся, конечно, пропорциях, с преобладанием то одного, то другого,— в зависимости от авторского замысла, цели, душевного и социального настроения.

* * *

Бывает так, что новое или новые произведения того или иного писателя существенно дополняют, а то и вовсе меняют наше представление о нем.

Когда же читаешь новые рассказы, стихи, статьи Н. Грибачева, то еще больше утверждаешься в своем, уже сложившемся, мнении о нем, хотя творческий об-

лик писателя постоянно открывается нам новыми, свежими чертами и гранями.

Писательская палитра Н. Грибачева, при твердости, последовательности его идейных убеждений, разнообразна и многокрасочна.

И неизменно обогащается новыми красками.

В творческом багаже писателя — рассказы с серьезным содержанием, и непритязательные, улыбочивые, «охотничьи» и «рыбацкие», острая партийная публицистика — и написанная вместе с друзьями веселая, шутейная «Десна-красавица», юмористическое повествование о путешествии по Десне, рассказы развернутые — и короткие зарисовки, стихи сатирические — и лиро-философские, с боевым запалом — и с легкой иронией.

Свой отпечаток накладывают на его произведения и время, опыт.

Н. Грибачев, например, и в начале творческого пути отдавал дань военной, ратной теме. Он снова обратился к ней в последние годы, и легко увидеть, как созрела его художническая мысль, насколько «отстоялись» военные впечатления. С вышки современности прошлое видится писателю четче и ясней, обобщения стали шире, он глубже проникает в характеры, детальней раскрывает психологию героев.

В стихах последнего времени у него усилились «осенние» мотивы.

Они проскальзывали и прежде: «Сердце мне сказало, что устало», «Все в жизни к своему итогу придет, когда настанет срок», «У какого берега ни чалься, — все на свете временные мы...»

Позднее он прямо заявляет: «Пора подремать у причала», потому что век «полупрожит... вполовину сожжен», и взывает с полусерьезной иронией: «Господи! Видишь, выдохся я. Нельзя ли помочь?».

Но это лишь новые мотивы, а не новая жизненная позиция.

То, что время летит, годы уходят, горько и страшно сознавать и слабым, и мужественным. Но у Н. Грибачева и грусть активна: раз годы тают, и с этим ничего не поделаешь, значит, надо как можно больше сделать в оставшиеся, дотраться с врагом. Как ни горько — стареть, но еще более горько, «если впусте шумел на поприще людском».

Не желает поэт внять совету: «Устал — так в обоз

поди». Спокойная жизнь для него — плен, «тюрьма на особый покрой», он рвется «под ветер зеленый, в работу, и в драку, и в спор». А если уж невозможно без привала в тяжком пути, то пусть он будет как можно короче:

Отдохну-ка в траве, что шепчется с ветром,
Из колодца попою
и опять пойду.

Так говорится в стихотворении «И опять пойду». И в цикле «Я лесом шел» — та же мысль:

Обсушусь, обогреюсь немного
И уйду, чуть займется рассвет.
Сорок лет меня гонит тревога,
Сорок лет. А отбоя все нет!

В стихах последних лет у Н. Грибачева больше раздумий, философско-лирических размышлений о вечности — и месте человека в ней, о жизни и смерти, о творчестве и труде. Опять-таки: возраст, опыт, мудрость, желание поделиться накопленным, тревожащим мысль — с другими.

К пейзажным стихам прибавились такие, где говорится об очищающей, умиротворяющей силе природы.

Трудно перечесать все, о чем размышляет поэт.

Но все это — в контексте большого разговора о Времени, о нашем трудном и сложном веке, в русле постоянных устремлений Н. Грибачева.

Поэтический цикл Н. Грибачева «Исповеди в пути» целиком посвящен любви.

Перед нами — рассказы, признания в стихах, с сюжетом не только внутренним, но подчас и повествовательным. Сложный ход поэтической мысли облечен в прозрачную, раскованно текущую поэтическую речь. Никогда еще с таким щемящим восторгом, с «замирающим сердца» поэт не писал о женщине, чья «преданность бесстрашию равна», о любви как чуде «поэзии и жизни заодно», любви чистой, верной, порой горькой, всегда — облагораживающей.

И в то же время в этом цикле — проблемность, особенно в «Звезде в окне», и доломка с новомещанством,

толкующим о «любви свободной» и острящим над истинной, и призыв к полноте чувства, к цельности в любви, и ощущение величия и противоречий века, и неизбывности пути — «вперед, вперед».

Это гимн любви, гимн женщине — и борьба за высокую нравственность предкоммунистической эпохи.

* * *

Если говорить собственно о мастерстве Н. Грибачева, то обращает на себя внимание, прежде всего, его забота о стиле, бережное отношение к слову, стремление использовать в своем творчестве все богатство русского языка, от народной фразеологии, разговорной речи до современных, в том числе даже научных, терминов.

Здесь его враги — с одной стороны, серость, штампы, и, с другой, претенциозность, стилистический «изыск», кокетничанье словом.

Естественно, что писатель, у которого есть что сказать читателю и который хочет привлечь его на свою сторону — единомышленником, соратником в борьбе, — такой писатель не может не стремиться к ясности стиля.

У Н. Грибачева и в прозе, и в поэзии, и в публицистике — «все понятно, все на русском языке». Причем на очень русском — он особенно пристрастен к словам и оборотам народным, просторечным, сочно-колоритным, с терпким юморком.

Но охотно вводит в прозаическую и стихотворную речь языковые «новации», «специальные» словечки, «техницизмы» и «канцеляризмы».

На вооружении у писателя все многообразные стилистические средства. А цель: донести до читателя свою мысль, «захватить» его эмоции свежим, броским стилистическим оборотом, сравнением, метафорой.

Развивая в своих стихах русскую классическую поэтическую традицию, Н. Грибачев добивается прозрачной глубины, афористической чеканности строки. Вместе с тем он любит, по его собственному выражению, «поиграть» словом, местным говорком, это можно наблюдать в его поэмах — «Степан Елагин», «Колхоз «Большевик». А порой, для достижения эмоционального эффекта, «взрывает» стиль современной конкретной

реалией, неожиданным термином: «Промоины как мета-стазы рака», снега «крахмальные, как простыни в оде», «из молний выписав кроссворд», горностаем влетает в морозный лозняк «строчку непарелью». В итоге: броскость метафоры и современное звучание стиха.

Стих Н. Грибачева по-есенински образен, по-современному «вещен», конкретен. Эта «вещность», зримость налицо даже в философской лирике, где поэт счастливо избегает «общих» выражений, стертых фраз.

Большую роль в его поэзии играет интонация. В поэмах он часто меняет ритм, вносит разговорные нотки. Да и стихи его интонационно многоцветны: торжественный тон чередуется с ироническим, проникновенный — с задиристым, язвительным или гневным.

Очень пластичен, акварелен язык его прозы — она у него с запахами, цветом, щедрым переливом оттенков, и с крепким, сочным, свободным диалогом, точными и колоритными речевыми характеристиками.

Писатель и здесь привержен традициям русской классики и народной языковой традиции, и в то же время в стиль его рассказов естественно вплетаются современные, специальные выражения: «по глазомеру нашей зависти», «зрение наше эволюционировало в ориентации на сов и кошек», «уже финиширует вторая неделя августа» («Солнце всходит за Доном»).

Стиль «освежается» и за счет неожиданных, и одновременно точных и броских, словосочетаний, сравнений: «Всюду под ногами трещал и путался прошлогодний вереск, цепкий, как сплетня», дым от костра «выливался на луг, словно молоко из бидона» («Беспокойная ночь»), «поплавок лежал спокойно, словно на стекле прилавка» («Сарычи»).

Манера его повествования сдержанная, без романтической приподнятости, а по ритмике — то раздумчивая, порой сказовая, то разговорная, то внутренне напряженная.

Богатый словарный и интонационный запас позволяет писателю свободно им распоряжаться в интересах наиболее полного осуществления идейно-творческого замысла и формальных задач.

Особого разговора заслуживают стиль, язык грибачевской публицистики.

Это стиль простой и доходчивый.

Но для Н. Грибачева слово — оружие. И писатель старается отточить его, чтобы оно сверкало и разило

наповал, и использует весь арсенал стиливых средств и приемов.

Он добивается впечатляющей броскости, заостренности и необычности речевых оборотов, неожиданности эпитетов и сравнений. В арсенале у него — меткая, к месту примененная поговорка, крепко и смело «закрученная» метафора, свежее и дерзкое определение, клеймящие ассоциации и аллегории, острое слово.

О пророках из «Голоса Америки», не видящих свой собственный завтрашний день, он пишет: «Ощупывая палкой свою дорогу, не зная, что ждет за ближайшим углом,— к чему тшиться показывать дорогу другим?». О затишье в истории: «Бывают периоды в истории, жизни народов, когда время как бы протирает глаза спросонок, топчется на месте...» О грызне между эмигрантами: «Экий кукольный театр на свалке, битва в загробном мире!» О литературе и писателях: «Серпантинные фонтаны формалистического словотворчества», «...на знамени, под которое Вы созываете, невозможно пока что разобрать ничего — ни цвета, совершенно исчезающего в сумерках бесчисленных аллегорий, ни конструктивной цели». О формуле «выбор века»: она пропитывает бытие «как роса, пронизывает, как удар тока».

Остро — и ясно, многомерно — и эмоционально, точно — и красочно.

В путевых дневниках Н. Грибачева часто встречаешь и пластичную деталь, свежий, неожиданный образ: «Закат над ней, (над австралийской пустыней. — Ю. К.) сгорел торжественно, словно по горизонту медленно прошла вереница буддийских монахов в оранжевых одеяниях». «Оранжевый отсвет на иззубренном горизонте потух как-то сразу, словно это была не заря, а пламя дальнего выстрела».

Кроме стиливых, Н. Грибачев в публицистике, литературной критике применяет и такие виды оружия, как жалающий сарказм, четко-логическую последовательность доводов, искусные риторические фигуры, доверительное или гневное обращение к оппоненту, выверенную формулировку, единственно нужную цитату.

Все это обеспечивает его статьям, памфлетам, зарубежным дневникам, литературно-критическим выступлениям максимальную действенность.

А для Н. Грибачева как раз и важна не эффективность, а эффективность высказывания.

Пишущие о Н. Грибачеве обычно недоумевают: «по какому жанровому ведомству зачислить Николая Грибачева, поэта, прозаика, публициста, в равной степени превосходно владеющего всеми родами литературного дела?» А темы?.. Военная, колхозная, международная... Космос — и любовь, подвиг — и рыбалка...

Н. Грибачевым написаны: поэмы, стихи, басни, пародии и подражания, рассказы, новеллы, зарисовки, миниатюры, публицистические статьи и литературно-критические, памфлеты и путевые дневники, статьи-отклики, короткие рецензии, очерки, стихи для детей, сатира, песни... Он не обращался только что разве к жанру романа и к драматургии.

И в рамках одного жанра, например поэгического, есть у него стихи, написанные в одном ключе, а есть совсем не похожие друг на друга.

Однако, при всей многогранности, жанровом разнообразии творчество Н. Грибачева цельно и монолитно. При всей сложности творческого облика писателя — это облик тоже цельный и неделимый. Ибо у всех произведений Н. Грибачева, крупных и малых форм, одни идейные истоки и одна цель, все они одухотворены непреклонной партийностью, преданной любовью к советскому народу, отстоявшейся ненавистью к его врагам, к врагам всего светлого и прогрессивного, объединены постоянством и силой этой любви и ненависти, порождены одним характером — писателя-бойца, сцементированы единым творческим методом — методом социалистического реализма, общими творческими принципами.

Сам писатель объясняет многожанровость своего творчества тем, что его жизнь складывалась «с причудливым многообразием». Но ведь можно жить куда как многообразно и все же писать только стихи или только прозу.

Думается, дело тут в другом — в темпераменте писателя, в наступательной направленности его таланта. Он использует все виды творческого оружия, в том числе и жанры, — в зависимости от обстановки, внутреннего состояния и конкретной цели — при общей, единой, постоянной целеустремленности. По собственному его признанию, все, что он пишет, — «это работа по реализации одних замыслов в разных формах и жанрах».

Почти все жанры в его творчестве роднит еще и оперативность: писатель чаще всего испытывает потребность немедленного, энергичного вмешательства в события, в действительность.

Как это ни парадоксально звучит, но именно цельностью творческого характера Н. Грибачева обусловлено разнообразие жанров, к которым он обращается.

Но все эти формы и жанры объединены не только идейно. Они как бы пронизывают друг друга: поэзия проникает в рассказы, публицистика — в поэзию, поэтический образ, пластичная деталь — в публицистику, рельефная лепка предмета, лица — в путевые заметки, публицистическая заостренность фразы — в прозу. Многое из того, что накоплено Н. Грибачевым как художником, отразилось и в его критических работах.

Порой же один жанр словно продолжается в другом. К примеру, басня «Крот-романист», стихи «Главная тема» (из «Подражания моде») или «Поэт у всевышнего» — это, собственно, развитие литературно-критических выступлений Н. Грибачева.

Я уж не говорю о взаимопроникновении тем в его творчестве.

Нельзя не сказать напоследок, что в любом жанре писателя не покидает тонкая ирония, умный, добродушный юмор.

* * *

Год от года растет мастерство Николая Грибачева, ширится тематический диапазон, разнообразятся жанры, глубже в действительность, в характеры проникает мысль.

А идейно-творческая позиция — тверда и неизменна.

Как вошел он в жизнь и в литературу «по комсомольскому билету», так и прошагал через боевую комсомольскую юность, журналистскую страду, войну, послевоенные трудовые битвы готовым в бой за праведное, народное дело, за мир и прогресс на земле.

Н. Грибачев в одной из статей выразил согласие с мнением, что «каков человек, характер, таково и творчество».

Редко в ком так органично совпадают личность, творчество и общественный темперамент. Редко в ком так счастливо сочетаются писатель, человек, гражда-

нин. Редко кто, при многокрасочности творчества, разнообразии жанров внутренне так собран и целен, наступательно целеустремлен.

На протяжении всей своей жизни, всего творческого пути Николай Грибачев, большой русский советский писатель, был и остается деятельным слугой народа, его атакующим солдатом.

КОНФЛИКТ И СУДЬБЫ

Роман «Судьба», мне думается, — одно из лучших, наиболее сильных произведений народного писателя Узбекистана Ибрагима Рахима.

Роман этот отличается и масштабностью, и многоплановостью, и детальной разработанностью образов, и остротой и жизненностью конфликтов, и какой-то «густотой» стиля, насыщенностью броскими и колоритными деталями и подробностями, реалиями, придающими повествованию максимальную достоверность.

Плотность художественной ткани — немаловажное достоинство «Судьбы», ведь в иных произведениях мы имеем дело с некоторой разреженностью описаний, с излишком пробелов в изображении характеров и среды.

В свое время по воле случая у меня пропала большая часть записей, относящихся к Бухаре, к Бухарской области. А когда я читал «Судьбу», то в памяти моей как бы восстанавливались впечатления от поездок по земле бухарской, и сама Бухара, Газли и Навои того времени представляли передо мной такими, какими и я их тогда видел, — настолько точно и четко нарисовал все Ибрагим Рахим. Я, естественно, в своих поездках не делал открытий, чаще всего «ухватывал» лежащее на поверхности (и новое лишь для меня), и записи мои были обрывочны. А вот роман «Судьба» воссоздавал перед моими глазами цельную картину с выразительными деталями, с живописными специфически бухарскими пейзажами, со всеми достопримечательностями области — я был рад, встретив, например, упоминание о волшебной мастерице Хамро, создававшей чудесные фигурки из глины.

При всей поэтичности, образности стиля романа — он сочен по своим краскам. В отличие, к примеру, от Юлдаша Шамшарова, который в романе «Свет» охот-

ней пользовался акварелью, Ибрагим Рахим пишет маслом, оттого так ярко мазки на его картине.

Бухара в романе как живая, в органичном смешении старины и нови. В память просто врезается, например, описание Ляби-хауза с тутовыми деревьями на берегах, с купающейся ребятней, с гнездом аистов на старом тутовнике.

Картины в романе живописны, образны: «Как он лил, как хлестал, этот ташкентский дождь, а они хохотали, накрывшись одной газетой, и дождь играл на ней, как на барабане», «Ковры маков, накатываясь на пески, полыхали, словно знали, что отпущено им немного. И такие же, как маки, звезды, опускались с неба, и, словно порхая, мерцали на лету низко-низко...»

Детали у Ибрагима Рахима не только красочные (так и мельтешат перед глазами голубые, как газ, штаны бурового мастера Шахаба, в которых он появляется после больницы), но и емкие. Как много, к примеру, говорит такая подробность: герои, закуривая, «спичку зажгли от песка, сидели на скинутых куртках». Нетрудно себе представить, как же раскален песок в пустыне!.. Или вот в Газабаде (псевдоним Газли) герои умываются над прутиком, торчащим из песка. Это — саженец, а каждая капля воды в Газли на вес золота и ни одна не должна пропадать впустую.

Впечатляюще, без искусственного сгущения красок, но и без сусальности, обрисованы в романе труднейшие условия, в которых приходится работать газовикам: разведчикам, бурильщикам, укладчикам труб газопровода. Палящий зной, пустыня, где негде спрятаться от солнца и песка, забивающего глаза, пыльные бури, постоянная жажда при «дефиците» воды... Понстине необходимо обладать немалым мужеством, терпением, а главное, упрямой, облагораживающей героев верой в то, что дело, которое они делают, архиважное, и без их усилий родине не обойтись, чтобы выдержать все это.

И герои романа — газовики — все выдерживают. Они справляются и с пожаром, вспыхнувшим на одной из буровых. Сами они воспринимают свой труд в этих, как теперь говорят, экстремальных условиях, как нечто обычное, даже будничное. Для нас же, читателей, их труд выглядит подвигом. И чем обыденней, прозаичней, что ли, относятся к своим повседневным обязан-

ностям газовики, тем большее ощущение подвижности рождает их работа.

Ибрагим Рахим точно подметил одну из типических, примечательных черт, присущих коллективу, работающему на буровых в пустыне: это большая открытость людей, предельные честность и искренность. Обращаясь к одному из героев (поначалу «слабаку»), Шахаб говорит: «Хиел... Тут пустыня. Тут прятаться некуда. Тут мы все друг друга знаем». Писатель вообще любит изображать такие коллективы, где, как и в пустыне, все и все на виду: солдат на фронте, строителей ГРЭС, колхозных хлопкоробов. Это дает ему возможность рельефней вырисовывать каждый изгиб в характере, каждую трещинку в духовном мире персонажей, жизненный путь которых не прям, и вместе с тем как бы «обнажать» характер, помыслы героев, которым он симпатизирует,— во всей их благородной, светящейся чистоте.

Как светлы, например, отношения лаборантки Раи и неугомонного, озорного, лихого буровика «Колдузкин», хоть описаны они и не без юмора. И как жалок Хиел, который при первом же столкновении с опасностью бежит с буровой куда глаза глядят...

Основу сюжета «Судьбы» составляет, однако, не только героический труд газовиков, напряженные поиски «бесцветного золота», прячущегося от людей глубоко под землей, но и острый, широко развернутый, значительный по своему идейному наполнению конфликт, служащий своеобразной лакмусовой бумажкой, которая выявляет позиции, характеры, побуждения и цели героев.

Сама сущность и содержание этого конфликта показывают, что Ибрагим Рахим изучал данный жизненный материал не визуально, так сказать, со стороны, а изнутри, докапываясь до актуальных проблем большого масштаба, до вопросов, волновавших всех газиков, до коллизий, типичных в определенных ситуациях,— и все это помогло писателю и самому занять четкую принципиальную позицию.

В «Судьбе» сталкиваются позиции и точки зрения представителей различных ведомств, которые, казалось бы, должны были бы действовать в тесном контакте, а на самом деле разобщены, изолированы друг от друга ведомственными перегородками. Это разведчики, «открыватели» газа; добытчики, промысловики;

трубоукладчики, способствующие доставке газа из района освоения во все уголки страны. Надиров, начальник управления, и Бардаш Дадашев, инструктор обкома партии, инженер-газовик, бывший директор буровой конторы, полагают, что «давно пора свести в одни руки и разведку, и освоение промысла, и добычу газа, потому что иной раз труднее согласовать точки зрения на проблему, чем решить ее, а еще труднее мобилизовать силы и средства...» И писатель поддерживает это мнение своих героев, показывая, как мешает всем газовикам разобщенность, «разноподчиненность» газовых хозяйств, делающих-то в сущности одно дело. Думается, эта проблема, поставленная Ибрагимом Рахимом, актуальна и по сей час, когда все насущней и заметней становится «центробежное» стремление к сосредоточению в едином комплексе хозяйственных подразделений с различными функциями, но общей целевой направленностью. Отличный пример тому — территориально-производственное объединение Палского района.

Впрочем, основной конфликт романа определяется не этой проблемой (хотя она и играет тут определенную роль). Перед нами сшибка характеров, позиций, подхода к делу.

Я бы назвал данный конфликт конфликтом «наоборот». Мы как-то привыкли к тому, что если в том или ином произведении, где сюжет зиждется на производственном конфликте, герои — против риска, за трезвое отношение к делу, за точный расчет и фундаментальную подготовку к проведению конкретного мероприятия, то это «перестраховщики», консерваторы, а вот те, кто риска не боится, кто нетерпеливо устремлен к скорейшему внедрению в жизнь важных планов, продиктованных настоятельными запросами страны, — это люди передовые, хотя противники и обзывают их «прожектерами» и «мечтателями».

Жизнь сложнее всех литературных схем. В ней бывает и так, бывает и эдак. И каждый случай требует внимательного, глубокого, объективного рассмотрения и разбора. Зачастую ведь и риск действительно опасен. Риск вообще оправдан лишь тогда, когда опирается на доскональное знание предмета, продуманность каждого предстоящего шага... Творческое дерзание — это отнюдь не синоним лихачества, «лобового», с победным гиканьем, кавалерийского наскока.

В основном конфликте романа «Судьба» силы, ка-

залось бы, расставлены необычно, но необычно лишь для шаблонной схемы. Писатель же исходил из самой жизни, из конкретных наблюдений, сосредоточенных на определенном плацдарме борьбы.

Речь в романе идет вроде бы о частном вопросе: своевременно ли на данном этапе поисков газа глубокое, промышленное бурение.

Но эта «частность» помогает писателю выявить и характеры, и жизненные позиции героев.

Бардаш Дадашев, Шахаб, главный инженер Корабельников и те, кто их поддерживает, — против глубокого бурения в данный момент, когда не закончена еще основательная разведка земных недр. Они считают, и справедливо считают, что не имеют права на неудачу, а удача может прийти лишь в результате тщательной подготовительной работы. Газ есть, но надо его «искать умно, последовательно, а не играть в жмурки». «Втемную бурить нельзя». Глубокое бурение без структурной разведки грозит большими потерями.

Их противники, в первую очередь Надиров, заведующий промышленным отделом обкома Хазратов и некоторые другие, не желают ждать дополнительных данных газоразведки и руководствуются, на первый взгляд, самыми благими побуждениями и целями: газ нужен стране, как можно быстрее начать промышленное бурение — в интересах народа; они ссылаются и на то, что промысловиков «подпирают» трубоукладчики, уже приступившие к сооружению газопровода. Надиров — из тех, кто торопится приблизить будущее, он человек дела, он энергичен и нетерпелив. «Нам предстоит здесь столько пробурить, что если мы будем ждать, пока дядя подскажет, где да как, поседеют волосы у следующего поколения». Вот уж кто не боится риска!

И нелегко с ходу определить — кто же прав. Тем более, что «линия фронта» проходит и через семью Бардаша: его жена, Ягана, заменившая Дадашева на посту директора буровой конторы, в силу некоторых, мотивированных писателем причин, — на стороне Надирова.

Лишь постепенно раскрываются в романе правильность, надежность одного и порочность другого подхода к делу. Выясняется, что Надиров склонен к волевым решениям, полагается лишь на свой опыт, чутье, «нюх», а не на научные предпосылки, он из самых искренних побуждений хочет, «как Чапаев, накрыть газ

одним ударом». Естественный ход событий предопределяет его поражение.

Но этот же ход событий, развитие конфликта «открывают» нам Надирова, как личность яркую, колоритную, с драматичным прошлым, с характером сложным, но в основе своей здоровым. Его торопливость, спешка (вместо подлинных темпов), неоправданный риск осуждаются как явление, а сам Надиров вызывает симпатию. Секретарь обкома Сарваров замечает, что «партийного работника прежде всего отличает бескорыстность», а Надиров как раз бескорыстен, и Бардаш говорит о нем, что он «ничего не хотел для себя... даже славы... Он хотел быстрее дать газ и в спешке мысль заменил волей, организацию — собой, план — непродуманностью, обеспеченный успех — случайным...», Вон вроде сколько собак на него навешано! Можно еще вспомнить, что в помощники себе он старался подбирать людей послушных, которые подчинялись бы ему безоговорочно. А в то же время он человек с истинным деловым размахом и способен увидеть и признать свои ошибки, и в горячности своей может наломать дров, но в горячности же обрушивает свой праведный гнев на Хазратова, пытающегося вбить клин между ним и Дадашевым, и выгоняет его из дома. Всяческие интриги — это не в его характере. «Вы хотели столкнуть нас — меня и Дадашева, — говорит он Хазратову. — Но мы с ним крепкие люди. И боюсь, что между нами вас разотрет. Я готов отвечать за все, как мне это ни горько». И не случайно Дадашев защищает Надирова от обвинений в авантюризме. Бардаш верит в здоровую основу его натуры. И хотя они спорят, конфликтуют, но это никоим образом не враги, и цель ведь у них одна: найти газ, начать его добычу.

Образ Надирова дан писателем во всей его объемности. И хотя Ибрагим Рахим и не прощает герою его ошибок, но и не спешит казнить его.

А вот к Хазратову у него нет снисхождения. Нельзя сказать, что Хазратов однозначен. Он начинал трудовой путь вместе с Бардашем и обладал достаточным опытом руководства для того, чтобы занять ответственный пост в обкоме. Но из года в год в нем усиливалась любовь... к собственной особе. Он живет для себя. В этом основная причина и его приспособленчества (он заранее с тем, кто победит в конфликте), и беспринципности (любой деловой, научный спор он

способен перевести в план непринципиальный), и его стремление к «показухе». Если Надиров прислушивается к критике, то Хазратова она только ранит, обижает, он видит в ней «подсигивание» — потому что сам привык «подсигивать» других. Он закоснел в своем равнодушии к людям, да по существу и к делу, которое ему поручено, и готов потворствовать жуликам, даже пользоваться их услугами. Когда его освобождают от должности в обкоме, он просит — сам просит! — «дать» ему колхоз, но для чего? Меньше всего помышляет он о том, чтобы на менее высоком посту искупить свои ошибки честным, добросовестным трудом, нет, им движет мелкое самолюбие: вот я покажу всем, какой я руководитель!.. А чем оборачиваются его «деяния» в колхозе? Опять-таки пусканием пыли в глаза. Он ничего не понял, не сделал для себя никаких выводов. Он остается, как говорится, у разбитого корыта. И кто же ищет у него поддержки в эти минуты? Плут ишан!.. Только тогда Хазратов начинает, наконец, осознавать, «на какое дно... упал».

В чем-то образ Хазратова, по-своему драматичный, перекликается с образами Султанова и Кадырова из романа Шарафа Рашидова «Могучая волна». Что ж, влияние творчества одного писателя на творчество другого — дело обычное и в данном случае благотворное. Думается, и лирико-публицистические отступления в «Судьбе» — тоже от Шарафа Рашидова. Однако тональность, характер этих отступлений у Ибрагима Рахима — свои. Это писатель четкой самобытности.

МНОГОЦВЕТЬЕ

Меня всегда огорчительно удивляло, что при перечислении поэтов, пришедших в советскую литературу «из войны», редко-редко упоминалось имя Евгения Елисеева.

А ведь у Е. Елисеева талант своеобразный и яркий. Даже еще не видя подписи под его стихами, можно с уверенностью сказать: это — Елисеев. Такая узнаваемость — явление не частое, а причина ее в своеобразии поэтического почерка и в верности поэта самому себе, своей творческой манере, своему кругу тем. Все стихотворные сборники Е. Елисеева сближает привязан-

ность поэта к определенным тематическим мотивам, неповторимая характерность стиля, равнение на есенинские традиции.

Мы вместе учились в Литературном институте, это было золотое время постоянного, открытого, непосредственного творческого общения молодых литераторов. Нам просто не терпелось прочесть друг другу новые, с пылу, с жару, стихи, рассказы, эссе, задиристо обменяться впечатлениями, суждениями, мнениями... И мне помнятся ранние, очень «есенинские» стихи Е. Елисеева, помнится имажинистский образ луны — как серьги в ухе цыганки...

И в его первом сборнике «Березы», увидевшем свет в 1955 году, заметно было внешнее влияние поэтики С. Есенина.

Но уже и тогда, и чем дальше, тем явственней, различим был в стихах Елисеева — сам Елисеев, с собственным жизненным опытом, собственной темой, собственным поэтическим голосом.

Он не был обуреваем особой «охотой к перемене мест», тягой к путешествиям, — хотя мы с ним немало поездили по дорогам Кабардино-Балкарии. Постоянные объекты его «творческих командировок» — это война, фронтное прошлое; леса и раздолья среднероссийской полосы и подмосковный уголок, где он родился и живет до сих пор (теперь, правда, это уже Москва), тот «дощатый городок», который менялся на глазах поэта.

Что и говорить, у него есть отличные стихи о Северном Кавказе, о Грузии, о Коси АССР. Его волнуют и судьбы далеких негров, и будущее Каспия: «Слишком часто бьем в литавры, слишком редко бьем в набат», и многое другое. И все же Е. Елисеев поэт, в основном, двух тем: войны и России, — тем всеохватных, «просторных». Особую же лирическую наполненность и проникновенность стихам Е. Елисеева придает то, что главная роль в них отведена человеку, его участи, мыслям, чувствам: «На земле всего дороже Человек — о нем пою».

В сборнике стихов «Поле перейти» (1975 г.) Е. Елисеев органически продолжил и развил все то, что отличало его прежние книги.

Надо сказать, что хотя поэт всегда сохраняет верность себе, своей интонации, поэзия его вовсе не выглядит однообразной, она как бы поворачивается к нам

все новыми гранями, и все чище тембр, все тоньше и многокрасочней нюансы, все шире диапазон его голоса. И в новых сборниках Е. Елисеева нас ждет встреча и с тем, с чем мы уже знакомы, и с открытиями.

Если попытаться определить тематические мотивы, доминирующие в книге «Поле перейти», то они выстроятся так: Россия. Война. Природа. Любовь. Творчество. Сказка.

Тема России, советской Родины, воплощается у Е. Елисеева не «в лоб», а чаще всего через темы войны, природы, через сказку. Поэт всем своим существом предан России, в ней корни и бытия его, и творчества, и безоглядно веришь ему, когда он пишет:

А по мне за рубежом
очутиться без привычки,
как очнуться под ножом
на столе в анатомичке.

И решительно заявляет: «нас отсюда только с корнем».

Потому он и не в силах забыть время, когда над Родиной нависла черная туча войны, как раз и грозившая «вырвать «нас отсюда... с корнем». Память о войне свежа, как кровоточащая рана, «память махоркой глаза мне ест...»: память о друзьях, вместе с героем, лирическим героем стихов, шагнувших в войну со школьной скамьи, о невозвратных потерях. Все было: смерть и кровь, «ненависть и боль», горькие пожарища, «молотьба» бомбежек и обстрелов, военные «смертельно больные ночи», «койка госпитальная около окна», друг, сгоревший в башне танка... Но хотя поэт и пишет об ужасах войны, и яростное неприятие ее сквозит в каждой строчке,— в рассказе о ней пробивается и какой-то высокий свет. Он возникает, рассеиваясь по сборнику, из глубин души солдата, русского человека, любовно изображенного поэтом. Вот видим мы «наших шалопутов», которые подкармливают пленных немцев: «Те пихают мясо в рот, а кругом хохочут. Удивительный народ — до чего отходчив! Как умеет снести всякую невзгону! Солнышко, посвети русскому народу!». Видим погорельца-танкиста, который с перебитой кистью, с кумачовой чалмой — кровавой повязкой на голове мирно «сидит у плетня и хлебает кулеш». Видим взводного, внешне такого обыденного,— «рот в землянике, в мо-

лочных усах»,— героически павшего на поле брани. И охватывает гордость за советского воина.

Я скажу напрямиком:
чем мы немца воевали?
Только пулей и штыком
одолели бы едва ли.
Одолели правотой,
как говаривал наш ротный,
одолели — добротой,
чистой совестью народной!

Особым светом озаряет стихи о войне мотив возвращения с войны. Возвращение домой,— что бы там ни осталось позади,— уже само по себе событие радостное. Но стихи звучат оптимистично еще и потому, что для поэта возвращение смыкается с возрождением страны, разрушенных врагом городов и сел, души человеческой:

А потянешь носом —
ух ты, гой еси! —
стружкой и тесом
пахнет на Руси.

И хоть огрубели у солдата руки и сердце, и «слишком горько пахнут васильки», которыми его встречают,— а жизнь продолжается, и надо, засучив рукава, работать, и даже ослепший на войне старшина понемногу отогревается, обретает жажду и радость бытия: «Мать-земля сырая! Ведь очнулась душа, чем-то новым до края полна, как дежа».

Мать-земля сырая... Сыновье отношение к родной земле, к природе русской проходит через все творчество Е. Елисеева. С какой нежностью любитесь он ивушкой-ивой, всю душу ему разбередившей, старым вязом, цветиком луговым — дремой, «тополем — деревенским дурачком», дубом «в окладном золоте»,— да если перечислить все травы, цветы, деревья в стихах Е. Елисеева, то перед мысленным взором запестрят, заколышутся густые, разнокронные леса и рощи, богатые свежими красками поля и луга...

Природа существует для поэта, прежде всего, как начало нравственное, он и подчеркивает ее очищающее воздействие. Не случайно в стихотворении «Поют леса»,

этом гимне русскому лесу, поэт так спокойно, не сомневаясь в своей правоте, утверждает:

Весенним полднем
нет места там
ни мыслям подлым
и ни делам.

Он протестует против утилитарного подхода к дарам природы, самым образным строем стихов, поэтизирующих природу, возражает тем, кто сомневается: «нужна ли ветка сирени в космосе», и особенно тем, кто и за сирень, и за флоксы, но — лишь в качестве предмета купли-продажи, когда что ни уродится в саду у «хозяйки-выжиги», — «все на рынок, на весы».

И в прежних своих сборниках Е. Елисеев с горькой иронией писал о лесной тишине, которая, к стыду нашему, «у нас истребляется повсеместно», восхищался своим литературным наставником, который «мог набраться храбрости, пойти бы мог в ЦК, добиться бы сохранности для каждого цветка», скорбел о том, что «реченьку обидели, спустили мазут...»

Немало теплых строк посвятил поэт и «товарищам-зверям», и когда читаешь у него: «Не могу, когда бьют лошадей...», то вспоминается добрая традиция русской литературы, которой отдали дань и Есенин, и Маяковский.

Своим творчеством Е. Елисеев, выражаясь официально, внес весомый вклад в дело защиты окружающей среды.

Высокое и «земное» спорят между собой и в стихах Е. Елисеева о любви. Поэт пишет в основном о любви первой, юношеской, самой чистой, — наверно, потому-то о ней и пишет, что она самая чистая. Он заражает читателя высокой чистотой чувства, трепетного — и постоянного, проносимого через всю жизнь, сильного — и ранимого. И вместе с ним мы испытываем боль, когда по этому чувству бьет пресловутая «проза жизни», — как в «Попутных журавлях», где героиня, такая светлая в памяти лирического героя, дурно повзрослела и «уже с третьего мужа срезает панты», и «устала от Гагры, от модных портних...». Горько, жалко, что романтика любви в прошлом, в юности, — «где оно, то время?» Но так ли это? Ведь сам поэт, навек предан-

ный этой романтике, высоко вздымает на страницах сборника ее знамя — легкое и сквозящее.

В сборнике «Поле перейти» по сравнению с прежними меньше сказочно-фольклорных мотивов. Они всегда были очень характерны и органичны для стиля Е. Елисеева и выступали и как образная суть, и как сюжет стихотворений. Обычно они получали у поэта добродушно-ироническое переосмысление, и, к примеру, Кошей пил у него в холодке мятный чай вприкуску, и потел — нет мочи, и был «в сотне одеж чем-то и очень на деда похож...». Сказку поэт вводил в свои стихи не ради сказки — сказочный край, «край леденцовый», дорог ему тем, что там он «в черной смородине с алою кровью проникся... к Родине первой любовью». За сказкой стояла Россия — как и за всем, о чем бы ни говорил поэт.

Впрочем, разве в сборнике «Поле перейти» не сказочен «чесучовый часовщик» или баба-яга, у которой под крыльцом сторожки «белеет пень вроде курьей пожки»?.. Ан нет, у часовщика-то философско-символическая подоснова, а «баба-яга» оказывается старой солдаткой, горюющей по погибшему мужу. Что-то изменилось в отношении поэта со сказкой, и более сложно теперь переплетаются фольклорные нити с другими, и цвет у них не такой балаганно-броский.

Я разложил темы и тематические мотивы сборника по полочкам — для удобства и наглядности. А на самом деле они представляют собой цельную многоцветную вязь. Тот или иной мотив мелькает в одном стихотворении, преобладает в другом, на равных с другими звучит в третьем. У Е. Елисеева, пожалуй, нет в «чистом виде» стихов о войне или природе, России или любви. Чаще всего в одном стихотворении перепутываются, переходят один в другой, сливаются воедино несколько мотивов, и это придает стихам полифоничность, радужную, перламутровую переливчатость.

Одно из моих любимых стихотворений — «Станция Лось». Я считаю его в творчестве Е. Елисеева программным — не потому, что автор излагает в нем творческое кредо, а потому, что его построение очень показательно для поэзии Е. Елисеева. И недаром это стихотворение переходит из сборника в сборник.

О чем оно?.. О юности, на которую па... а черная тень «общей беды» — войны. О первой любви. О возвращении солдата домой после тяжелой разлуки с отчим угол-

ком — обобщенно-конкретным, с почти сказочным дубом в саду, который поэт называет, как родного: «дедушка», «старина-старинушка». О стоящих над дачами мире и тишине, за которые «заплачена страшная цена». И о главном: о Родине, встретившей поэта бесценной улыбкой. И этот многоцветный, ясный, цельный поэтический рассказ завершается ударной концовкой, естественно вытекающей из всего предыдущего:

Все ли муки пройдены
или будут впредь —
за улыбку родины
можно умереть.

В сборнике «Поле перейти» привлекают стихи и об искусстве, о творчестве. От художника-творца поэт ждет и требует «больше риску, исканья». И еще: способности по-своему, в образах, видеть окружающую действительность, где все «в догадках», которые каждый «уточняет» в меру своей самобытности, темперамента, обостренности зрения и художественного наития:

Пень в поганках?
А, по-моему, Кижил
Малиновый татарник
и шубка шмеля?
Мюрид и напарник
имама Шамиля!

Ассоциативное мышление свойственно каждому поэту. У Елисеева же красочность и пластичность изображения стали плотью его творчества, и применительно к его поэзии выражение «живопись словом» — это не дежурная фраза. Ведь он, кроме того что поэт, еще и живописец, рисовальщик, — пусть не профессионал, но картины его выставлялись, репродукции их публиковались в журналах; некоторые украсили и сборник «Поле перейти», и многое добавляют к его стихам, на которых явно сказалось тяготение поэта к живописи. В них часто встречаются зарисовки, детали именно живописного плана: «реактивный росчерк-стрижка над рекой», «и грозы безмолвной японская тушь: иероглифы молний на слитках туч», «метались по небу прожекторы берез»... Кстати, на одной из репродукций сборника

образ этот как бы переиначен «от обратного»: тут лучи прожекторов — как белые стволы берез.

Но образ у Е. Елисеева не только пластичен, «зрим», но и многомерен — потому что многомерна сама основа образа: слово. Возможно, ревнителям стилистической прямолинейности елисеевская «игра словом» покажется самоцелью. Поэт, однако, старается проникнуть в скрытый смысл слов, расковать привычное, повседневное, как можно глубже вскрыть языковой пласт, показав, что он куда богаче, чем видится спервоначалу. Для него священны «ЖИВАГО языка артезианские глубины», и он стремится до них докопаться — не замутив их прозрачности. Да, он любит «поиграть» словом, рифмой, ритмом, стихи его насыщены и каламбурами, и усложненными ассоциациями, и неожиданными созвучиями, и «словосбоями», парадоксальным столкновением вроде бы и не соответствующих друг другу слов и образов («поглядишь — пень пнем, а вблизи Пном-Пень»). Но все это существует у него не само по себе, а во имя более полного раскрытия смысла стихотворения, оттенков темы, авторского отношения к изображаемому. Все это создает переливчатость, многобликовость стиха, поддразнивает, будит воображение читателя, «ведет за собой» читательские эмоции. Свежи и многозначны поэтические находки Е. Елисеева, — у него не просто зной августа, а «августейший зной», и «бабки ситцевые, в горошек, как божьи коровки, в церковь ползли», и «паутинкой варенья сладко тянется время, длинный розовый миг», и «прохожих дергает за нитки бродячий кукольник — дождь», а в Соловках — «малиновым звоном чертополох церквей». Приглядимся к последней цитате: тут и перекличка звука (малиновый звон) и цвета (чертополох-то тоже малиновый), и антирелигиозный выпад, и авторское восхищение увиденным. Поэт вскрывает всю смысловую наполненность слов в их сочетании и как бы «уяряет» их внешнюю окраску.

А как выразительны — в своей переливчатости и многозначности — строфы стихотворения «Время черных кошек»:

Вот уж день будущий
дышит предо мной,
свой, не из булочной,
свежий, заварной!

С духом жита сытного,
не жмыхи, не жом...
А я на друга ситного
замахнусь ножом?

Немного небо куксится,
но я вперед смотрю:
уже проснулась кузница,
а в ней куют зарю...

По-настоящему оценить эти строки можно, конечно, лишь в контексте всего стихотворения. Но как здесь зрим, звонко, даже духовит грядущий день! День, который ты творишь, куешь своими руками. Добротный, полноценный. И поскольку ассоциируется он с житом, с хлебом, то как правомерна тут идиома «друг ситный».

Е. Елисеев не столько колдует над словом, сколько расколдовывает его. Внимание к слову, поиск слова редко употребляющегося («дежа», «жом» и т. д.) всегда были ему присущи, но с таким страстным усердием, как теперь, он еще в языковую руду не врбался.

«Расковывание» слова, выявление его многозначности, многосмысловости помогают и рождению юмористической или иронической интонации, без которых Елисеев — не Елисеев. Ирония у него порой желчная, порой прячет в себе нежность или иное сокровенное чувство, — это ирония «самообороны», порой переходит в подшучиванье над самим собой, а то и просто в добродушную или озорную шутку. Невольно улыбаешься, читая такие строки о лебедях: «Надо к ним обращаться: «Товарищи звери!» Или просто им крикнуть: «Здорово, орлы!».

В сущности своей поэзия Е. Елисеева и усмешливая и добрая, отзывчивая, сочувственная.

Е. Елисеев один из немногих в нашей поэзии, кто ведет есенинскую «линию», не идя у нее на поводу. Как-то он заметил, что Есенин особенно дорог ему умением оживлять мертвое. Это свойство творчества и самого Елисеева, и в одухотворении мертвого, недвижимого, в одушевлении, очеловечивании природы он проявляет буйную щедрость. У него в стихах все живет, дышит, чувствует, мыслит, разговаривает, радуется и мучается, беседует с поэтом: деревья, одуванчики, бузина. — Золушка, к которой едет свататься майский денек, шмели, «огнепоклонники-мотыльки», комары, зате-

вающие плясовую, муравьи — «очень отчаянный и великий народ»... Поэт обращается, как к живым, и к тропке, и к краскам, у него и миг живой, — «мы его поймали в сачок из марли», и снег «идет, как зверь, без пути-дороги», и повсюду у него окроплена живой водой поэзии — тишина, то таинственная, мохнатая, как чудные какое, то свойская, какую можно «за уши брать», то гибнущая — «лежит с проломленным черепом бездыханная тишина». До этого, значит, жила, дышала...

Иногда образы природы вырастают в развернутые символы, аллегории, и перед нами люди со своими характерами и судьбами: дядя Леша, стойкий и выносливый, словно кипрей — иван-чай, растущий по лесным пожарищам, девочки-неразумницы — «черемухи-дурочки» с искалеченными жизнями...

Е. Елисеев, конечно же, поэт-лирик. Но он не чуждается и эпоса, его стихи населены людьми, и у каждого своя колоритная речь, свой нрав, свои «особинки» — как у старшины Афона и его сестры Любы («День черный»), кровельщика Ильи («Ильин день»), погибшего Сергея («Снежные фанфары»), того же дяди Леша из «Кипрея», Левки Пыжова («Черемуха-дурочка»), Вики, Райки, Нонны («Калитка в рай», «Снежные фанфары»), учителей Андерваса и Марь Васильны — сквозных персонажей многих стихов и т. д. Более того, мне кажется, что от разрозненных стихов, объединенных общим настроением, жизневидением и жизнеощущением, общими художественными особенностями, Е. Елисеев идет к цельности сюжетной, и в «Поле переищи» некоторые стихотворения выглядят как бы главами из большой поэмы, пространными фрагментами, которые роднят и тема, и сюжетные повторы, и некоторые герои, и особая ритмическая стихия.

Сборник «Поле переищи» — наиболее цельный из всех, созданных поэтом до 1975 года. Позднее появились и другие — «Ночное», «Петушиное слово», «Лосинный остров», и от книги к книге ошутимо росло мастерство поэта. Ныне Евгений Елисеев — один из зрелых и самобытных советских стихотворцев военного поколения.

Е. Елисеев часто выступает и как переводчик произведений поэтов наших братских республик. Многие известные национальные поэты имеют все основания быть благодарными Е. Елисееву: он один из первых познакомил русского читателя с творчеством балкарна

К. Кулиева, абхазцев И. Тарбы и К. Ломиа, азербайджанца Наби Хазри, грузина М. Квливидзе, кумыка Аткая и других. В последнее время вышли в свет целиком в его переводах сборники стихов молдаванина П. Крученко «Ясность», осетина Х. Дзаболова «Дело и слово», азербайджанца М. Фаика «Крик птиц». В переводческой работе Е. Елисеева отчетливо проявляется его поэтическая индивидуальность, и это естественно и закономерно, ибо безликий переводчик — это переводчик средний...

О ДЕЛАХ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ

В моем скромном творческом багаже имеются переводы — на русский язык — романов, повестей, рассказов, стихов узбекских писателей, и потому меня часто ставят в тупик сакраментальным вопросом:

— Значит, вы знаете узбекский язык?

Нет, не знаю.

И тут возникает злополучная проблема подстрочника, которую мы давно теоретически решаем, а практически все никак не можем решить.

Все согласны с тем, что перевод с подстрочника — зло. Правда, молчаливо признается, что, переводя на русский язык с языков братских народов поэзию, без подстрочника долго еще не обойтись. А вот переводчикам национальной прозы пора отказаться от подстрочника.

И все-таки до сих пор на титульных листах или в конце произведений прозаиков братских республик, не убывая, красуются фамилии русских переводчиков, не знающих языка, с которого они переводят.

И, видно, ничего с этим пока не поделаешь.

Чтобы понять, как, почему и когда получил такое распространение подстрочник, то есть торопливый, сырой, но более или менее точный перевод с того или иного национального языка, попробуем хоть бегло рассмотреть, так сказать, историю вопроса.

Если до войны советские национальные литературы, особенно проза, в таких наших республиках, как среднеазиатские, как Казахстан, Киргизия, Азербайджан, во многих автономных республиках переживали период становления, то в послевоенное время началось бурное их развитие. Возмужали творчески целые писатель-

ские поколения, стало появляться все больше произведений, достойных выхода к всесоюзному читателю, через перевод на русский язык.

А переводческих кадров в общем-то не было. Русских литераторов, которые хотели бы стать именно переводчиками, не учили национальным языкам. От попыток заниматься языковым самообразованием проку было мало: не хватало соответствующих учебников, словарей. А переводчики — узбеки, или казахи, или представители других республик, владевшие русским языком, знали его слабо и в крайнем случае могли переводить с русского на родной язык, а не наоборот.

Время же не ждало. И широкий читатель хотел ближе познакомиться с достижениями братских литератур и таким образом глубже, лучше узнать жизнь братских республик, и молодые литературы достаточно уже созрели для того, чтобы влиться в общесоветский литературный поток. Межнациональные культурные связи не могли укрепляться без взаимобмена культурными ценностями. Литературное взаимодействие, например, нельзя было бы назвать полным, если бы переводились только произведения русских советских писателей на национальные языки, а произведения братских писателей не выходили бы за пределы собственных республик. И о взаимном обогащении литератур в этом случае не могло бы идти речи. Сама жизнь требовала: больше произведений национальных литераторов переводить на русский язык, который тогда уже служил могучим средством контактов между советскими нациями.

И на помощь пришли русские писатели. Среди них были представители всех жанров: прозы, поэзии, драматургии, литературной критики, кроме одного — переводческого. Они, естественно, не знали национальных языков, а изучать эти языки было уже, что там говорить, поздно. Практикой доказано, что чужой язык хорошо, органично, надолго усваивается лишь тогда, когда изучается с детства.

Мне думается, национальные литераторы, в частности, прозаики братских республик, не могут испытывать иного чувства, кроме признательности, к таким блестящим переводчикам, отложившим в сторону работу над собственными произведениями, как К. Горбунов, П. Садовский, В. Василевский, А. Пантелеев, В. Лукашевич и другие. К ним позднее присоединились Ю. Ка-

заков, Л. Ференчук, Д. Холендро — всех и не перечислишь. К переводческому делу подключились и литературные критики З. Кедрина, Ю. Суровцев, В. Турбина, В. Панкина...

У всех, уверяю, хватало собственных забот, но все понимали, что кто-то же должен заниматься переводами, и свои литературные способности, свое время, энергию посвятили служению благородной миссии — ознакомлению всесоюзного читателя с литературами братских республик.

Можно, конечно, пространно рассуждать о подстрочнике: нужен он или нет, правомерен или порочен по своей сути, как, какими путями добиться такого положения, когда этот вопрос вообще будет снят с повестки дня.

Но у тех русских писателей, которые приобщились к переводческой работе, не было иного выхода, как перевести произведения национальных писателей на русский язык с помощью подстрочника. И хвала подстрочнику, коль он сыграл такую важную, благотворную, решающую роль во взаимопомощи, взаимовлиянии, взаимообогащении наших братских литератур.

И все же литераторам, переводящим с подстрочника и не являющимся собственно переводчиками, часто задают вопрос: а как же передать стиль, специфические особенности того или иного произведения национального автора без знания соответствующего языка?

Не буду теоретизировать на этот счет — поделюсь собственным опытом, накопленным — страшно сказать — уже за десятилетия...

Отмечу сразу, что хороший подстрочник все же дает какое-то представление об особенностях авторского стиля, авторской манеры письма. Лично я предпочитаю подстрочник сырой, но точный — гладкому, «залитературенному». Последний отгораживает от меня автора.

Но, конечно, незнание языка, с которого переводить, надо как-то компенсировать.

Восполнить этот пробел, хоть в какой-то мере, помогает переводчику знание той действительности, которая изображена в переводимом произведении. Надо знать историю, сегодняшнюю жизнь, быт, национальную специфику, литературу республики, с писателями которой ты знакомишь русского, а через русский язык и всесоюзного читателя. Надо увидеть ее природу, подышать, если можно так выразиться, ее колоритом.

Уверен, Д. Холендро так мастерски и вдохновенно перевел роман Ибрагима Рахима «Судьба» не только потому, что талантлив, но и потому, что он хорошо знаком с жизнью Узбекистана — в ее «подробинках» и «особинках» — и с самим Ибрагимом Рахимом, любит землю узбекскую и «зажигается» теми произведениями, которые переводит.

Когда я переводил роман Ибрагима Рахима «Трудные экзамены», то вместе с автором ездил на Сырдарьинскую ГРЭС, беседовал с прототипами его героев, старался осмотреть и изучить все, что можно, хотя в общем-то и энергетическое дело не было для меня открытием (я когда-то работал в выездной редакции «Комсомольской правды» на Днепрострое), и Узбекистан к тому времени я уже успел и узнать, и полюбить.

В романе Юлдаша Шамшарова «Свет», который я взялся переводить, многое было для меня «узнаваемым». Правда, события, описанные в романе, удалены от нас во времени, но намаганские пейзажи, то, что осталось от узбекского быта прошлых лет, я видел своими глазами, а о том, что происходило на намаганской земле в двадцатые-тридцатые годы, и читал, и слышал от очевидцев. Все это облегчало для меня решение сложной задачи — передать на русском языке специфику, национальные особенности жизни героев романа.

В работе над переводом романа С. Караматова «Золотые пески» мне ощутимо помогло то обстоятельство, что я уже кое-что знал о работе золотонкателей и золотодобытчиков Узбекистана и побывал в местах, где «золото роют в горах»...

О том, удавались или не удавались мне переводы, судить, конечно, не мне, а читателю. Но я всегда получал большое удовлетворение от самого процесса работы над переводами произведений узбекских писателей, потому что как бы заново, хоть и адекватно, воссоздавал — на русском языке — жизнь той республики, к которой прикипел сердцем.

Между прочим, отличных русских переводчиков дали сами республики — вспомним С. Бородину в Узбекистане, М. Киреева в Кабардино-Балкарии, из ныне здравствующих — Б. Пармузина, А. Бендера и др. Это не случайно: если уж кому из русских писателей (все-таки опять — писателей, а не «чистых» переводчиков) и кровно близка, досконально знакома жизнь

братской республики, так это тем, кто живет в этой республике.

Если говорить о переводах произведений национальных писателей, находящихся в добром здравии и свободно владеющих русским языком, то весьма полезно работать в тесном творческом контакте с автором, который, конечно же, лучше других разбирается в материале, положенном в основу произведения, и знает особенности своего стиля. Я, например, когда берусь за перевод той или иной книги, не боюсь обременять автора длинным списком вопросов — по подстрочнику, а когда мы встречаемся, то вместе сидим над рукописью, уточняем неясные места, добиваемся, чтобы роман или повесть в русском издании были совершеннее, чем в оригинале.

Для меня в этом плане хрестоматийный пример — работа Л. Соболева над переводом романа М. Ауэзова «Абай». «Абай» на русском языке — великолепный плод творческого содружества, взаимопонимания выдающихся русского и казахского писателей.

Казахского языка Л. Соболев не знал.

Говорят, что при незнании языка оригинала перевод получается все же неточным.

Возможно. Но вот Н. Ивашев, всегда горячо выступавший против переводов с подстрочника, один из романов Айбека перевел «с языка», и «Правда» признала этот перевод слабым. На мой взгляд, далек от совершенства, а значит, и неточен перевод романа Ибрагима Рахима «Настоящая любовь», выполненный тем же Н. Ивашевым, — недаром же этот роман на русском языке больше не переиздавался.

Дело, значит, не столько в том, с чего переводить — «с языка» или с подстрочника, сколько в мастерстве переводчика, в той мере усердия, добросовестности, тщания, какие вложил он в свою работу.

Недавно мне в руки попались два издания рассказов Э. По. Рассказы в них были даны в разных переводах. Уж кого нельзя упрекнуть в незнании языка оригинала, так это переводчиков с иностранных языков. В данном случае оба переводчика отлично знали английский язык и обладали в достаточной степени литературным профессионализмом. Я сравнил переводы одних и тех же рассказов — боже, какой там царил разницей!..

Выходит, переводы были неточными? А не принять

ли за неоспоримую истину, что в переводческом деле многое зависит от индивидуальности переводчика и от того, каких принципов перевода он придерживается?

Но вернемся к переводам с подстрочника.

Я говорил об обязательности знания переводчиком жизни той республики, с которой он связал себя как переводчик. Действительность всех республик глубоко не изучишь, потому, на мой взгляд, правомерна «прикрепленность» русского писателя-переводчика к одной, от силы к двум братским республикам. И мне трудно понять переводчиков «всеядных», сегодня набрасывающихся на подстрочник с латышского, завтра — с узбекского, послезавтра — с грузинского языков.

Но еще более удивляет меня, когда переводчик не удосуживается даже побывать на родной земле автора, которого он переводит, и знаком с автором лишь по переписке. Представляю, какие трудности приходится ему преодолевать, не говоря уже о результатах работы.

Все-таки куда легче переводить произведение автора, которого ты близко и хорошо знаешь как в творческом, так и в личном плане. Мне, к примеру, многое открыло в Юлдаше Шамшарове личное общение с ним. И, в частности, его признание в любви к тургеневской прозе...

А переводить, так сказать, на расстоянии — нет, по-моему, задачи неблагоприятней.

Роман каракалпакского писателя Т. Каипбергенова «Дочь каракалпака» выходил в свет в двух переводах: прекрасной писательницы В. Герасимовой, ни разу не выезжавшей из Москвы в Каракалпакию, знакомой с автором только по подстрочнику его романа, и Г. Марьяшовского, живущего в Узбекистане, часто посещавшего Каракалпакию, лично знающего Т. Каипбергенова. Я безоговорочно отдаю предпочтение переводу Г. Марьяшовского, сумевшему передать и экспрессивную манеру авторского письма, и густую образность его речи, и национальный колорит содержания романа. В. Герасимова же, стремясь к лаконизму, свойственному ей самой как рассказчице, убрала из текста все народные выражения, каракалпакские пословицы, поговорки, страницы, насыщенные образностью, бытовые картинки, то есть, по существу, отжала из романа национальные соки. Может, ей все это было трудно перевести без знания каракалпакской действительности, без

общения с автором?.. Так или иначе, а в переводе В. Герасимовой осталось, собственно, лишь суховатое, обескровленное изложение событий и судеб, которым посвящен роман. Это не перевод, а пересказ произведения. И поскольку сокращения производились в самом тексте, а не «вынимались» целиком эпизоды, мотивы, которые, по мнению переводчика, отягощали сюжет, то оказались утерянными, вместе с национальным колоритом, и авторский стиль, и сама правда жизни каракалпаков того времени, о котором идет речь в романе. Я уверен, если бы писательница побывала в Каракалпакии, то полюбила бы эту землю и ее людей, и многое из того, что сейчас беспощадно вычеркнуто из «Дочери Каракалпака», она бережно сохранила бы...

Оба перевода делались по подстрочнику, но как же они различны по качеству, по самому подходу и к переводческой работе, и к переводимому произведению.

Конечно, придет время, когда сама жизнь отменит подстрочник, и мы перестанем ломать копыя вокруг «проблемы подстрочника», а будем читать превосходные переводы только с языка оригинала.

Для этого необходимо более активно воспитывать переводческие кадры, имея целью идеальный вариант: чтобы переводами занимались литераторы, владеющие языком, с которого они переводят, и отлично, глубоко, во всем богатстве и всех нюансах, знающие родной язык.

Потому что, по моему глубокому убеждению, переводить надо с чужого языка на родной, а не наоборот. Переводчик должен чувствовать себя легко, свободно, уверенно прежде всего в родной языковой стихии.

Я не хочу обижать литераторов, переводящих с родного, национального языка на чужой, русский. Но сколько можно вспомнить и привести примеров, когда к переводчику из местных, национальных кадров, уже после того, как он завершал работу над переводом того или иного произведения на русский язык, приходилось прикреплять, в качестве переводчика-соавтора, русского литератора, и тот доводил «до кондиции» вроде бы готовый перевод, на самом деле представляющий из себя лишь добротный, литературно-грамотный подстрочник.

Позитивным исключением может служить переводческая работа ташкентского писателя М. Мирзамухамедова. Но это особый случай: узбек по национально-

сти, М. Мирзамухамедов свободно владеет и узбекским, и русским языками и сам пишет на русском. Он переводит с родного на второй родной язык.

Автор одной из статей о переводах безоговорочно утверждал, что чуваш, например, способен изучить русский язык «до тонкостей», а русские чувашский — нет.

Утверждение хоть и безоговорочное, тем не менее безосновательное.

Но дело даже не в этом.

«До тонкостей», то есть в совершенстве, необходимо владеть языком, на который переводишь, — только тогда твой перевод будет воспринят читателем как нечто цельное, естественное, словно дыхание; как художественное произведение, написанное на родном языке. Пусть даже переводчик не ухватит все нюансы («тонкости») подлинника, — важно, чтобы он их почувствовал и передал на добротном родном языке. В этом случае, кстати, тоже желательно, кроме знания языка той или иной нации, заинтересованное знание жизни, быта, истории этой нации и творческое общение с автором — если это возможно.

Изучить «до тонкостей» чужой язык — это еще полдела. Куда важнее для переводчика хорошо знать родной. И разве плохие, бесталанные переводы с языка оригинала — менее редкое явление, чем плохие, бесталанные переводы с подстрочника?

Чужой язык, узнаваемый тобой, это для тебя — как новый пейзаж. И любой профессионал-литератор, конечно, в силах ярко, свежо и точно — на своем родном языке — выразить впечатление от этого пейзажа.

Воспитание переводческих кадров в республиках — благое дело. Пусть от года к году все больше появляется узбекских, казахских, азербайджанских и других национальных литераторов, которые бы в совершенстве познали искусство перевода с русского — на свои родные языки.

Но если иметь в виду переводы на русский язык, то тут важно, чтобы русские литераторы владели национальными языками.

Пушкин знал французский язык не хуже родного, даже писал на нем, переводил же, однако, не с русского на французский, а с французского на русский.

Но что рассуждать о том, как все будет или должно быть когда-то?

Пока на практике мы вынуждены мириться с переводами с подстрочника.

Подчеркиваю: вынуждены, поскольку я вовсе не стою на точке зрения известного французского драматурга и критика Ж. Ф. Лагарпа, который писал «Вовсе не нужно знать язык, чтобы с него переводить. Хороший лексикон и ум — вот все, что требуется для этого».

И спорить надо не о том, правомочно или нет существование подстрочника (все согласны с тем, что это временное явление), а о технологии самого перевода, пусть даже с подстрочника, о многих нерешенных вопросах в переводческом деле.

Как, например, следует переводить на русский язык ломаную речь русского персонажа, говорящего, к примеру, по-узбекски в произведении узбекского писателя?

Или можно ли при переводе произведения национального автора на русский язык использовать чисто русские речения, выражения, поговорки и пословицы, идиомы? На мой взгляд, не только можно, но порой и необходимо. Например, если переводится произведение, где используется народная лексика, то и в переводе соответствовать ей будет лишь лексика тоже народная. Русская народная. Иначе перевод следует признать не идентичным, с привнесенной в него экзотикой (в виде национальных лексических фольклорных элементов), которая отсутствовала в оригинале, — ведь для национального читателя этот языковой фольклор не звучал как нечто экзотическое, чужеродное.

Но если даже и оставлять в переведенном произведении языковую экзотику, то в каком объеме? Какие, например, поговорки предлагать читателю в их национальном звучании, а какие заменять адекватными русскими?

И делать ли сноски, когда встречается национальная бытовая терминология? С. Бородин, например, считал, что сноски отдают наукообразностью, «портят» внешний вид страниц и надо давать толкование того или иного бытового термина в самом тексте. По моему мнению, некоторые термины объяснять вообще не нужно, поскольку они или понятны в данном контексте, или уже в какой-то мере усвоены русским языком. Московские издательства требуют от меня как переводчика, чтобы я делал примечания к таким узбекским словам, как «аксакал», «дувал» и даже «туган» или «саксаул»,

«джиды», хотя часть таких слов вошла уже в общесоветский лексикон, а другую часть вообще можно найти в «Словаре русского языка».

Нельзя требовать от переводчика и точной передачи национальной образной системы произведения. Ведь там могут встретиться образы, чуждые складу мышления русского читателя; и если для соплеменников автора они выглядят естественно, то для нас, русских, это опять-таки экзотика. И, значит, точный перевод в принципе будет неэквивалентным. То есть у русского читателя возникает иное восприятие текста данного произведения, чем у читателя национального.

А правомерны ли при переводе отступления от авторского текста, и какова может и должна быть мера таких отступлений?

Оказывается, еще Петр I писал, что «дабы внятнее переводить, надлежит речь от речи хранить в переводе, но, точию сие вразумив, на свой язык так писать, как внятнее». Тут заранее предполагается отличие перевода от оригинала.

Дидро же декларировал по сути принцип вольного перевода: «Я прочитал книгу два раза, проникся ее духом, потом закрыл и стал переводить». Один известный русский писатель-переводчик говорил мне примерно то же самое: «Я внимательно читаю страницу подстрочника, откладываю ее и принимаюсь за перевод». Естественно, в таких случаях отклонений от оригинала — не избежать.

В печати часто ведутся дискуссии по проблемам перевода. И если одни их участники стоят на той точке зрения, что для переводчика важнее всего передать дух, а не букву оригинала, то другие, в основном, высказывают в уже переведенных произведениях «отсебятину» и решительно против таковой выступают.

И часто тут происходит путаница — оттого, что не принимается во внимание один существенный факт: воля самого автора — естественно, здравствующего автора, живущего не где-то в Тьмутаракани, а на нашей советской земле.

Мне кажутся несостоятельными попытки чуть ли не вето наложить на переработку авторами своих произведений при подготовке их к изданию на русском языке. Почему автор не имеет права рассматривать русское издание своего произведения как переиздание до-

полненное и улучшенное? Но тогда он вправе вносить в первоначальный текст изменения, порой достаточно серьезные, и зачастую — подсказанные переводчиком.

Я, конечно, понимаю, что в моих высказываниях — немало спорного. Это и естественно: ведь многие вопросы, касающиеся переводческого дела, далеко еще не решены.

Что ж, будем спорить, искать правильные решения, искать истину, которая, как известно, и рождается в спорах.

ЛОЖНАЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ

НЕОБХОДИМАЯ ВВОДКА

Статья «Ложная значительность» написана мною давно — после окончания Литературного института, в конце сороковых годов.

Немало за это время было, по отношению к творчеству и личности Бориса Пастернака, колебаний критического барометра. Ныне страсти вроде улеглись... И все же критический хоровод вокруг этого поэта родил нездоровый интерес к его творчеству, душок обывательской сенсации...

Хорошо об этом сказано в дневниковых заметках известного азербайджанского писателя Мехти Гусейна, опубликованных несколько лет назад: «...именно в эти дни вышли большими тиражами сборники стихов Бориса Пастернака и Марины Цветаевой... когда я вернулся с приобретенными книгами в гостиницу, один из моих друзей, увидев у меня в руках еще пахнувший типографской краской сборник стихов Пастернака, глаза вытаращил: «Как, Пастернака издали?». Я протянул ему книги: «Хочешь, подарю?». Он не верил своим ушам, пришлось повторить: «Бери, дарю, не такая уж это библиографическая редкость!». Оцепенение постепенно сходило с него, а мне было смешно на него смотреть. В сборнике почти нет стихотворений, которые были бы мне не знакомы. В моей домашней библиотеке есть книга стихов Пастернака, изданная в тридцатых годах, в нее вошли вещи и посильней опубликованных в последнем сборнике. Почему выход в свет этого сборника произвел в некоторых читательских кругах такой фурор?.. Ей-богу, забавны люди, фрондерским шепотком, как о чем-то

тайном, говорящие о широко и давно известных стихах Пастернака».

А далее он очень верно, на мой взгляд, говорит о раздутой славе таких в общем-то больших и интересных поэтов, как Пастернак и Цветаева. О том, что рафинированный обыватель создал миф об их гениальности, «обесценивая слово «гениальность», — мерило наивысшего умения писателя выразить в своем творчестве душу своего народа, дух времени».

Мне думается, что у иных, особенно у молодых, литераторов до сих пор существует некритическое отношение к поэзии Бориса Пастернака. Именно к его поэзии. Насчет «Доктора Жеваго» вроде бы выработалось общее мнение: роман идейно-порочный и слабый в художественном отношении. Восторги расточают, в основном, те, кто этого романа не только не читал, но и в глаза не видел. А вот поэзия Б. Пастернака... У нее есть безоговорочные поклонники, слепые раздражители — плохо как раз то, что «безоговорочные» и «слепые», не дающие себе труда разобраться в этой поэзии по существу. А поэзия Б. Пастернака — довольно сложное явление.

В силу этого моя статья, может быть, представит для читателя какой-то интерес как объективная (хотя и не без доли молодой наивности) попытка рассмотреть истоки и эволюцию творчества Бориса Пастернака, поэта, повторяю, большого, но достаточно противоречивого.

Мне не хотелось эту статью модернизировать, подновлять, подстраивать под сегодняшний день, я не меняю в ней почти ни слова, — пусть уж она останется такой, как когда-то написалась, и да простит мне читатель и некоторый схематизм, и наивную запальчивость... Вот только последнюю главку я счел необходимым «обратить» к современности, ибо и сейчас актуальна проблема «ложной значительности» в поэзии, и доныне Б. Пастернак способен «попутать» молодых поэтов, а это — при слепом следовании его поэтической манере — не лишком-то благоприятно сказывается на их творчестве, уводит их от самих себя и от большого разговора «о времени и о себе».

Впрочем, это я попробую доказать ниже...

А пока — моя точка зрения на поэзию Б. Пастернака, существенно не изменившаяся и до сего дня.

Приведу под занавес лишь еще одну цитату о Б. Пастернаке из М. Цветаевой, чтобы было ясно, с каким отношением к этому поэту я спорю: «Пастернак —

поэт наибольшей пронзаемости, следовательно — пронзительности... Пастернак—это сплошное настежь: глаза, поздри, уши, губы, руки. До него ничего не было. Все двери с петли: в Жизнь!.. Любимец богов!.. Пастернак: растрата. Истекание светом. Неиссякаемое истекание светом...».

Захлебывание?.. М. Цветаева этого и не скрывает.

КОЛДУН

Пожалуй, сторонников у Бориса Пастернака все-таки больше, чем противников.

Даже читателя, плохо понимающего его стихи, слабо разбирающегося в его образной системе, ошеломляет, интригует и завораживает вдохновенное пастернаковское бормотанье.

Пастернак — «всесильный бог деталей», мастер поэтической строки. Почти каждая его строка останавливает внимание, удивляет, но часто именно строка, а не стихи в целом. Но, как известно, одних строк, пусть даже ярких, крепких, неожиданных, для выражения поэтической мысли недостаточно. Стихотворение — это не просто «полное собрание блестящих строк».

Правда, Пастернак мастерски переплетает, перемешивает эти строки. Необычные сочетания слов, калейдоскоп непривычных, «внезапных», как молния, образов и деталей — всё это захлестывает, увлекает. Шаманит человек, — и не всегда даже понимаешь, о чем он говорит (а иногда просто не дослышишь), — но слушаешь, затаив дыхание. Во всяком случае, создается впечатление, что поэт рассказывает о чем-то важном, интересном, насущном и значительном. Еще ничего не понятно и не разгадано, стихи кажутся колдовством, — но они нравятся и волнуют, и ты уже многого от них ждешь.

В чем же секрет успеха?

По-видимому, в методе Б. Пастернака.

ПОПЫТКА РАЗОБРАТЬСЯ В МЕТОДЕ

Трудно уловить сущность метода Б. Пастернака. Поэтому всякое определение этого метода приблизительно и условно.

О Пастернаке часто говорили как о поэте-импрессионисте: это поэт впечатления, намек, набросок, нюанса, поэт случайных, отдаленных ассоциаций.

И чем случайней, тем вернее
Стихи слагаются навзрыд.

— уверял когда-то сам Пастернак.

Для него характерен крайний субъективизм образов. При определенном душевном настрое он видит в явлении, вещи определенные тона, оттенки, детали. Описание этих деталей и оттенков как бы закрепляет настроенное момента.

Пастернак более зорек, чем многие. Он подмечает в предмете такие стороны, каких мы не можем «узреть» даже тогда, когда он укажет на них, раскроет их перед нами. Чтобы увидеть «грохочущую слякоть», которая «весною черною горит», или рассвет, серый, «как спор в кустах, как говор арестантов», или руду, орущую «перед всем амфитеатром от боли, страха и стыда», — нужно очутиться на месте поэта в том же настроении и при тех же внешних условиях. Мне кажется, что в другое время эти слякоть и рассвет, и руда стали бы совсем иными, обрели бы иные качества и у самого Пастернака.

Пастернак зачастую идет на поводу у собственных случайных ощущений. Они заставляют его видеть вещи в определенном свете. Но зато сама вещь, воспринятая предельно субъективно, послушна Пастернаку, и поэт делает с ней все, что хочет. Больше того: иногда чудится, что он сам создает вещь.

Для него каждая вещь, каждое явление — многогранно. Он берет одну из этих граней, видимую лишь ему самому и им самим увиденную случайно, «под настроение», и произвольно соотносит ее с гранью другого предмета.

Возьмем такое четверостишие:

Где, как обугленные груши,
На ветках тысячи грачей,
Неистовствуя, как кликуши,
Галдят торговок горячей.

Здесь грачи похожи одновременно и на груши, и на торговок, и на кликуш.

Или:

...пожелтый белый свет
С тобой белей белил.

И мгла моя, мой друг, божусь,
он станет как-нибудь
Белей, чем бред, чем абажур,
чем белый бинт на лбу!

Качество предмета как поэтического объекта осложнено качествами других предметов, не имеющих, казалось бы, никакого отношения к предмету «исходному».

Или совсем уж субъективный и условный образ:

Когда, снуя на задних лапах,
Храпел и шерсть ерошил снег.

Да, так: если уж снег видится поэту белым медведем, то от медведя к нему переходят и «задние лапы», опять-таки, осложняя предмет, явление.

Пастернак часто употребляет слово «подобья». Мне думается, что для его поэзии характерны именно «подобья», а не образы. Описываемые предметы и явления он «разлагает» на их составные части и к каждой из них подыскивает «подобье». От этого сам предмет начинает казаться гораздо сложнее, чем он есть на самом деле. Причем это сложность, не реально присущая предмету, а навязанная ему.

И если поэт ставит в своих стихах важные задачи, то внимание отвлекается от них, и ввиду внешней значительности и «интересности» предмета целиком концентрируется на нем.

В стихах Пастернака много недосказанного, незавершенного. Фраза порой обрывается на полуслове, полумысли, полуобразе. Это, конечно, право поэта — заставлять читателя домысливать, дорисовывать. Однако читателю стихов Пастернака чаще приходится не додумывать, а выдумывать, вымышлять, ибо пастернаковскую мысль, пастернаковский образ можно продолжить так, а можно по-другому, а можно и совсем иначе. Произволом автора порождается читательский произвол. А в этом случае далеко не всегда достигается цель, поставленная поэтом в данном стихотворении.

Или как раз целенаправленность и отсутствует в поэзии Пастернака?

Пастернаковская недоговоренность грамматически зачастую выражается неполным предложением, предложением, из которого выпадает определяемое слово. Например:

Не рыдал, не сплетая
Оголенных, исхлестанных, в шрамах...

Все это опять-таки искусственно осложняет предмет, за изображение которого берется автор. Предмет возводится в более высокую степень, чем та, какая присуща ему «от рождения». К тому же детали располагаются порой хаотично и в своей совокупности играют на руку все той же ложной значительности. Цельность здесь кажущаяся, это цельность смеси.

ЧЕРТЫ И ЧЕРТОЧКИ МЕТОДА

В угоду этой же ложной значительности Пастернак злоупотребляет терминологичностью. Причем термины, или названия цветов, растений, по большей части выбираются малознакомые («угар араукарий», «запах метиол», «грохот вокабул», «огни панатений», «арники» и т. д.).

Играет свою роль и обилие мифологических имен или имен собственных, специфических только для данной местности: Ларс, Девдорах, Диодима, Поликлет, Кассиопея, Мериллиз...

Словам «интеллигентского» словаря противопоставляются жаргонизмы, уличные словечки:

Но поздно, я сдрейфил, я вот мне отказ.
Как жаль ее слез! Я святого блаженней.

Или:

«Сырое утро ежилось и дрыхло».

Поражает обилие прозаизмов натуралистического плана и даже канцеляризм: «Звезды долго горлом текут в пищевод», «...ждали в ужасе казни, имевшей вот-вот наступить...».

Это причудливое языковое смешение весьма экзотично, делает стихи еще более «приманными».

А каламбуры, парадоксы, встречающиеся на каждом шагу?.. «Был мак, как обморок, глубокий», «всё обледенело с размаха», «спишь со всех ног», «бить тревогу, бить стаканы», «и проводы, как провода», «ты так играла эту роль, как лепет шлюз кормой», и т. д.

Поистине, гремит, заколдовывая, бубен шамана!.. Сколько неожиданностей, ошарашивающих находок!..

Работа над словом занимает в методе Пастернака

далеко не последнее место. Это взыскательнейший художник. Но и здесь необычность операций, которые он производит над словами, выглядит преднамеренной, потому что Пастернак все доводит до предела.

Он тяготеет к непривычной расстановке слов: употребляет предлоги после слова, к которому они относятся:

Берется за старое — скатывается
По кровле, за желоб и через,

или может разделить отрицание и глагол так, что на отрицание будет падать рифма:

Кричавшие, чтоб дуры впредь не
Совались в грех, да будь он лих.

Или:

Не плакалась, а пела вьюга. Чуть не
Как благовест к заутрене среди мгн.
Раскатывались снеговые крутни,
И пели басом путников шаги.

А «поисковая» работа над ритмом?.. На первый взгляд Пастернак предпочитает ритм канонический, но это только на первый взгляд. При помощи внутренней ломки канонического ритма, взрывая его изнутри, поэт добивается свежести, новизны ритмического звучания.

Беру первую подвернувшуюся строфу:

Платки, подборы, жгучий взгляд
Подснежников — не оторваться.
И грязи рыжий шоколад
Не выравнен по ватерпасу.

Четырехстопный ямб. Размер классический, Пушкин. Но употребление безударной стопы, неожиданные переносы фраз обновляют, разнообразят, обостряют привычный размер.

Или — из «Венеции»:

Все было тихо и, однако,
Во сне я слышал крик, и он
Подобьем смолкнувшего знака
Еще тревожил небосклон.

Ритмически похоже на знаменитое «Я помню чудное мгновенье». Но нет этой плавности, спокойного течения пушкинского стиха. Внутренние интонационные перебивы — так и кажется, что слова спешат, наталкиваются друг на друга, — делают стихотворную речь (именно речь, потому что у Пастернака очень много от разговорности) прерывистой и стремительной, темпераментной, эмоционально насыщенной. Пастернак подобными стихами лишней раз доказывает, что возможности силлабо-тонической метрики неисчерпаемы.

В игре звуками, в звукописи Пастернак неподражаем. О том, как он любит сталкивать близкие по звучанию слова, говорят хотя бы такие примеры:

Когда какой-то брод в груди.
И лошадью на броне
В нас кто-то плачет: «пошади,
Как площади отродье».

Или:

Забором крался конокрад,
Загаром крылся виноград...

Стихия звуков захлестывает поэта.

В общем, Пастернаком делается все, чтобы привлечь внимание читателя, раздражить его любопытство, зачаровать — словом, ритмом, звуком, образом, деталью...

Во имя чего?

ЧИТАТЕЛЬ ОБМАНУТ

Приведу пример, к которому обращаются довольно часто, — настолько он характерен и нагляден.

В «Волнах» у Пастернака есть такие строки:

Мне хочется домой, в огромность
Квартиры, наводящей грусть,
Войду, сниму пальто, опомнюсь,
Огнями улиц озарюсь,

Перегородок тонкоробость
Пройду насквозь, пройду, как свет,
Пройду, как образ входит в образ,
И как предмет сечет предмет.

Сказано сильно. Кажется, что произошло что-то существенно, из ряда вон выходящее. Что же, в самом деле, произошло?.. Да ничего особенного: человек прошел в комнату. Вот, собственно, и все. Ради этого и ломались копыя... Во имя того, чтобы сообщить это, и были привлечены метафоры чуть не философского плана.

Или, пожалуйста, описание ковров:

Окно, пюпитр, и как овраги эхом,
Полны ковры всем играным. В них есть
Невысказанность. Здесь могло б с успехом
Сквозь исполнение авторство процвести.

Поневоле начинаешь завидовать коврам!

В чем же здесь дело?

По-моему, дело именно в методе Пастернака, в применении этого метода.

Обыкновенное кажется интересным, значительным и необычным, потому что изображено с помощью необычных художественных средств.

Конечно, мы не вправе наложить вето на темы небольшого масштаба, на изображение необыкновенного в обыкновенном. Было бы у поэта большое сердце, и пусть тогда пишет и о малом... Но в этом случае читатель должен видеть, что речь идет о чернильнице, а не о Черном море!..

Пастернак же выдает вещи не за то, что они действительно собой представляют: метаморфозы, которые происходят у него с простыми и незначительными вещами и предметами, только дезориентируют читателя. О них дается ложное представление. Читатель, таким образом, вводится в заблуждение. И будем откровенны: Пастернак, может быть, сам того не желая, обманывает читателя.

О «ВЕЧНЫХ» ТЕМАХ

Иные утверждали, что в Пастернаке привлекательна его верность так называемым «вечным» темам: природы, любви, искусства.

Но, во-первых, каждый новый день выдвигает новую тему, и вряд ли похвально не замечать эти темы и, тем более, прятаться от них. А во-вторых, сами «вечные» темы вовсе не вечны. Они, как и само время, находятся

в вечном развитии. Историческая конкретность наполняет их новым содержанием, на каждом новом историческом этапе они предстают перед нами как бы в новом освещении, да и наше отношение к ним постоянно меняется.

Нам, как воздух, нужна лирика. Пастернак — блистательный лирик, с распахнутым сердцем, с пронзительным видением природы.

Но, в основном, он поэт «вечных» тем как таковых. Он не раскрывает их новой сути, а лишь «оформляет», преподносит их читателю по-новому. В отношении формы он, как мы видели, пионер, новатор. Новизна, необычность формы и подкупает нас в поэзии Пастернака.

Известно, что форма и содержание неразрывно связаны друг с другом. Отделить форму от содержания невозможно. Но их соединение может быть негармоничным. И тогда мы говорим о несоответствии формы и содержания.

У Пастернака все это сложно. Старое (по своей сути) содержание внешне так оформлено поэтом, что принимается нами за нечто новое и заставляет забывать о тех проблемах и вопросах, постановки и разрешения которых настойчиво требует от нас наше время.

У поэта — как у мореплавателя — главная задача и цель: делать открытия. Но открытие открытию рознь. Можно открыть Америку, а можно — красивый, экзотичный, но никому не нужный островок.

Пастернак живет как раз внешней экзотикой. Он на иждивении у «вечных» тем. Неудивительно, что он имеет возможность отдавать все свое время, все силы, весь талант на дальнейшее обновление и совершенствование формы.

ИЗ ОКНА

Казалось бы, если новую форму да еще наполнить новым содержанием, — и все будет в порядке.

Но вот Пастернак пытался писать о революции, о войне, и все эти попытки терпели крах.

Видимо, потому, что Пастернак ограничил себя стенами своего кабинета, замкнулся в узком кругу камерных, интимных переживаний.

Иногда, впрочем, он распахивал в своей комнате форточку и с обезоруживающей наивностью спрашивал: «Какое, милые, у нас тысячелетие во дворе?».

Тогда в форточку врывается непонятный шум. Мимо шла революция.

И Пастернак писал о революции. Из своего окна он видел ее — и описывал. Это не было принуждением, «социальным заказом», это было потребностью художника: описывать то, что он видит.

Но Пастернак не жил революцией и в революции. Он только смотрел на нее из окна. Он был не участником, а всего лишь созерцателем, сторонним наблюдателем. И особенных, единственных слов для изображения революции он не нашел.

Словно забывая о том, что великое велико само по себе, он подошел к революции с той же меркой, с какой подходил к цветам, коврам и комнатам, усложняя сложное. Это привело к обратному: к снижению темы.

Описывая малое, Пастернак пользуется такими сложными ассоциациями, такими крупными понятиями, что при изображении действительно крупных вещей и явлений уже не в силах подобрать для них более крупные понятия и более сложные ассоциации. Приходится одними и теми же словами говорить и о крупном, и о малом.

«Поездов расписание» для Пастернака «грандиозней святого писанья». А вот заря сравнивается с клещом, Кавказ — со смятой постелью, город — с «горами мятой ягоды под марлей», а земля дымится, «словно шей горшок», и жизнь можно достать с полки...

Если малое у Пастернака кажется несправедливо большим, то большое превращается в малое.

П. Антокольский назвал Пастернака «позумительным лириком, для которого каждая весна — мировое событие». Именно так!.. И это плохо, ибо событие подменяется явлением.

Пастернак может с неподражаемым мастерством, используя новые, невиданные краски, описать ковры. Используя те же краски, он изображает революцию.

Уравнивается явно неравное.

На одну доску ставятся несоразмерные явления.

ВАЗА ВДРЕБЕЗГИ

Передо мной поэма (или, скорее, развернутое стихотворение) Пастернака «1905 год». Это поэма о революции. Но как раз революции-то в ней и нет.

Поэма начинается с перечислений (глава «Отцы»).

И все дальнейшее — это сумма великолепных строк, изумительно точных и звучных описаний (описание моря, города, очень динамичная зарисовка расстрела демонстрации). Детали здесь выделаны тщательно, с любовью, но они остаются всего лишь деталями.

Говоря о 1905 годе, Пастернак пишет:

Эти дни, как дневник.
В них читаешь,
Открыв наугад.

Поэма Пастернака — это дневник, беспорядочные записи наблюдателя. Ей не хватает цельности и какого-то внутреннего размаха, подлинной глубины. Широко охватив многочисленные явления, поэт не проник по-настоящему ни в одно из них. Крупное Пастернак разменял на детали, а это звонкая монета, но мелкая. Сами сравнения, образы, метафоры, которые в камерно-лирических стихах Пастернака часто льстили сравниваемым вещам и явлениям, здесь только «унижают» их. Вещи словно рассматриваются в уменьшающий бинокль. Так, небеса в поэме опускаются наземь «точно занавеса бахромы», море «курлычет, как ключ, балагурия», а понятие «жизнь» соотносится с таким, как «жителейский колодец».

Как это ни горько, но приходится признать, что дальше превосходных зарисовок и деталей Пастернак здесь не пошел.

В поэме вместо события — лишь осколки события, случайно долетевшие до поэта и лишь слегка его ранившие.

Содержание революционных событий для Пастернака как для наблюдателя, певца «вечных» тем, было настолько отвлеченным, что он не сумел выразить их в органичной для них форме.

Великие события, войну, революцию нельзя разложить на детали. Эти события можно понять только в их цельности. И тут не выручат детали даже самые броские, самые неожиданные, если только это детали не обобщающие, то есть дающие наиболее полное представление о событии, выражающие, выявляющие его сущность.

У Пастернака детали — случайны. Он как раз крупное дробит на мелочи.

Если разбить хрустальную вазу, то осколки будут

гореть, искриться и привлекают внимание. Но это уже — не ваза. Из этих осколков можно даже составить калейдоскоп. Но — не цельную картину.

Уловив своим пронзительным взглядом детали революции, Пастернак не увидел самой революции. И, пользуясь своим методом, дал нам о ней неверное представление.

Этот метод для Пастернака органичен (ниже я скажу об этом подробнее). Но, видимо, он не органичен и не закономерен для той эпохи и той обстановки, в которых живет поэт.

Пастернак не понял этого, потому что он не понял эпохи. Говорю это уверенно, потому что, если есть у поэта за душой что-то подлинно значительное, это отразится в каждой строчке, иногда даже против воли автора, независимо от него.

ДАЧНИК ОТ ПОЭЗИИ

Судя по всему, дожди и дача, цветы и квартира Пастернаку как поэту ближе, чем революция. Ведь лучше получается то, что любишь, что неотрывно от твоего сердца. Описание же дачи у Пастернака, несомненно, совершенней, чем изображение революции. И то, что происходит на даче, которую он описывает, выглядит гораздо более интересным и значительным, чем то, что происходило в России в 1905 году — по поэме Пастернака.

Пастернак создал себе свой мир, в котором и живет. Стоит ему выйти за пределы этого мира, как он сразу же теряется и становится беспомощным (пусть — трогательно-беспомощным).

В одну из своих поэм, «Спекторский», Пастернак попробовал ввести человека, попытался изобразить характер. Но приглядитесь внимательней: характера там нет, он растворился в предметах, деталях, поступках и явлениях.

Мир Пастернака — это мир вещей. Вместо людей — вещи. Вместо событий — явления. Поэт влюблен и в эти явления, и в эти вещи. Они заполняют собою весь мир, и мир становится ограниченным, потому что ведь, кроме вещей и явлений, кроме природы и искусства, которым жречески поклоняется Пастернак, существует еще и общество, от сегодняшних интересов которого он так далек.

Голос у него, правда, предельно искренний и естественный. Но это еще не оправдание. Слишком уж часто и много спекулировали у нас на «искренности».

Могут сказать: пусть лучшие стихи Пастернака носят отшельнический характер, но эти стихи доставляют нам эстетическое наслаждение: если даже мы и не понимаем их до конца, если даже мы и не принимаем их целиком, все равно — мы наслаждаемся ими.

Но ведь это не что иное, как возвращение назад, к лозунгу «искусство для искусства».

О поэте судят по глубине идей, а не только по глубине чувства, по его искренности, по умению мастерски «оформить» случайные мысли и эмоции. Впрочем, у Пастернака, как мы увидим дальше, эта случайность вовсе не случайна.

«А судьи кто?». Народ и время. Они судят поэта с высоты своих требований к поэзии как духовной нашей пище и социальному воспитателю.

С этой точки зрения — Пастернак не художник, а живописец. Талантливейший живописец.

ВЕЩЬ САМА ПО СЕБЕ

Предметы, вещи, как я уже говорил, кажутся у Пастернака несправедливо сложными.

Но, может быть, я сам несправедлив по отношению к этим предметам? Может быть, они и на самом деле сложны, и Пастернак видит мир вещей во всей его объективной и неповторимой сложности?

Да, каждый предмет объективно сложен, многогранен и, так сказать, многокачественен. Однако не все эти качества равноправны. В предмете налицо комплекс доминирующих качеств. Объективно определить предмет — значит выделить в нем именно эти, доминирующие, наиболее важные в предмете, а значит, и для читателя, наиболее типические качества.

Я не против субъективизма автора. Но он должен проявляться в отношении к миру, а не в видении мира.

Предмет — многосторонен. Но, описывая его, художник обычно выделяет несколько существенных, объективно значимых сторон и, таким образом, четко характеризует предмет, определяет его сущность.

Пастернак поступает по-иному. Он не определяет и не раскрывает предмет или явление, он лишь описывает

их, дробит их, придает им искусственную сложность и любуются всем, что попадаетея ему на глаза.

Если мы определяем предмет, например, посредством сравнения, мы должны, казалось бы, выделить в сравниваемых предметах их основные качества. Они и будут опорами, точками соприкосновения в этом сравнении.

Пастернак же, сравнивая предметы и явления, произвольно выделяет в них лишь одну сторону, одно качество, часто второстепенное. Предметы, которые он сравнивает, как правило, имеют только одну точку соприкосновения.

Например, он пишет:

«У капель — тяжесть запонок».

Два предмета (капли — запонки) объединяет всего лишь одно общее качество: тяжесть. Причем для запонок это качество не является определяющим. Но так как, несмотря на это, два предмета поставлены рядом, то на первый из них невольно переносятся и другие качества второго предмета. Первый предмет становится богаче качествами, многограннее, впитывая в себя то, что для него нехарактерно или чего в нем и вовсе нет.

Пастернак пишет:

Меж тем как вихрь — велосипедом
Летал по комнатным комодам.

Иногда говорят: велосипед летел, как вихрь. На велосипед переносится основное качество вихря: стремительность. Такое сравнение правомерно. Но велосипед, как объект нашей мысли, определяется комплексом иных качеств. Переносить их на вихрь — значит осложнять это явление не присущими ему качествами.

Спешу оговориться: я беру для наглядности самое простое и показательное. На самом деле у Пастернака соотношения, переплетения гораздо сложнее и тоньше.

Итак, о предмете дается приблизительное, случайное, усложненное представление. Отсюда — внешняя перегруженность предмета. Предмет по существу не определен, то есть еще не стал объективно значительным, но уже кажется значительным — из-за сложности и приблизительности субъективного изображения.

Круг подобий, которые можно подобрать для данного предмета, на самом деле, объективно, куда уже и меньше, чем используемый Пастернаком.

Пастернак не срывает одежды с явлений и предметов, не обнажает эти явления и предметы, а, наоборот, набрасывает на них одежды, сорванные с других явлений и предметов. Предмет набегает на предмет. И трудно разобраться в этом хороводе вещей...

Пастернак выделяет в предмете какую-либо сторону не для того, чтобы определить, раскрыть, охарактеризовать этот предмет, а просто потому, что он случайно увидел именно эту сторону, — а Пастернак бескорыстно влюблен во все, что он видит.

Это приводит к тому, что предметы и явления в стихах Пастернака существуют сами по себе и во имя самих себя. Из общего круга предметов и явлений они зачастую выбираются случайно, «по настроению». И при чтении пастернаковских стихов у читателя возникает «сто тысяч почему, для чего и отчего».

Почему из целого ряда образов выбран именно этот, а не другой? Почему из целого ряда деталей выделена именно эта, а не другая?.. Какова их целенаправленность?

На мой взгляд, подбор образов и деталей диктуется содержанием и замыслом данного стихотворения. Необходимо, чтобы всё в нем служило основной его цели, чтобы все его компоненты были связаны друг с другом не случайно, произвольно, а в некотором отношении и преднамеренно, целенаправленно, чтобы деталь была обобщающей, а образ целеустремленным.

Но как могут служить чему-нибудь поэтические средства в том или ином стихотворении Пастернака, если само стихотворение призвано лишь выразить случайное настроение поэта?

Вот и получается, что деталь у Пастернака — во имя детали, образ — во имя образа.

Именно поэтому Пастернак может поставить на одну доску несоизмеримые явления. Словно забывая о том, что каждое явление находится в неразрывной связи с другими, что все в мире соотносится, Пастернак дает явление в отрыве от всего остального, не соблюдая объективных пропорций. У Пастернака все интересно, все важно, все — основное. Невозможно разобраться: что же объективно важнее, по-настоящему значительней?

Да, вещи, явления — сложны. Но они сложны не по-пастернаковски.

ВЕЩЬ В СЕБЕ

У Пастернака эволюция обстановки влечет за собой эволюцию детали. Обстановка же меняется в зависимости от взгляда поэта на окружающее, от его настроения. Предмет преобразуется при каждом последующем описании, причем преобразуется до неузнаваемости. Сам предмет как объективная данность перестает существовать, перед нами лишь приблизительное, субъективное представление о предмете.

Одному он может казаться таким, другому — иным. Сегодня воспринимается так, завтра — по-иному.

Но предмет упрям. Он все-таки существует не только в авторском воображении, но и в действительности. Он не способен меняться в зависимости от наших чувств и ощущений, несмотря на них, сохраняет свою объективную сущность. Правда, точка зрения на него может быть при разных условиях различной. В данном предмете может быть выделена та или другая грань, то или другое качество. Но эта грань, это качество должны объективно существовать в предмете, определять и характеризовать его или дополнять собой уже выявленное качество, выявленную грань.

В предметах же, рисуемых Пастернаком, все побочно, и потому-то все — основное.

Каждый раз нам дается не новое определение предмета, все больше и больше раскрывающее его сущность, а новое приблизительное представление о нем, все больше и больше отдаляющее от нас сам предмет.

Это не правда о предмете, а подобие правды.

Объективно определяя предмет, мы познаем его. Если же он субъективно описан, мы только воспринимаем его через ощущение.

Предмет у Пастернака неопределим и непознаваем. Можно только коснуться его — и в радостном испуге отдернуть руку. Более того, порой кажется, что для Пастернака и не существует самого предмета, предмет создается представлением о нем, ощущением его.

В итоге вместо предмета — таинственное обозначение предмета, образ-пероглиф. Представление о предмете разнится от самого предмета.

Пользуясь своим методом, Пастернак дает ложное представление о предметах и явлениях.

Но метод — это оружие мировоззрения. И суммируя все, что здесь сказано о творчестве Пастернака, можно утверждать, что поэт стоит на позициях субъективного идеализма. Философская основа его метода — кантианство. Пастернак никогда и не скрывал приверженности к этому философскому течению. Он в свое время и учился (в буквальном смысле этого слова) у видных представителей кантианства и неокантианства.

П. Антокольский писал о Пастернаке: «Его следует принять (и любить) именно таким: во внезапной незавершенности вещего фрагмента, за которым угадывается целый мир, склонившийся у изголовья человека».

Именно: лишь угадывается. И причем — субъективный мир. Мир, подчиняющийся произволу поэта (может, в этом смысле и «склонившийся»?..).

Объективного мира в стихах Пастернака не увидишь. И человека — тоже. Человек загроможден, раздавлен случайными деталями, образами-нероглифами, и может только бессильно бормотать что-то... Это человек, не объясняющий мир, а благоговейно его воспринимающий. Благоговейно — и предельно субъективно.

МОЖНО ЛИ РОДИТЬСЯ ВТОРИЧНО

Все, что писал Пастернак, было хоть и чуждо главному направлению советской поэзии, нашему основному творческому методу — методу социалистического реализма, но органично для самого поэта. К этому привыкли. Это даже нравилось...

Но это, кажется, перестало нравиться самому Пастернаку. И поэт решил писать и об ином, и по-иному. Еще в «Высокой болезни» прозвучали первые, чуть горькие нотки сомнения в собственной творческой работе:

Мне стыдно и день ото дня стыдней,
Что в век таких теней
Высокая одна болезнь
Еще зовется песнь.

В одном из «Смешанных стихотворений» Пастернак, опять-таки с какой-то честной тоской, заговорил «о вреде мне и о себе»:

И разве я не мерюсь пятилеткой,
Не падаю, не поднимаюсь с ней?
Но как мне быть с моей грудною клеткой
И с тем, что всякой косности косней?

Непонятно, перед собой или перед читателем оправдывался здесь Пастернак, да это, в конце концов, и неважно. Важно другое: Пастернака неодолимо потянуло к новым темам.

Свою поэму «Спекторский» Пастернак начал с иронического заявления:

Привыкши выковыривать изюм
Певучести из жизни сладкой сайки,
Я раз оставить должен был стезю
Объевшегося рифмами всезнайки.

В этих строках — чувство уже явной неудовлетворенности тем, что поэт делал до сих пор (хотя и выражена эта неудовлетворенность по-прежнему в произвольных, в данном случае «принижающих» явлении образах: «изюм певучести», жизнь — «сладкая сайка!..).

Неудивительно, что одному из своих последних стихотворных циклов Пастернак дал громкое и многообещающее название — «Второе рождение». Это название ко многому обязывало поэта. Заканчивался цикл весьма ответственной декларацией: «и весь я рад сойти на нет в революционной воле».

Но и название, и декларация были оправданы лишь наполовину:

Что мы находим в этом цикле?

Гражданские откровения Пастернака на фоне «вечной темы» — темы природы. Пейзаж, написанный в обычной для Пастернака манере. Стихи о любви, причем не всегда удачные, порой даже банальные. Так, при чтении строк:

О хвое на зное, о белом левкое,
О смене безветрия, вёдра и мглы,
О белой вербене, о черном терпенье
Смолы, о друзьях, для которых малы
Мои похвалы и мои восхваленья,
Мои славословья, мои похвалы,

неволью приходит на память, и по ритму, и по интонации, северянинское «Она мне прислала письмо голубое».

От строчек же:

Красавица моя, вся статья,
Вся суть твоя мне по сердцу —

веет цыганшиной.

Со стихами о любви соседствуют стихи о лете. О дачах. Читаешь их, и создается впечатление, что Пастернак во всем остался таким же, каким был в своих прежних стихах. И название цикла грозило бы повиснуть в воздухе, если можно было пройти мимо, ну, вот таких хотя бы строк:

Есть в опыте больших поэтов
Черты естественности той,
Что невозможно, их изведав,
Не кончить полной немотой.

В родстве со всем, что есть, уверясь
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту,

Но мы пощажены не будем,
Когда ее не утаим.
Она всего нужнее людям,
Но сложное — понятней им.

Это не только афористически четкие, хотя кое в чем и спорные, строки. Это строки прежде всего по-настоящему многозначительные.

Пастернак так и не впал в «неслыханную простоту». Но он к ней стремился. И искал новые темы.

В стихотворении «Волны» нашло себе место необычное для Пастернака слово — «социализм». Среди стихов цикла встречаются полугражданские: о Маяковском, о Мае.

А сколько прозрачной звонкости, свежести, полнокровия в стихотворении «О, знал бы я, что так бывает!».

Продолжением цикла и дальнейшим разрешением задач, которые поставил здесь перед собой Пастернак, является цикл «Земной простор» (на стихах о войне я остановлюсь ниже, отдельно).

Правда, «Летний день», «Сосны», «Иней», «Дрозды» — это только дача, а дача — далеко еще не земной

простор. И, между прочим, чем проще стихи у Пастернака, тем яснее видна ограниченность его тематики. И все же о его последних стихах не скажешь того, что можно было сказать о прежних... Поэт тематически остался верен себе, но формальные установки стали иными. А это тоже немало важно.

В обоих последних его циклах — немало неопределенного, произвольного, часто стихи интересны-то как раз потому, что сложны по-прежнему, Пастернак еще ошибается, путается, мучается, он лишь на пути к новому, — а, может, на перепутье, но он ищет новый путь.

ВОЙНА С САМИМ СОБОЙ

Следующий этап в творчестве Пастернака — стихи о войне. О Великой Отечественной

Не писать о войне Пастернак не мог. Время обязывало. И диктовало. Писать так, как прежде, Пастернак тоже не мог. Да и не хотел, как видно из предыдущего.

Попробуем проанализировать «военные» стихи Пастернака и посмотрим, что же у него получилось...

Эти стихи можно разделить на несколько групп, которые и чем-то отличаются друг от друга и в чем-то очень друг на друга похожи. Причем объединяет их не только общность тематики...

К первой группе можно отнести такие стихи, как «Страшная сказка», «Бобыль», «Смелость». В какой-то мере к ним примыкают «Преследование» и «Неоглядность», хотя написаны они более живо.

В «Страшной сказке» ничего страшного, кроме названия, нет. Стихотворение предельно сухое. Совершенно невыразительна концовка: «Мученья маленьких калек не смогут позабыться». Да, не смогут. Это не «Бабий яр» И. Сельвинского, а газетное утверждение. Стихотворение выглядит простым. Но это не «неслыханная простота», а плакатный примитив. То же можно сказать и о поэтическом эскизе «Бобыль». Здесь тоже нет красок, колорита, это карандашный набросок — даже не «по памяти». В стихотворении «Смелость» преобладают общие места. Строки не просты, а тривиальны. Нельзя говорить даже о «превосходных» строчках.

На первый взгляд, эти стихи — «шаг вперед» для Пастернака. Все здесь понятно. Но это не «простые» стихи, а «несложные».

В стихах «Разведчики», «Смерть сапера» Пастернак

выступает как повествователь. Для стихов характерны последовательность и подробность описания. Немало в них и прозаических оборотов. Но сколько тут пустых, холодных слов, как риторичны эти стихи!..

Поэт здесь не соперничает, а опять-таки голько наблюдает. Наблюдает, отказавшись от прежнего метода. Но, оказывается, без него Пастернак — не Пастернак. В его «военных» стихах налицо точность — и нет души.

Итак, стихи Пастернака стали проще и понятней. Но — суше, холодней, риторичней. Пастернаковские — отдельные детали. А Пастернака нет.

В этих стихах Пастернак похож на человека, отлично знающего названия частей винтовки, но не умеющего из нее стрелять.

Он вплотную подошел к большой теме, понял, что нельзя писать по-прежнему, и — растерялся. И эта растерянность понятна и закономерна.

«Военные» стихи Пастернака оценивались по-разному.

Одни говорили: поэт «опростился», отошел от себя, изменил своей манере и всему ценному, что в ней было, — отсюда сухость и риторичность его последних стихов.

Другие, наоборот, приветствовали «опрошение» Пастернака.

Можно согласиться с тем, что, взяв новые темы, Пастернак потерпел неудачу.

Однако легенда об «опрошении» Пастернака несостоятельна.

Чтобы отказаться от одного — надо прийти к другому. Надо решить и уяснить для себя, по какому пути идти дальше?.. Если бы Пастернак действительно начал писать просто в лучшем смысле этого слова, это был бы, конечно, не только отказ от старого метода, но и приобщение к новому.

Пастернак этого не сделал. Он пошел по пути только отказа. И отказался от того, что было сложным, зачастую непонятным, но — действенным.

Отказавшись от усложненности, Пастернак отказался и от сложности, поэтому пришел не к простоте, а к упрощенности.

Пробелы остались незаполненными.

И можно было бы смело говорить об обеднении метода Пастернака, если бы среди его стихов о войне не было «Старого парка», «Зарева», «Весны». Эти сти-

хи, богатые деталями, яркие, многоцветные, просты не по-пастернаковски и в то же время в них — Пастернак.

Другими словами, это пастернаковские стихи, но без «пастернаковщины», или «пастернакипии», как говорил И. Сельвинский. Стремление к подлинной простоте, отказ от «ложной значительности» связаны здесь у Пастернака с учебкой у самого себя.

В тематическом же плане показателен сам факт обращения Пастернака к темам, волновавшим в то время весь наш народ.

Время взяло свое.

ПАСТЕРНАК И ПАСТЕРНАКОВЦЫ

Возможно, кругозор у Пастернака-поэта и невелик. Но это человек большой любви: любви к природе, к искусству.

Если Пастернак и обманывал читателя, то неумышленно. Голос у него искренний, каждый его поэтический жест естествен (и естественно опирается на чуждую нам философию). Его метод, как я уже говорил, органичен для самого Пастернака.

Метод этот — не поза. И не дешевое модничанье. Не поэтический снобизм. Пастернак писал, говорил так потому, что не мог говорить, писать иначе. Даже если хотел.

У Пастернака свой поэтический мир. А отсюда свое поэтическое мировоззрение (или — наоборот). Свой подход к вещам, своя поэтическая система. Безлепнь это (высокая!) или талант, не знаю. Но он живет и дышит в этом своем мире. Я не говорю, что мир этот не привлекателен. Пастернак может сообщить нам немало интересных вещей. И не его, и не наша вина, если мы их порой не в состоянии понять и принять.

Если человек, побывавший на Марсе, начнет рассказывать нам о том, что он там увидел, то, как бы ни были незнакомы нам увиденные им явления и предметы, мы этого человека поймем. Ведь он будет рассказывать о марсианском по-земному.

Но если об этом же начнет рассказывать марсианин, пусть даже на понятном для нас языке, — мы его все равно не сможем понять, хотя все, о чем он нам повествует, покажется необычайно увлекательным и эротичным.

Пастернак — поэт для немногих. Он даже не камерный — он единственный в своем роде. Единичный. Даже — с единично своим методом. Может, как раз поэтому так трудно переводить его на другие языки?..

Единичный... Наверно, потому он неподражаем. И то, в чем можно упрекнуть Пастернака, совсем уже скверно получается у тех, кто молится на него, делает его своим знаменем, пытается идти по его стопам.

Иные молодые поэты, следующие «традициям Пастернака», сами не верят в то, что пишут, развивают чисто внешние стороны его поэзии, и основная их задача — сознательно обмануть читателя.

Но то, что у Пастернака естественно, для других становится позой.

Верю, что для кого-нибудь Пастернак может быть любимым поэтом. Но Пастернак не вправе быть литературным вождем. И учиться у него надо осторожно, критически, то есть творчески подходя к его поэзии.

Из творческого, поэтического архива Пастернака можно извлечь для себя немало нужного и полезного. Стоит, например, поучиться у него способности улавливать, схватывать самые отдаленные ассоциации. Две-три таких ассоциации — и предмет освещен по-новому. Но для этого нужно именно несколько ассоциаций, несколько точек соприкосновения между сравниваемыми предметами. Не должны остаться незамеченными, неизученными, невоспринятыми и достижения Пастернака в области ритма, рифмы, мелодики стиха и т. д.

Но пусть черты пастернаковского метода станут не поэтической целью, а лишь поэтическими средствами!..

ПРОСТРАННОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

Возможно, кого-либо из поклонников Пастернака шокирует мое «амикошонское» обращение с его творчеством. «Удалось», «не удалось»... А он — гений!

Но если кому-то позволительно считать его гением, то почему я не имею права не считать его таковым?.. Я против арачеевского режима по отношению к любым инакомыслящим.

Но продолжу разговор о «пастернаковцах». И на этот раз остановлюсь на «пастернаковщине» сегодняшнего дня. Ибо сейчас, особенно молодыми поэтами, немало создается стихов много значительных, радужных и легких, как мыльные пузыри. Обычно это бывает то-

гда, когда поэту по существу сказать нечего, но ужасно хочется прослыть философом...

Поэзия — это разговор с читателем: от сердца к сердцу. И мне, читателю, важно, чтобы такой разговор обогащал меня, чтобы вместе с поэтом, умным и задушевным собеседником, я делал для себя удивительные (и важные!) открытия, проникал мыслью и сердцем в глубь явлений, в самую суть внутреннего мира моего современника. Мне нужно, чтобы стихи тревожили меня, заставляли задумываться, заражали своей эмоциональностью, распахивали передо мной новые просторы и дали, учили любить Человека и ненавидеть все античеловеческое, звали бороться, строить, творить.

Большинство поэтов и ведут со мной большой разговор: о Родине, о счастье и борьбе, о самом насущном и главном.

Однако встречаются доныне среди наших поэтов такие собеседники, которые норовят выдать за поэтическую мысль суррогат мысли, представить многогранным плоское. Словно раскрывая сокровенные тайны, они с самодовольным видом преподносят нам банальнейшие истины: что разные женщины любят по-разному, что старость не радость, а вечность — это вечность и ничего с ней не поделаешь, и вообще дважды два — четыре.

Возможно, сам поэт и открыл для себя, что Волга впадает в Каспийское море, — что ж, пусть бы и радовался наввию этому открытию наедине с собой. Но зачем же делать вид, будто тебе известно то, о чем другие и понятия не имеют или знают лишь понаслышке? Зачем при этом обряжать плоскую и общезвестную мысль в такие пышные одежды, каких она попросту не стоит?

Мысль карлик, даже приподымаясь на цыпочки, остается карликом. И сколько бы поэтического тумана ни напускалось в мнимо значительные стихи, мало-мальски искушенному читателю ничего не стоит разглядеть их плоскостность, догадаться, что и туман-то понадобился лишь для того, чтобы замаскировать бедность мысли или полное ее отсутствие. И как только разглядишь это, становится скучно и досадно. Скучно потому что разговор с поэтом ничем тебя не обогатил. Досадно, ибо ты с привычным доверием и благоговением принял от поэта подарок в броской упаковке, а развернул — там соска для младенца или какая-нибудь стандартная статуэтка или любимый засаленный галстук самого дарителя.

Вот я беру в руки поэтический сборник Евгения Винокурова «Музыка». Читаю стихи... И почти сразу же возникает ощущение, что мне, читателю, грубо говоря, пускают пыль в глаза.

Мне по душе многие армейские стихи Е. Винокурова, получившие заслуженное признание у любителей поэзии, рисующие воинский подвиг, ратный труд во всей их каждодневности, в органической слитности с нелегким фронтовым бытом.

Но вот поэт оторвал от фронтовой почвы солдатские сапоги и устремился к иным далям, в область философской лирики. Что ж, Е. Винокуров — поэт мыслящий, ищущий, и его обращение к новым темам, к новым поэтическим пластам ничего, кроме интереса, поначалу не вызывает. Он зовет за собой меня, читателя, торжественно обещая: «Я вам открою бездны, в семнадцать лет открывшиеся мне!».

И вот — первые открытия: «жизнь кратка и не проста», «в мире не все уж так просто и плоско»...

Так это — «бездны»?.. Даже для читателя со скромным жизненным опытом сие не откровение. И ждешь от поэта, что он не ограничится прописными истинами, а, верный своим же декларациям, покажет нам мир, жизнь во всей их сложности и многогранности.

А он ведет читателя по двору, где в разгаре «стирка и мойка». Ладно. Двор так двор, стирка так стирка — само по себе это не представляет поэтического криминала: известно, что и через малое можно раскрыть значительное. Данное стихотворение и начинается-то образно — «философским» запевом: «Там, вдалеке, в проруби, мерцает, как вода, голубая бесконечность». А дальше?.. А дальше поэт задирает голову — и видит в окнах женские ноги. Опускает глаза — по лицу бьет женское белье, развешанное на веревках. Поэт рвется размышлять о «глубокой бесконечности», но мешает «голубая и розовая» конфекция, в голову лезут всякие грешные мысли, и даже проплывающее в «голубой бесконечности» облако кажется ему «округлым, как женщина».

Облака бывают, конечно, и относительно округлыми. А вот мысль стихотворения выглядит банальной и плоской. И дабы она не выглядела такой, Е. Винокуров прибегает к поэтически-риторическому камуфляжу: «О, лекало человеческого тела!», «Это огромная выставка нитима. Гигантская профанация женственности», «Ве-

сенние поломоини! Они как греческие празднества в пору сбора винограда!».

Разберемся с Грешней... Мойка полов и окон как греческие празднества — лжк, не правда ли?.. Но только при чем здесь Греция и празднества, связанные со сбором винограда?.. Это ни в малейшей степени не конкретизирует образ и не проясняет замысел. С таким же успехом поэт мог бы сравнить «весенние поломоини» с древнерусскими языческими играми (в любую пору года!), с боями гладиаторов в древнем Риме или с буйством нижегородских ярмарок, или еще с чем-нибудь из «звонкозвучного» набора. В сущности, это не поэтизация действительности, не живопись словом, а заимствование чужой маски — для прикрытия мелкотравчатой мысли. Так и чудится за всем этим огорошу ка я читателя размашистым, внешне эффектным сравнением, авось, он и не разберется, что к чему и зачем, и примет фальшивую монету за звонкую.

Но как ни «завлекает» нас поэт «ошеломительными» метафорами и восклицаниями, что-то не тянет вместе с ним копаться в чужом, тем более женском, белье. И в голове вертится озорное, смешливое:

Я на простор хочу. Я выхожу во двор.
Вот воробей чиркнул — сколько в нем споровки!
Вон сушится соседское бельишко на веревке...

Нет, это не Е. Винокуров. Это из пародии С. Васильева на С. Щипачева. Но легко уловить сходство между винокуровскими «безднами» и этим пародийным «простором».

Вот ведь чем обернулись широковещательные декларации: претенциозностью, приводящей к самопародированию.

И мне, читателю, скучно. И обидно за поэта, который может и о другом, и по-другому, о важном — и просто. Но он не хочет по-другому. И тшится уверить, что разговаривает с нами как раз о важном, что у него свое отношение к жизни, свое видение мира, и он именно **открывает** формы, в которые отлита жизнь, ритмы, которым она подчинена.

Он видит, как «парикмахер патачивал бритву на ремне», и это наводит его на мысль, что «ритм правит миром». Вывод весьма произвольный, но ведь поэт и восклицает в конце стихотворения: «кто знает, что мо-

жет прийти человеку в голову». В других стихах поэт размышляет о совершенстве округлости (далась ему эта округлость!), ибо, как он уверяет, «округлы облака и женщины», сердце и яблоко, кольцо и солнце, жернов и ядро. Он признается в любви к кругу, а мне, читателю, все это представляется псевдофилософским вздором. «Круглота не зла...». А если ядро — пушечное, а женщина — надзирательница в концлагере?.. В круглоте нет огрехов... А как быть, проетите, с круглыми дураками?..

И все больше убеждаешься, что поэт просто жонглирует словами и понятиями, не давая себе труда выникнуть в их суть, и стихи его — своеобразное поэтическое кокетство, манерничанье, претензия на оригинальность.

«Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно...».

Смешно, когда поэт восхищается своей рукой, которая «все знает», «ведет, и черкает, и правит», а он, поэт, лишь состоит при ней, и у него есть предел, а у нее, руки, почему-то нет предела. Этим, собственно, и исчерпывается поэтическая «мысль» стихотворения. Грустно — потому что пишется-то это всерьез, продиктовано желанием родить нечто многозначительное.

Это ложная многозначительность.

И невольно вспоминается Борис Пастернак... Однако у Пастернака подосновой его стремления малое поднять до значительного, значительное низвести до малого служила определенная, пусть идеалистическая, но философская система.

А что движет рукой Е. Винокурова, когда он устраивает поэтический шабаш вокруг плоских истин и псевдооткрытий?.. «Беспредельность» этой руки?.. Или заурядное желание предстать перед нами «большим оригиналом»?.. Или чисто внешнее влияние Пастернака?..

Вот стихотворение... Но не буду приводить его названия, а просто спрошу: что может быть одновременно и благодатным, и патетичным, и благотворным, и безумным, и героичным, и могучим, и обильным, и трагичным, и беззащитным, и бескорыстным, и бесцельным в своем величии... Скажете — все это набор слов? Но оказывается, существует нечто, к чему приложимы приведенные эпитеты: это (вот уж, действительно, открытие Е. Винокурова!) — удивление. Так и озаглавлена сия ода Удивлению, содержащая, по существу, знакомый призыв: давайте удивляться!

Добро бы, если бы поэт повернул к нам эту мысль какой-то новой гранью. Однако вместо этого он заваливает ее ворохом произвольных ассоциаций и сравнений: «оно потрясает, как электрический разряд», «оно обильно, как тропический ливень. Прихотливо, как ручей», «Есть иерархия удивлений!», «Кто знает — может, мы живем для некоего Великого Удивления?». И удивление-то здесь какое-то двусмысленное, поэт как бы отрывает его от реальных объектов (чему же, собственно, стоит удивляться?), берет понятие, так сказать, в чистом, отвлеченном виде. И если одну за другой снять с этого понятия, каким оно дано в стихотворении, цветные поэтические обертки, то оно предстанет перед нами бескровным и смутным. Стихотворение, как и многие стихи цикла «Музыка», полно ложной значительности.

К сожалению, Е. Винокуров не одинок в стремлении расцветить, «приподнять» низкорослую или банальную мысль. Поэт старшего поколения Леонид Мартынов, чье творчество в целом привлекает четкостью, прозрачностью, свежестью мысли, в одном из стихотворений («Голова») спешит поделиться с нами таким «откровением»: поэту хотелось бы иметь две головы — одну («небольшую запасную») для пустых разговоров, другую — для «самого главного или, вернее, тяжелого». Тон стихотворения многозначительный, но это глубокая философия на мелком месте. Можно только посочувствовать поэту, для которого заниматься пустыми разговорами, видимо, фатальная необходимость и которому для полноты существования мало одной головы (что существенно отличает его от Е. Винокурова; тому, как мы видели, при универсальной беспредельности и всеведеньи руки голова вообще вроде бы ни к чему). Но так ли уж необходимо «мечту» о двух головах делать постоянным как поэзии, так и широкой гласности?

А посмотрите, как «по-пастернаковски» осложняет Л. Мартынов описание летней черноморской духоты:

Не турчанка ли стамбульская выворачивает муфту из
из ангорского кота?

Не гречанка ли афинская или где-нибудь в Пирее
женщины у очагов

Тень Эллады исполинскую стелют по Гиперборсе здесь,
у наших берегов?

Подобные ассоциации мало что говорят читательскому сердцу: от такой «духоты» веет рассудочным

холодком, она выглядит вымученной, «накрученной», притянутой, как винокуровские «греческие празднества».

Что же говорить о молодых поэтах, более восприимчивых к различным поэтическим инфекциям, в частности таким, как ложная значительность?.. Уж их-то так и тянет поломаться, пооригинальничать — чаще всего из-за отсутствия мысли, которой невозможно не поделиться с читателем.

Люблю поэзию Б. Ахмадуллиной, очень «женскую», — но не принимаю ее потуг о простом говорить кружевнотонко. Люблю темпераментно-образные стихи А. Вознесенского — но только не такие, где он совершенно «заговаривается». Перечитайте-ка его «Балладу-яблоню» (впрочем, лучше не надо)... О чем там речь?.. Мягко выражаясь, о том, как яблоня забеременела... от летчика. А накручена-то вокруг этого бог знает какая псевдосложность и псевдомудрость!.. Здесь за ложной многозначительностью — отталкивающий натурализм.

Немало ведется споров вокруг поэзии А. Кушнера и В. Сосноры. О последнем правильно писалось, что его стихи делают мир «декоративным, как ковер. За аллегориями и ассоциациями — порою даже талантливыми — не возникает ощущения духовности, душевности». То же можно сказать и о некоторых стихах А. Кушнера, с затемненным смыслом, искусственностью метафорических построений.

И как раз в лучших своих стихах они раскованны, естественны, в них светятся и мысль, и чувство.

Ложная значительность... Вот я читаю в «Сельской молодежи» стихи-миниатюры Вл. Бурича:

Бабочка —
 договор о красоте
имеющий равную
силу
на обоих крылышках.

Тут даже знаки препинания отсутствуют. Вот, мол, какой я авангардист!.. Ну, а что за этим авангардизмом?.. Банальность мысли.

Да, больше оригиналы...

В статье Тилаба Махмудова «Время требует зрелости» отмечается, что и в Узбекистане появилась «мод-

ная» поэзия со стремлением к абстрактному философствованию, с принесением в жертву усложненным аллегориям и искусственной символике правды жизни. «Мода ложной многозначительности распространилась довольно широко, — пишет критик. — В изобилии стали печататься рубай... чаще всего в этот жанр облачаются общеизвестные зарифмованные истины».

Ложная значительность... Это поветрие задело даже таких «земных», глубоко знающих жизнь поэтов, как Владимир Солоухин. Имеется и у него стихотворение «Голова» (что за пристрастие к расчленению человека!), суть которого сводится к тому, что мозг человеческий (даже птичий!), хоть и состоит из серого вещества, но все равно — чудо. Оригинальная мысль... Кто-то из ученых восхищался этим стихотворением как образчиком такой научно-популярной поэзии. Особенно трогательно звучат строки, где поэт просит не пинать погами его голову — «снарядом ли, просто ли оторванную»... Вот ведь до чего можно «дофилософствоваться!».

Но «ложнозначительные» стихи В. Солоухина (их у него, к счастью, немного), А. Кушнера, В. Сосноры и других все же «прикреплены» к нашему сегодняшнему дню. Когда же читаешь иные из стихов Л. Мартынова, Е. Винокурова, поражает их «вневременность» оторванность от конкретной жизни, ее проблем, красок и действительных открытий, ее бурь и водоворотов трудностей и побед. Сколько вокруг нас такого, что по настоящему тревожит, радует, волнует, толкает на большие раздумья. В цикле же «Музыка» не услышишь ни отголоска громовых ударов, прокатывающихся над миром, будоражащего строительного гула, столь характерного для нашей социалистической действительности.

Я уже писал, что поэт, конечно же, волен обращаться и к так называемым «вечным темам», писать о любви и старости, о смерти и бесконечности... Но, повторяю, каждый новый исторический период наполняет эти «вечные» темы, понятия новым содержанием, меняется и наше идейно-эмоциональное отношение к ним. Стихи старости есть и у Тютчева, и у Грибачева. Нас и сегодня пленяет неувядаемый, глубокий лиризм тютчевского стиха. Но созвучней нашим чувствам, стремлениям стихи Грибачева, самим своим боевым настроением спорящие с грустной, мудрой созерцательностью Тютчева.

Приходится признать, что многие стихи Е. Винокурова из цикла «Музыка» не на вечные, а на отвлечен

ные темы. О любви «вообще», о бесконечности «вообще»... Судите сами: «Порой в гостях за чашкой чая, Терзая ложечкой лимон, Я вздрогну, втайне ощущая Мир вечности, полет времен», «И в мире, где все граница, Все только предел и преграда, Бездонная бесконечность, — Ты мне лишь одна отрада!», «И выход один только самый простой: Стать в жизни впервые спокойным и падать В обнимку с всемирною пустотой». Создается впечатление, что поэт только только узнал о существовании вечности и бесконечности, и сердце его по-детски дрогнуло от изумления и страха, проистекающих из интеллектуальной инфантильности (в чем, кстати, Е. Винокурова я никак заподозрить не могу). Так или иначе, но меньше всего в этих стихах осмысления «вечных» тем с позиций современности, не чувствуется в них силы и уверенности Человека, побеждающего пространство и время.

На «вечные» темы рассуждает и Л. Мартынов, — например, в стихотворении «Над философским словарем». Но стоило ли склоняться над пресловутым словарем, втягивая в это и Вселенную, и читателя, чтобы на слова Вселенной: «Я безгранична, но конечна!» ответить: «Конечна ты, но безгранична». Ведь кроме этих оголенных, софистически звучащих формул, стихотворение ничего не содержит. Слушаешь этот «спор» поэта со вселенной и думаешь: ну, и что?..

Очень трудно определить, против кого и чего, конкретно, нацелены и что утверждают стихи Л. Мартынова с настойчивым рефреном «Я буду все прощать». Из-за их отвлеченности им можно дать любое толкование. К тому же, если бы на них не стояли такие метки, как фамилия автора и дата написания, было бы затруднительно определить, и когда они созданы: ныне — или полстолетия назад.

А к какому времени относятся такие, например, строки:

Сегодня удивительно неудачный день.
Видно, что-то случилось с машиной, отмеривающей неудачи..
Весенний ветер разметал мои мысли,
И тяжелыми каплями упадают на землю миги,
Как холодные слезы из глаз слепого.
Я не знаю, что со мной делается,
Но с каждым днем все меньше и меньше
Меня интересуют книги и стихи...

Я не знаю, что это? Болезнь ли, дыханье ли смерти...
Но с каждым днем я все больше становлюсь

Пустым и прозрачным, как стекло.

Я весь умру. Всерьез и бесповоротно.

Я умру действительно. Я не перейду в траву, в цветы, в жучков.

От меня ничего не останется. Я не буду участвовать

В круговороте природы.

Зачем так бьешься ты, глупое сердце?

Неужели так дорожишь ты жизнью,

Этой скучной загадкой с вечным повторением одного и того же?

Я всегда понимал, что вечность —

Штука очень и очень плохая.

С нею худо кончаются шутки!

Летит опустошенная земля

И кружится бесцельно...

Может быть, это будет сегодня,

Может быть, уже завтра не придет никогда.

Так когда же, о какой эпохе, каким поэтом это написано?

Раскрою нехитрый секрет: приведенный отрывок смонтирован из стихотворений разных поэтов, живших и писавших в разное время. Тут строки и из сборника Б. Дикса «Стихотворения» (1909 г.), и из цикла Веры Ключевой «Акварели» (1920 г.), и из «Каруселей» А. Рославлева (1910 г.), и из сборника «Голубое — Золотое — Дальнее» (1919 г.), и из «Музыки» Е. Винокурова, причем из трех различных его стихотворений.

Как похожи все эти строки — по мысли, по тональности, по поэтике! Вот и получается, что советский поэт Е. Винокуров в 1964 году писал о том же и так же, как и о чем писали **второстепенные**, ныне прочно забытые поэты в начале нашего века.

Этот век с полным правом можно назвать веком-скоороходом — так стремительно развиваются события во всем мире, такой мощный шаг у нашей страны, у нашей науки и культуры. Тем более удивительно, что иные, хронологически современные нам стихотворцы, считающие себя новаторами, топчутся на дорогах, густо застелженных неведомыми декадентиками прошлого и давно оставленных советской поэзией в целом.

И вот еще причина, по которой стихи наших «псевдофилософов» кажутся скучными: это повторение про-

денного, все это уже было!.. Было и «экспериментаторство», граничащее с оригинальничаньем, и ложная значительность, и служение «вечным» темам, сиречь — Отвлеченности.

Итак, через Пастернака — к давно забытому и посредственному!..

Хочется от души посоветовать поэтам, вступившим на «пройденный» путь, поскорее с него сойти, ибо на этом пути уже заблудились в свое время многие их предшественники...

Пусть они не забывают, что ложная значительность даже такому большому мастеру, как Пастернак, помешала подняться над самим собой.

ТРУДНЫЕ СУДЬБЫ

люди и родина

Чтобы понять Каракалпакцию — нужно ее узнать.

Нужно пройти, проехать по ее земле, увидеть ее города и селенья, поля и пустыни, Арал и Амударью, нужно познакомиться с ее людьми и с ее прошлым, с ее историей.

В этой республике есть на что посмотреть...

Когда намечаешь для себя маршрут поездок, тебе с жаркой настойчивостью советуют:

— Непременно побывай на Устюрте! Увидишь промышленный лик республики. Новый город вырос — Комсомольск-на-Устюрте!

— А Тахиаташ! Это наша электрическая житница. Поехали, это же под боком у Нукуса.

— Про массив Кырккыз не забудь! Там новые земли осваивают. Ну, и стариной полюбуешься, древними крепостями; уж Гульдурсун-то надолго запомнишь. Сколько легенд и преданий с ним связано.

— Приступили к строительству Туямуюнского гидроузла. На Аму. Читал, наверно, в газетах? Водоохранилище объемом почти в девять миллиардов кубометров. Миллион гектаров орошаемых земель! Сто тысяч киловатт электроэнергии! Грандиозно, а? Поинтересуйся этим.

— А наш Нукус? А Турткуль? А Чимбай? А Бируни?

— А хлопок? А рис? А рыба? А каракуль?

Широка, стремительна поступь республики! Это поистине «шаги саженьи». К какой области экономики, культуры не обратишься — ее характеризует быстрый, на глазах, рост.

Растет население, что является весьма важным социально-экономическим показателем. Ведь до революции каракалпакский народ оказался на грани вымирания. Революция спасла его. И к 1933 году население Каракалпакии составляло уже 373,5 тысячи человек, а ныне около девятисот тысяч. За три десятилетия оно

увеличилось чуть ли не втрое. За несколько десятилетий исчезли постоянные спутники каракалпакской бедности — болезни, такие, как трахома, туберкулез, дистрофия и иные, не менее грозные враги человека. И если в царское время в Амударьинском отделе Туркестанского генерал-губернаторства была всего лишь одна гражданская больница на десять коек и врачеванием занимались лишь знахари-табибы, то теперь республика имеет огромную (тысячную!) армию врачей, включая кандидатов медицинских наук, профессоров, крупных специалистов по борьбе с самыми различными недугами.

Примечательны цифры хлопкового «мужания»: в 1941 году было собрано сто тысяч тонн — замечу, что до революции хлопчатник в Каракалпакии совсем почти не выращивался. На то, чтобы добиться такого урожая (он тогда казался сказочным), ушло 24 года. Затем, чтобы его удвоить, было потрачено 18 лет. На третьи сто тысяч понадобилось уже только 9 лет — вот как росли темпы развития. А в 1981 году, в тяжелой погодной обстановке, Каракалпакия сдала государству около 400 тысяч тонн. Показатель для республики очень высокий — ведь климатические условия здесь для выращивания хлопчатника не слишком-то благоприятны.

Мы вправе говорить и о невиданном расцвете социалистической культуры в Каракалпакии.

К 1917 году в Каракалпакии было всего лишь четыре общеобразовательные школы с 176 учащимися. Учителя насчитывались единицами. При хивинском владычестве на тысячу человек приходился один грамотный. Дети обучались в начальных религиозных школах, мектебах, у невежественных мулл, и то лишь чтению корана и молитвам.

Мне довелось переводить на русский язык повесть покойного Амета Шамуратова «В старой школе», носящую автобиографический характер. Писатель на собственной шкуре испытал все «прелести» обучения в мектебе: и побои, и побои, и оупляющую зубрежку.

«Сам я рвался к ученью, мечтал о нем до тех пор, пока не переступил порога мечети... Чем-то мертвящим повеяло на меня от дощечек с азбукой, от слов муллы. Уже через несколько дней после прихода в школу меня начала одолевать смертельная скука, и я всей душой возненавидел и ученье, и своего учителя».

Прочувшись семь лет, герой повести, по существу, остался неграмотным. И когда отец забрал его из

школы, избавив «от тягостной опеки неправедных мулл», то герой почувствовал себя «жаворонком», вырвавшимся из клетки, расправившим для полета крылья.

Вот как «учились» в старое время.

Уже в 1933 году в Каракалпакии было 558 начальных школ с 36 055 учащимися и 32% грамотных.

А в 1968 году — 606 общеобразовательных школ, три детских спортивных, восемь музыкальных. И около 170 тысяч учащихся! Каракалпакия стала республикой сплошной грамотности.

«Народ наш маленький, — писал в 1969 г. в статье «Пять рассказов о дружбе» Первый секретарь Каракалпакского обкома КП Узбекистана К. К. Камалов, — о нем в старой песне поется: «Нас осталось так мало, что если подует сильный ветер, то он унесет нас вместе с песком». И вот этот маленький народ могучим рывком Октября был выведен на орбиту социалистической культуры, передовой науки». «Каракалпакия по числу студентов — из расчета на десять тысяч населения — вдвое обгоняет ФРГ, в восемь раз — Иран. Специалистов с высшим образованием у нас (по тому же расчету) в шесть раз больше, чем в Турции. В Каракалпакском филиале Узбекской Академии наук, в наших вузах, научно-исследовательских институтах... трудятся около 200 кандидатов наук, докторов, членов-корреспондентов АН Узбекистана».

Ныне республика покрылась густой сетью дворцов культуры, клубов, библиотек, лекториев.

В Каракалпакии существуют творческие союзы: писателей, композиторов, художников, музеи, университет, филиалы Академии наук УзССР и общества «Знание», вычислительный центр, республиканское теле- и радиовещание, издательства, полиграфическая база, свой журнал и газеты, филармония, кинотеатры, музыкально-драматический театр имени Станиславского, народные ансамбли, дворцы пионеров и многие другие научно-культурные коллективы и учреждения.

Учитель и врач сделались самыми главными фигурами в прежде отсталом краю.

Как до революции обстояло дело с промышленностью? Да никак.

Ныне же появились обрабатывающие фабрики, хлопкоочистительные заводы, домостроительные комбинаты.

Когда подъезжаешь к Тахиаташу — он издала племяет своим современно-индустриальным видом. Высо-

кие, стройные, ажурные опоры. Причудливо переплетенные металлические конструкции. Великаны-трубы. Поблескивающие на солнце резервуары.

В турбинных залах просторно и немногочленно. Тут хозяева — молодые специалисты, техники, инженеры. Пусть они еще неопытны (молодо-зелено) — этот пробел восполняется современными знаниями, высоким профессионализмом, интеллектуальностью и закономерной гордостью — своей специальностью, властью над мощными машинами, своим Тахнаташем...

Вечером, в темноте, Тахнаташ сверкает, как драгоценный камень. Огни ГРЭС переливчиво, размыто-широко отражаются в водах Амударьи...

Воочию видишь, как крепнет, споро и многообещающе, промышленная мощь «маленькой» (равной по территории нескольким европейским странам!) республики.

Все энергичней, интенсивней ведутся поиски полезных ископаемых в республике, чему я сам стал свидетелем, побывав в свое время в гостях у геологов, в палаточном микрогородке близ хребта Султануиздага. Штаб экспедиции расположился в зарослях кустарника, на берегу одного из притоков Амударьи с глинисто-желтой водой и нависшими над ней косматыми ивами. Кустарник давал тень, от речки веяло прохладой... Геологи отдыхали, но все выдавало в них «работяг»: загорелые, обветренные лица, выцветшая под солнцем современная «прозодежда»: майки, джинсы. Тут были ученые из Ленинграда, Ташкента, молодежь читала стихи, чужие и свои, в основном в стиле модерн, «старички», профессора, снисходительно слушали («ничего, пусть перебесятся, главное, что ребята все способные и работают на совесть») и рассказывали о богатствах, таящихся в здешних горах.

Каким было до революции сельское хозяйство Каракалпакки? Прimitивным, крайне отсталым. Земля обрабатывалась допотопными способами, вручную и еле могла прокормить каракалпакского дехканна. Основным занятием было животноводство, каракалпак проводил свою жизнь в изнурительных кочевьях. Многие кочевали еще и в 1935 году — к этому времени было коллективизировано лишь 62% всех хозяйств.

И вот, спустя чуть более тридцати лет, я еду в южные районы республики: Турткульский, Бирунийский. Долго, долго тянется пустыня. Рифленые бока барханов. Такыры — гладкие, ровные, как русские тока или

узбекские хирмашы. Соль — грязно-белесыми пятнами, как проказа на теле земли. Чахлые комочки полыни, кусты саксаула, плотно, по-паучьи, вцепившиеся в песок. Какие-то высокие желто-зеленые растения — изда-лека я принял их за карликовые березки. Цветы пустыни... Порой, справа, далеко-далеко, блеснет — словно кто саблей взмахнул — излучина Амударьи. И снова пустынная степь.

Но только мы миновали горы, как пейзаж из пустынного превратился в «культурный». Пошли земли, обжитые человеком-труженником. Озерца, сплошь белые от всяких домашних водоплавающих, — словно засыпанные тополиным пухом. Тутовник с верхушками самых причудливых форм: одни напоминают верблюжью голову на длинной шее, другие — разросшийся кактус, третьи — руки, с мольбой воздетые к небу. А вон стелется по земле большое темное облако: колхозная отара. «Шашлык!» — смеется мой спутник. «Каракулевые па-пахи!» — поправляет его шофер.

И поля, поля — море разливанное хлопка.

Пыльная дорога привела меня в один из турткульских колхозов. Да, пыльная, хотя дело было зимой — зима в том году выдалась теплая, ясная: чуть смягченный, и без зелени, вариант лета. Поля — голые, и народу на них мало: зима — пора праздников, тоев, когда колхозники свободны от срочных, страдных работ.

Виднеются бунты хлопка, собранного осенью. Верблюжьими горбами тянутся отвалы земли вдоль коллекторов: приходится проводить обессоливание, почва трудная. Традиционные садики со сквозящими деревьями, во дворах — черные жерла печей, тандыров.

Перед самым поселком проехали мимо руин старинной крепости, и чем-то таинственным веяло от блекло-желтых полуразрушенных стен: будто время стерло краски или окутало крепость легким туманцем, флером древности и легенды...

Это — история застывшая, окаменевшая, выдутая ветрами времени. А рядом — творится история нынешнего дня. И вершат ее простые люди Каракалпакии, колхозники.

Колхоз возглавлял историк по профессии.

Это примечательная, между прочим, черта: многие партийные, хозяйственные руководители в Каракалпакии — с высшим образованием, а то и кандидаты наук. Это новая, народная интеллигенция республики.

Колхоз возник в 1938 году (люди перебрались сюда из Турткуля, после катастрофического паводка), возник сразу как хлопкосеющий. В 1967 году средняя урожайность была 33,28 центнера с гектара. Неплохо.

Занимались здесь и шелководством, и каракулеводством. Труд на колхозных полях, животноводческих фермах обеспечивал людям солидный достаток: у половины колхозников мотоциклы, почти у всех телевизоры. Оглянешься назад (всего на пятьдесят лет!) — и даже не верится, что настолько мог преобразиться лик каракалпакской земли, жизнь ее труженников.

Позднее, жаркой осенью, я побывал в совхозе Кегейлийского района. Не в обиду будь сказано моим гостеприимным хозяевам — совхоз вроде бы ничем не примечательный, да хозяева и сами это признавали. Находится он далеко от райцентра, интересуются им меньше, чем другими, у него свои трудности и проблемы: создан он на базе пятнадцати маломощных колхозов, карты под хлопком небольшие, не хватало планировочной техники, не хватало воды, дороги, мягко говоря, не из лучших. Главное же: не хватало рабочих рук. Больше половины жителей совхозного поселка работали в Нукусе. Уходит в город молодежь... У совхоза менялись то отраслевой профиль, то размеры посевной площади, то районирование, и ему еще предстояло стабилизироваться, найти свое лицо.

Но на этом «среднем», даже неустойчивом фоне особенно ярко выделялось то, что типично для всей каракалпакской Нови.

Да, площадь под посевами хлопка была невелика; и средняя урожайность — так себе; но предполагалось вскоре посевную площадь удвоить, а урожайность довести до 20 центнеров с га. Развивалось (и начало давать прибыль) животноводство. Государство получало от совхоза шелковичные коконы, фрукты, овощи.

Главное же: прежде-то здесь вообще была пустыня! И до сих пор немало места занято степью, лесными зарослями — тугаями. Неподалеку проходил «барьер», отделявший здешних жителей от хивинского ханства. Еще и сейчас виднеются курганы, развалины сторожевых крепостей.

И царили тут нужда и невежество. Гнет и болезни. А ныне?..

В поселке в то время, лет десять назад, была одна средняя школа и три восьмилетки. 51 учитель — и поч-

ти все родом из здешних мест. Больница на 15 коек и фельдшерский пункт (вспомним-ка дореволюционную десятикоечную больницу — единственную на весь Амударьинский отдел!). Главврач — знающий специалист, окончил Самаркандский университет, местный уроженец, как и многие, вернувшийся после учебы к отчему очагу. Он жаловался на трудности, но ему было чем и гордиться.

— Раньше все повально трахомой болели. Сейчас ее нет и в помине. Хворают люди куда меньше, живут куда дольше. В прошлом году у нас родилось 139 человек, умерло 39, в основном старики. Сто душ — неплохое пополнение? Мы даем солидный прирост населения в масштабах все страны: кажется, по рождаемости Каракалпакия в СССР на одном из первых мест! Что бы вы без нас делали, а? Дети, говорят, это будущее страны. Вот подрастут наши новорожденные — поучатся кто где пожелает, дорога-то перед молодежью открыта широкая, и превратят пустыню в цветущий сад!

Что ж, так оно и будет — судя по тому скачку, какой уже сделала Каракалпакия из тьмы — к свету.

А трудности — это ведь трудности роста. Растут потребности. Растет требовательность к себе. То, что удовлетворило бы вчера, сегодня уже не устраивает.

Совхоз испытывал, например, большую нужду в технике, в машинах. Но на полях работало одиннадцать хлопкоуборочных машин, ими было убрано 75% хлопка.

Врач сетовал: маловато у него помощников, порой одному за всех работать приходится. Но прежде тут не было ни одного врача, ни одного учителя. Ныне же активно действовал дружный отряд специалистов, появилась своя интеллигенция.

Директор совхоза по образованию — агроном. Парторг — педагог, кончал когда-то физико-математический факультет, директорствовал в школе.

Все это зримые и весомые приметы нового — несколько десятилетий назад о таком и не мечталось.

И любой участок, даже «нетипический», может служить отличной меркой — для наглядной оценки скорости и раздольности шага, каким шло от Революции к Социалистическому Сегодня сельское хозяйство Каракалпакии.

О транспорте, дорогах республики в довоенном издании Малой Советской Энциклопедии сказано кратко: «Транспорт — один из наиболее отсталых участков на-

родного х-ва К. К. АССР». Речь шла о 1936 — 37 гг. В более давние времена обходились караванными тропами, выручала и «голубая тропа» — Амударья.

Теперь почти во все районы можно проехать на машине по широким удобным шоссе. Ну, а если вам нужно сэкономить время — летите самолетом! Так мы и сделали, когда торопились в Муйнак, — не прошло и часа, как мы уже выходили из резвого бипланчика, воздушного такси, на полутравянистое, полупесчаное поле возле рыбацкой «столицы». Как это пишет Аэрофлот в своих рекламах? «Быстро, удобно, дешево!». Бесперебойно работают авиалинии Нукус — Ташкент, Нукус — Москва, Нукус — Ургенч и другие, обслуживаемые красавцами лайнерами.

Писатели обычно питают пристрастие к автомашинам — поездка по республике на «Волге» или неприхотливом «газике» дает возможность, так сказать, детально полюбоваться самой дорогой и остановиться там, где что-то тебя особенно заинтересует. На машинах мы добирались и до Турткуля, и до Тахтакупыра, и до соседнего Ургенча, центра Хорезмской области. Добирались быстро и почти без происшествий. Надеюсь, что в недалеком будущем мне удастся проделать на машине путь по маршруту Ташкент — Нукус. Надежду эту питают темпы «одороживания» Каракалпакии.

Все знают, какой отсталой в области культуры была Каракалпакия до революции.

Даже в самую тяжкую пору народ не может обойтись без поэзии, музыки. Народ — всегда творец. И ему органически необходимо выразить себя в формах искусства. Каракалпакии создали замечательные эпосы, песни, придумали чудесные сказки и острые анекдоты. Но до революции все это существовало лишь в устном исполнении, в устной передаче — у народа не было профессиональной литературы, профессионального искусства.

Ныне же каракалпакская литература стала полноправным членом дружной семьи советских братских литератур. За последние десятилетия она набрала высоту удивительную.

Мне посчастливилось присутствовать в Ташкенте на большом празднике культуры — Неделе каракалпакской литературы и искусства в Узбекистане.

Особенно запомнился концерт, которым открылась Неделя. Сцена была залита морем красок. В танце, в

песне раскрывалось прошлое и настоящее Каракалпакии. Поражал высокий артистизм исполнителей и слияние в их манере петь, танцевать элементов традиционного-народных, специфически-национальных — и современно-профессиональных. Чувствовалась добрая традиция, как говорится, освященная веками, уходящая корнями в народное творчество, — и новая, советская школа искусства.

Ташкентская, весьма, надо сказать, избалованная и испушенная публика принимала концерт «на ура». И потом многие мои друзья-ташкентцы говорили, что получили от концерта огромное наслаждение и даже не ожидали, что в маленькой Каракалпакии такое большое искусство.

Развитие в советское время народной, социалистической культуры Каракалпакии иначе и не определишь как бурный расцвет.

А какими были и какими стали каракалпакские города?.. Даже самый крупный, Петроалександровск, нынешний Тарткуль выглядел, по рассказам, скорее этаким станицей. Город в дореволюционной Каракалпакии — это большой аул или небольшая крепость.

Ныне бывшее крепостное селенье, Нукус, — подлинно современный город. Театр. Кинотеатры. Телецентр. Гостиница. Массивное здание полиграфического комбината. Универмаг — стекло, свет, пестрота красок, кафе «Кырккыз», сочетающее национальный колорит и современные формы, новый аэровокзал. И уже ставшие неизменными «придатком» больших городов местные «Черемушки». Хороша просторная, в зелени, площадь Ленина с памятником вождю революции, создателю нашего государства. Приятно пройтись по главной улице имени К. Маркса, прямой, застроенной новыми, современными зданиями.

На площади Ленина я наблюдал первомайскую демонстрацию. Это было красочное зрелище. И очень жизнеперрадостное. Шла в основном молодежь — нарядно одетая, звонкоголосая. Шли дети — они держались за руки родителей, пристроившихся сбоку колонн, и как бы окаймляли шествие. Шел молодой город Нукус. Студенты, школьники. Артисты. Самодеятельность. Физкультурники. Проплывали мимо макеты промышленных новостроек. А вот провезли, в доподлинном ее виде, юрту — исконное жилье каракалпачков в прошлом, ныне требующееся лишь чабанам на дальних пастбищах.

Песни. Цветы. Флажки. Воздушные разноцветные шарики. И над всем этим ярко-пестрым многообразием — ослепительное солнце в пронзительно-синем небе. Оно казалось в этот день символичным: солнцем новой жизни над Каракалпакией, солнцем, давшим добрые всходы.

Если уж говорить о городах, то как не вспомнить Бируни — родину крупнейшего восточного ученого-энциклопедиста Абурайхана аль-Бируни, в честь которого и назван город. Происхождением своим он уходит в глубокую старину: когда-то здесь стоял древний Кят, потом на его месте разросся кишлак Шаабаз, превратившийся после революции в один из важных промышленно-культурных центров Каракалпакии. И недаром он вместе с Нукусом, Ходжейли, Тахнаташем, Кунградом и Муйнаком упоминается в книге Ш. Рашидова «Знамя дружбы» среди городов, «ставших крупными промышленными и культурными центрами».

В 1970 году Бируни постигла трагедия: почти все дома смыло весенним паводком — это Амударья, в который уж раз, выказала свой разбойничий нрав. Мало ей показалось Турткуля, который снесла она за тридцать лет до этого. Но новый восстановленный Бируни краше прежнего!

В основе экономических и культурных успехов Каракалпакии, ее спорого движения вперед — прогрессивность социального строя, утвердившегося в республике после Октября. И одно из важнейших, характернейших качеств нашего общества — нерушимое единство народов Советской державы.

Разве Каракалпакия в одиночку могла бы добиться такого бурного расцвета во всех областях жизни?

На этот вопрос убедительно отвечает К. Камалов: «Древняя каракалпакская пословица гласит: «Жалка судьба человека, не имеющего друга, нет судьбы у народа, не имеющего друзей». История Советской Каракалпакии — это история дружбы с русским, узбекским, казахским, туркменским и другими братскими народами».

Велика сила братства народов нашей страны, и замечательные плоды приносит это вечноезеленое, с мощными корнями дерево дружбы!

Но и в самом каракалпакском народе заложены благоприятные качества, в немалой степени способствовавшие могучему рывку в социалистическое Сегодня.

Просто удивительно его трудолюбие! И когда мне

захотелось поточней, подетальней определить его, то первые эпитеты, пришедшие на ум, были: «исконное» и «упорное».

Неиссякаемое упорство в труде как извечная народная черта, — над этим меня заставила задуматься история каракалпакского народа.

Народ, постоянно подвергавшийся гонениям, вынужден был откочевывать все дальше и дальше на восток, сперва на берега Волги, потом в степи и, наконец, в пустыни, в Приаралье.

И каждый раз, переселившись на новые земли, которые оказывались все более и более неудобными, каракалпакские труженики закатывали рукава и вступали в борьбу с суровой природой, преображали пустынные степи.

Проживая до середины XVIII века на Сырдарье, под властью казахских ханов Малого жуза, каракалпаки, с присущим им трудолюбием и мастерством, выращивали хлеб, разводили скот. Мастера ирригации, они создали густую оросительную сеть, с каналами, плотинами и другими сооружениями, искусными и крупными по размерам.

Позднее, теснимые алчными казахскими феодалами, каракалпаки обосновались в районе Жаныдарьи, близ границ Хивинского ханства. И снова — за работу! Им пришлось развивать хозяйство в условиях непрерывных военных столкновений, на заброшенных землях — и все же эти земли были освоены благодаря упорству, многовековому ирригационному опыту, любви к земле. Известный ученый-археолог С. П. Толстов назвал остатки каракалпакской ирригации на Жаныдарье «величественными памятниками трудовых подвигов предков каракалпаков».

В XIX веке каракалпакский народ подпал под иго хивинского хана. И территория ему досталась еще более «трудная»: пустыни, солончаковые, болотистые почвы, малопригодные для земледелия. Это был, пожалуй, один из самых мрачных периодов в истории каракалпаков. Но опять-таки трудовой оыт и упорство помогли им оросить и освоить земли Приаралья. «Благодаря героическим усилиям народа, — писал видный каракалпакский ученый-историк С. К. Камалов в монументальном труде «Каракалпаки в XVIII — XIX веках», — в первой четверти XIX века возникли три основных каракалпакских земледельческих оазиса: Калликольский,

Кушкантауский, Кегелийский». Наряду с земледелием, каракалпакские труженники активно занимались скотоводством, рыболовством.

Не случайно я подчеркнул эти слова: «трудовые подвиги», «героические усилия». Это точное и глубокое определение созидательных свершений каракалпакского народа в прошлом.

И с какой же освобожденной силой взбурлила трудовая энергия каракалпаков после того, как Октябрьская революция убрала все преграды с их пути к светлому будущему! Свободный, раскованный груд творит чудеса.

И на каждом шагу я видел блестящие результаты, волшебные плоды этого труда — по-новому героического и, если можно так выразиться, традиционно упорного

Я стою на краю поля, где нежно зеленеет особый хлопчатник — самый северный в мире. В этом смысле Тахтакупырский район Каракалпакии — мировой рекордсмен. И это, как говорится, «впечатляет». Сколько же понадобилось труженнического мастерства и упорства (опять выделяю это слово!), чтобы продвинуть сюда хлопок. И чтобы из года в год собирать богатые «северные» урожан!

Я смотрю на желтоватые, привольно струящиеся воды Амударьи. Река-кормилица... И река-разбойница. Какими только эпитетами не наградил ее народ: «грозная», «коварная», «бешеная», «капризная». И все верно!.. Сколько неожиданных, поистине басмаческих набегов совершала она на города и аулы Каракалпакии! Как причудливо и капризно, словно извивающаяся змея, меняла она свое русло! Из совхоза имени Бердаха мы возвращались по дороге, бежавшей по пустынной степи, среди такыров и барханов, и мои спутники рассказывали:

— Тут вот было раньше русло Аму. Люди жили... Вон тот лес видишь? Когда-то рос на левом берегу Аму, теперь — на правом. Но, конечно, не он переместился — река.

Трудно было поверить, что когда-то здесь кипела жизнь, радовали глаз не пустынные, а «оазисные» пейзажи. Но, в подтверждение слов моих спутников, по дороге то и дело попадались старые, зансенные песком мазары—кладбища. Тут умиряли люди... А, значит, — и жили.

Амударья и доныне подмывает правый берег, «сье-

даёт» колхозные гектары, представляет постоянную угрозу населённым пунктам — весной над ними словно туч нависает, готовый вот-вот опуститься, сверкнув на толще разбойной волной разлива. Не только Бируни пережил тяжёлые дни — и над Нукусом как-то сгустилась опасность. Помню, я позвонил друзьям, и услышал взволнованный голос. «Мы сейчас все вроде бы мобилизованные. На защиту города от паводка. Подъём воды достиг критического уровня — до беды осталось несколько сантиметров».

Упорным, самоотверженным трудом люди отвели беду от города, столицы Каракалпакки.

И я смотрю на Аму, своевольно несущую мутно-жёлтые воды, слежу взглядом за паромом, который виднеется — черной черточкой — далеко-далеко, у противоположного берега, и думаю уважительно: сколько же труда, сил, упорства, энергии, смекалки приложили каракалпаки, чтобы справиться с этим необъезженным, крутого нрава, иноходцем — Аму, обезопасить себя, свои поля и жильё от приносимых рекой стихийных бедствий, «дейгишей», неожиданных резких бурных разливов.

А персиковые сады на Устюрте — это разве не результат трудовых усилий?.. Деревья там обросли не только плодами, но уже и легендами: мы в Ташкенте слышали полный восхищения рассказ о старике, заложившем первый «устюртский» сад. И над пустынным, прежде безжизненным плато, сжагым в тесные объёты пыльными бурями, огненным зноем, над бывшими «гиблыми местами» зарозовели облачка персикового цветения...

Ну, и Арал — это тоже противник не из слабых. Недаром в каракалпакской легенде говорится, что когда-то вода в море была чистой, пресной, ключевой, а соленой стала потом — от рыбацкого пота, от слез матерей и жен аральских рыбаков.

Лет десять назад я вместе с московскими и нукусскими друзьями встречал День Победы на Арале. С берега он выглядит мирным, покойным. Сидят на берегу ребята с удочками, слышатся восторженные крики, когда попадаетея золотящаяся на солнце шемая, и досадливое ворчанье, если ухватится за наживку бычок, рыба прожорливая, жадная, наглая. А на той стороне залива — белоснежной грядой — пеликаны, а над заливом тянут куда-то черные бакланы, карабаи. Сам Муйнак — городок аккуратный, но почти без зелени.

И всюду — песок, песок, его тут тьма-тьмушая, но он, как говорят, «хороший», и не пачкает, а чистит: облепит тебя всего, отряхнешься — костюм словно из химчистки.

На рыбацком сейнере мы вышли в открытое море. Арал тихий. Но нас весьма ощутимо покачивает, в лицо летят соленые брызги. Цвет у воды изумительный: нежно-синий. Но вот мы перерезали широкую желтую полосу с резкими, четкими границами: это место, где Аму впадает в Арал. Позади и Тигровый хвост. По палубе ходить уже трудно: море «поигрывает» нашим довольно тяжелым судном, и я словно вижу хитрую улыбку Арала: мол, веселитесь на здоровье, любуйтесь моей красотой, я вам пока разрешаю... Будто угадав мои мысли, Ренпазар Бабаназаров, ныне первый секретарь Нукусского горкома партии, а тогда министр здравоохранения, страстный рыбак, говорит:

— Представляете, какво приходится рыбакам, когда Арал-батюшка разгуляется?.. Ну, да, он мелеет, об этом сейчас всюду пишут, да вы и сами это видели. Но все же с ним шутки плохи! И как волна шлифует камень, так Арал «отшлифовал» характеры наших рыбаков: это народ упорный, мужественный. И работу их иначе не назовешь как трудовым подвижничеством. Ведь так называемые «дары моря» — никакие не дары, их надо у моря отнять, трудом, умом, отвагой.

В общем, куда ни глянь — всюду примеры упорства и трудолюбия каракалпаков.

Это народ, по сути своей, глубоко мирный. Люди мирного труда, любящие свою землю и свой очаг. Но оглянешься на их прошлое: войны, восстания. Мирным каракалпакам слишком часто приходилось браться за оружие — чтобы отражать захватнические набеги или скинуть ненавистное чужеземное иго, избавиться от непосильного гнета. И потому одержимость, упорство в труде как бы соседствует в их характерах с мужеством, стойкостью, подобающими храбрым воинам. Ратными подвигами ознаменовано участие каракалпаков в Великой Отечественной войне, в жестокой битве советского народа с фашизмом.

И вот две примечательные, характерные детали...

В конце 1941 года, когда на земле нашей уже бушевал черный, испепеляющий пожар войны, в Каракалпакии освоители массива Кырккыз приступили к строительству первого ирригационного канала. Люди, для ко-

горых главное труд, а не война, смотрели в будущее, ждали мирный Завтрашний день. Они были уверены в победе нашей державы — потому что и сами, с оружием в руках, завоевывали эту победу.

В колхозе имени Ленина Ходжейлийского района, на центральной усадьбе, мы видели прекрасный памятник воинам, павшим в боях за Родину в Великую Отечественную... Памятник-обелиск, скорбный и гордый, воздвигнут на средства колхоза. На граните навечно высечены имена колхозников, ушедших на фронт и отдавших жизнь во имя свободы, счастья и процветания родного края, ради того, чтобы земляки их могли мирно трудиться на мирной земле. Список — длинный. И сбоку — фигура склоненной женщины, воплощение печали.

Колхоз воздал должное своим сынам-героям, показавшим, на какие подвиги способен каракалпак, оторванный войной от родных мест, от привычной трудовой обстановки.

Сыновья каракалпакского народа, которые сейчас моотверженно трудятся на колхозных полях, на фабриках и электростанциях, в геологоразведке и рыболовецких совхозах, достойно проявили себя в минувшей войне. И День Победы для многих моих каракалпакских друзей был не только всенародным торжеством, но и личным, и взор их то светлел, то туманился от воспоминаний, набегавших, как облака...

Мужество, сила, ловкость, сноровка воспитываются в каракалпаке с детства. И непреходяще ценятся, уважаются в нем. Трус, рохля — не каракалпак, не джигит, — сознание этого прочно усваивается чуть ли не с молоком матери.

Мне довелось в дни Пахта байрама, — праздника хлопка — наблюдать колхозные скачки и гурес — борьбу палванов, богатырей Эти народные игры — повседневность Каракалпакии. На них и демонстрируются борцовские качества мирных тружеников республики.

Скачки на гурткульском ипподроме были совсем не похожи на те, которые притягивают, как магнит, московских «тотошников». На трибунах и за ними собрался чуть не весь район, а на ипподромном поле — представители колхозов-соперников, возбужденные, не находящие себе места от волнения. Ветерок чуть шевелил, перебирал конские гривы. А на конях — мальчишкешкольники. Видели бы вы, какие у них сосредоточен-

ные, серьезные лица, как напряжены их фигурки, и с каким азартом, рванувшись вскачь, торопили они своих коней, стремясь обогнать «соперников», прийти первыми! Незабываемое зрелище... Как и гурес. В эти игры и ребята, и взрослые не только все силы, но, кажется, и всю душу вкладывают.

И хорошо, что каракалпаки доныне верны традициям, способствующим закалке характера, пропагандирующим ловкость и силу.

И хорошо, что традиционное в каракалпакских ребятах сплзвлено с тем новым, что дают им образование, современная культура, книги — и наглядный пример старших, героев-тружеников, героев-воинов.

С сыном моего друга, писателя, живым пареньком, учащимся четвертого класса, мы разговаривали, так сказать, как мужчина с мужчиной. Как он учится? Что читает? Книг было названо много. Особенно ему по душе Аркадий Гайдар — мальчишка перечитал все, что им написано. Гайдар... Это уже новые, общесоветские традиции. Я себе представил Тимура на горячем колхозном коне — ничего, получилось. Мой собеседник хорошо знал свою республику и то, что происходит по всей стране. «Новый» каракалпак. Будущее республики. Можно только порадоваться, что растет в Каракалпакии такая смена, вобравшая в себя все лучшее — от отцов и от новой жизни.

А еще поражает в каракалпаках удивительное, пылкое, какое-то беззаветное радушие. Гость, говорят там, это лучший подарок хозяевам. И когда тебя принимают как гостя, ты сперва испытываешь неловкость: легко ли ощущать себя «подарком»? Но потом неловкость проходит: настолько гостеприимство искреннее, естественное, от души. И если вые даже впервые в Каракалпакии, то быстро почувствуете себя, как дома, — благодаря стараниям хозяев. И вскоре убедитесь в мудрости и прозорливости каракалпакской поговорки: кто испил воды из Амударьи, тот еще раз вернется на ее берега.

Верность, щедрость, доброта. Готовность прийти на помощь в трудную минуту. Трогательная забота о друге — и тревога за него. Вот какие глубины скрыты за простым радушием, за крепкими, теплыми рукопожатиями...

А как любит каракалпак свой народ, свою землю!.. Он, как правило, глубоко и подробно знаком с историей своего народа, небольшого, но мужественного и от-

важного, твердого, как скала, с историей, уходящей в глубь веков... Он панзусть знает древние легенды и народные эпосы, песни, сказки, притчи. Он жадно накладывается на книги о прошлом каракалпаков... И гордится нынешним днем республики, всем, чего достигла она за годы Советской власти.

Ныне чувство национальной гордости у каракалпаков как бы возмужало, «раздалось в плечах», стало неотъемлемой частью советского патриотизма. Понятие Родины расширилось до понятия Социалистического Отечества.

И другие исконные качества каракалпакского национального характера в наше время наполнились новым смыслом и содержанием, обогатились новыми гранями и засверкали еще ярче. Их как бы отгранила, высветлила советская, социалистическая Новь.

Новую, высокую цель обрело трудолюбие, упорство в труде. На пользу строительства нового общества обращены творческие дерзания, народная сметка, многовековой трудовой опыт. Все более расковывается общественная инициатива. Верность в дружбе, готовность помочь, выручить выросли в чувство семьи единой. Вместе со всеми народами нашей страны каракалпаки грудью отражали натиск врага в годы Великой Отечественной войны, и тогда с особой силой проявились их мужество, бесстрашие, стойкость.

* * *

Почему я так много рассказываю о том, что вроде бы не имеет прямого отношения к теме очерка?

Ведь основная моя цель — познакомить читателя с героями, уроженцами Каракалпакии, проявившими мужество и отвагу в дни Великой Отечественной войны, и не меньшее мужество, упорство, выдержку — в послевоенное время.

Им пришлось перенести тяжкое испытание: войну. Свой солдатский, патриотический долг они выполнили с честью, но уж и хлебнули лиха! Ведь война умеет только отбирать: годы, здоровье, жизнь... Однако, пройдя сквозь горнило войны — суровой жизненной школы, герои мои еще больше окрепли духом, испытания закалили их, а это пригодилось им в мирной жизни.

Но они были уже как бы подготовлены к подвигу, ратному и духовному, который суждено им было свер-

шить. Подготовлены самим настроем окружавшей их жизни и тем, что заложено было, извека и ныне, в их характерах. Естественные истоки их героизма — в нашем социалистическом строе, ленинской новизне, и в национальном характере.

И все, о чем я писал выше, это как бы предисловие к жизни, к борьбе наших героев. Без этого не понять истоки, питавших силу их духа. Это, повторяю, — Советская власть плюс национальный характер, в его обновленном выражении.

Каракалпакский народ, освобожденный и поднятый к новой жизни революцией, вся общественная атмосфера, в которой мы живем, воспитали их достойными сыновьями Родины — и они прославили свой народ, Советскую Родину на полях сражений и в мирной жизни, проявив — «судьбе вопреки», — героизм, как бы это выразиться, долговременный и повседневный.

Каждый из них — это человек удивительной и трудной судьбы. И в то же время каждая судьба «заквашена» на том типическом, что определяет нашу эпоху, нашу жизнь и характер советского человека,

ВОИНА

1

Абдурахман Уразниязов по национальности — казах, по документам — узбек. А жил до войны в Каракалпакии, в Бирунийском районе, преподавал русский язык в школе, находившейся в колхозе «Правда».

Когда, в 1939 году, стукнуло Абдурахману двадцать лет, его призвали в армию.

Войну он встретил в солдатской шинели.

35-й мотострелковый полк, в котором служил Уразниязов, вступил в бой с фашистами на Украине, в Житомирщине, под Луцком.

Абдурахман и его товарищи сражались с врагом храбро и самоотверженно. Но воевать пришлось недолго. Полк попал в окружение, а, вырвавшись из него, расположился в станице Золотоноша, в 140—150 километрах от Киева, неподалеку от реки Псел, протекавшей здесь через болотистые, топкие места. Группу, в которую входил и Абдурахман, выслали вперед, к реке,

провести разведку боем. И опять—окружение. Абдурахману, вместе с другом, младшим лейтенантом Василием Докенко (родом с Черниговщины), удалось скрыться в лесу — фашисты побоялись туда сунуться, лишь поливали лес беспорядочным огнем. К полку разведчики так и не смогли присоединиться и на долгое время сделались лесными жителями. Всюду был враг... Уразниязов и Докенко прятались в ветвях деревьев. Лишь изредка, раз в пять-шесть дней, они спускались вниз, прокрадывались к ближайшему полю и, набрав пшеничных колосьев, спешили обратно, в спасительную лесную чащу, и, снова взобравшись на деревья, «обедали»: вылушив из колосьев зерна, медленно жевали их. Тем и жили.

Так прошло четыре месяца. Наступила зима — сырая, промозглая. Голодная «диета» дала себя знать: оба похудели, остались кожа да кости. Дальше жить в лесу, на деревьях, в холоде и голоде, стало неважно. Однажды, в сумерки, Абдурахман пробрался в ближайший хутор. Сам он так вспоминает об этом:

«На окраине хутора я увидел старуху, входившую в дом. Шепотом окликнул ее:

— Матушка! Погодите!..

Старуха, увидев меня, испугалась. Да и немудрено: представляю, как я выглядел — оборванный, грязный, заросший... А потом, признав во мне советского бойца, в страхе, смешанном с тревогой, замахала руками:

— Уходи, уходи отсюда, сынок! Тут немцы!

— Мне бы только хлеба... немножко... Сколько уж дней во рту ни крошки не было.

Старуха, опасливо оглянувшись, кивком показала на лесную опушку:

— Обожди меня там. И гляди, не попадись кому на глаза!

Старуха исчезла за дверью, а я побрел обратно в лес и укрылся за деревьями. Встреча эта приободрила меня, по жилам разлилось тепло, ноздри шекотал запах мягкого, с поджаристой коркой, теплого пшеничного хлеба, только что вынутого из печи. Нам с Докенко по ночам часто снился такой хлеб — наяву он был недостижимой мечтой. Не отрывая напряженного взгляда от дома, в который вошла старуха, я в нетерпении шептал одними губами: ну, скорей, скорей же! Где ты там пропастилась?

Но вот, наконец, на крыльце показалась старуха, торопливо двинулась к лесу. Я вышел ей навстречу. В руках у нее был большой узел. Передавая мне его, морщась от жалости, она проговорила:

— Возьми, сынок. Тут хлеб, сало свиное, жареная картошка. Ешь на здоровье, набирайся сил...

Прижимая узел к груди, я с благодарностью сказал:

— Спасибо, матушка.

— Ладно, ладно. Все мы должны друг дружке помогать. А теперь уходи — чтоб эти собаки тебя не приметили.

Вернувшись «домой», я рассказал обо всем Докенко. При виде хлеба глаза у него разгорелись, он сглотнул слюну, но сдержался и, отломив от краюхи кусочек, принялся медленно, как-то вдумчиво его жевать.

— Еду будем беречь,— предупредил он меня.— Кто знает, когда мы вырвемся из этого проклятого леса и разыщем своих! Фрицы-то шарят вокруг, как ищейки. Примерзли они к этому месту, что ли?

Фашистам, видно, никак не удавалось продвинуться вперед. А, может, из-за партизан они здесь. Мы ведь в ту пору и представления не имели, что творилось кругом».

Иногда, не заходя в лес, гитлеровцы прочесывали его наугад. Издалека до невольных пленников леса доносилась частая перестрелка. По-прежнему они были словно заперты в лесу — всюду, как они уже убедились, были выставлены вражеские посты.

Спустя несколько дней Абдурахман снова встретился со старухой,— звали ее тетей Надей. На этот раз он получше ее разглядел. Ей было за пятьдесят лет. Худощавая, рыжеватая, с лицом в затвердевшей паутине морщин — от этого кожа ее походила на растрескавшуюся гладь такыра. Она сообщила, что немцы ушли из хутора по направлению к Полтаве. И посоветовала заглянуть в небольшой хутор, расположенный километрах в двух отсюда. «Идите все лесом, на запад, прямо на хутор и наткнетесь. Там вроде поспокойней, чем у нас».

Отдохнув, Абдурахман и Докенко тронулись в путь. Ноги еле держали их. И два километра показались им длинными, как ночь, стоявшая вокруг.

Слово — Уразниязову.

«Лесом мы вышли на хутор, о котором говорила тетя Надя, и постучались в первый попавшийся дом. Дол-

го никто не отвечал. Наконец, из-за двери послышался хриплый, рокочущий бас:

— Кто там?

— Свои, свои! — торопливо проговорил Докенко. — От полка отбились.

Дверь открылась, в проеме выросла плотная фигура старика лет шестидесяти, с лохматыми бровями.

— Заходите, сынки. Немцев у нас, слава богу, нету.

Старик жил в доме с женой и двумя дочерьми. Очунтившись в тепле, мы первым делом спросили: где фронт? Но старик и сам мало что знал. Мы заинтересовались у хозяина, как его зовут.

— Зовите дядей Миколой, — прогудел старик, — а еще на селе кличут меня «мясником». Я и есть мясник. Резал и разделявал свиней, коров. — Он критически оглядел нас. — От обмундировки-то вашей одно воспоминание осталось. Дыра на дыре. Я вам сейчас дам одежду, переоденьтесь, а вашу старуха спрячет куда подальше. Да, хлебнули вы, видать, лиха. А ничего. Поживете у меня, примете божеский вид — тогда и двигайте, куда сердце позовет.

— Своих будем искать.

— Вот и ладно. А пока — гостевайте, сынки».

На хуторе друзья прожили долго — податься было некуда. Фронт ушел далеко. Фашисты запрудили украинскую землю. Докенко пытался узнать, не действуют ли где поблизости партизаны, но о них никто не слышал. Хутор ютился на отшибе от бойких дорог, немцы сюда не заглядывали. Друзья помогали хуторянам в их крестьянской работе.

Но однажды пожаловал на хутор староста и объявил, что сюда перебирается немецкая комендатура. Абдурахман и Докенко начали собираться в дорогу. Решили идти к Полтаве, а оттуда на Харьков — там, по слухам, был фронт.

— Будьте осторожны, сынки, — заботливо напутствовал их дядя Микола. — Дороги-то кишмя кишат фашистами.

Погом Уразниязов говорил мне:

— Ведь он спас нас, старик этот, дядя Микола... Не попали бы в лапы к немцам, так умерли бы голодной смертью или замерзли. А помню я его смутно. И где он, что с ним — не знаю... Много хороших людей попадалось мне на пути. Но после войны трудно

было дознаться об их участи. А так хотелось бы отблагодарить всех — за все...

Дорог Абдурахман и Докенко избегали — пробирались лесами, рощами. В одну из черных, непроглядных ночей они заблудились, и Абдурахман потерял друга. Окликать, звать его было рискованно — вокруг рыскали гитлеровцы.

И Абдурахман двинулся дальше, к Полтаве, один. Он вошел в город под покровом темноты. Никто его не останавливал — он ведь был в гражданской одежде. И лишь за городом, когда Абдурахман уже удалился от него километра на три и вздохнул облегченно (спасен!), его нагнали фашистские мотоциклясты. Они пронеслись мимо и, круто развернувшись, преградили ему дорогу. С мотоцикла соскочили два автоматчика:

— Руш, хальт!

Связав Абдурахману руки, они кинули его на мотоцикл и доставили в Полтаву, в комендатуру.

Слово — Уразниязову:

«Допрашивал меня пожилой немец, тощий, как жердь, с острым носом, напоминающим шило, и голубыми, холодными глазами. Я пустился на хитрость — решил притвориться немцем. Немец орал на меня, переводчик увещевающе говорил:

— Господин офицер просит сказать: откуда вы. Господин офицер интересуется: вы партизан? Господин офицер обещает пристрелить вас, как собаку.

Я молчал. Немец, в ярости, хрипло выругался и наотмашь ударил меня по щеке. Я упал и не успел подняться на ноги, как на меня обрушились новые удары. Я падал, вставал, и допрос продолжался, и я по-прежнему делал непонимающий вид. Себе я приказал: умри — по ни звука! Иначе выдашь себя.

Им так и не удалось заставить меня заговорить. Нешадно избитый, я растянулся на холодном полу. Поняв, что ничего от меня не добьются, мучители бросили меня в подвал. Там уже сидело человек пятнадцать, их фигуры мрачно маячили в грязном сумраке. На меня накинулись с расспросами — я из осторожности молчал. Кто-то с усмешкой бросил:

— Уж немых начали хватать...

Вскоре меня перевели в лагерь военнопленных. Он битком был набит голодными, измученными, больными людьми. Они лежали на затхлой соломе, в темных, тесных каморках. Лагерь обнесен колючей проволокой, че-

рез которую пропущен электрический ток. А за проволокой — овчарки скалят зубы, острые, как ножи».

Однажды зимой Абдурахмана, вместе с восемьюстами другими пленными, вывезли на работу в лес, где заставили заготавливать дрова. Поселили их в полуразвалившейся, холодной, грязной и вонючей конюшне. Кормили бурдой, состряпанной из картофельных очистков или других отбросов. При одном ее виде мутило, а после еды выворачивало нутро. Хлеба совсем не давали — больше года не видел его Абдурахман. Уж и забыл, как он выглядит, пахнет. Пленных шатало, они еле передвигали ноги...

— И в душе я тысячу раз говорил спасибо дяде Миколу, — вспоминал Уразниязов. — Перед нашим уходом он вслеп своей старухе снизу доверху обложить подаренные нам пиджаки свиной и салом и аккуратно обшить бесценное это добро подкладкой. Не знаю, что случилось бы со мной, если б не этот щедрый дар дяди Миколы.

И потянулось, серой бесконечной чередой: изнурительная работа, не менее изнурительные переходы из лагеря в лагерь, от одного места работы к другому. В колонне пленных Абдурахман брел по дорогам, где когда-то шагал с винтовкой. Свою колонну они называли «тюрьмой на ногах», «концлагерем на пешем ходу». На дорогах оставались трупы — погибших от голода, от подневольного, непосильного труда, от фашистских пуль.

И все эти тюремные месяцы Абдурахман мечтал о победе.

В 1944 году гитлеровцы погнали пленных в Германию. Колонна прошла через Бессарабию, Румынию и в декабре оказалась в Венгрии.

Слово — Уразниязову:

«Как-то нам разрешили сделать привал. Земля, как одеялом, была покрыта мягким пушистым снегом. Со всех сторон нас окружали горы — небоскребы. Снег на их вершинах словно сливался с белыми облаками.

Еще до этого я договорился с несколькими пленными — при первой же возможности бежать. Уж лучше погибнуть, чем попасть в фашистское логово.

Начальником колонны был пожилой немец, Миллер, ему уж перевалило за пятьдесят. Мы часто беседовали с ним — он сам искал этих разговоров.

— До войны я тоже, как и вы, был учителем, — рас-

сказывал Миллер, — у меня четверо сыновей, двое на фронте. Один погиб под Сталинградом. — В глазах его стояли слезы. — Будь она проклята, эта война! — Я смотрел на него недоверчиво, он продолжал с горькой усмешкой. — Думаете, раз немец, как уж обязательно поклонник Марса, кровавый палач? А вы вспомните: измывался ли я над кем из вас? Мне приказали — я служу. Но войну... ненавижу! Столько отняла она у меня...

Мы все же сомневались в нем и старались ничем не выдать нашу готовность к побегу. Но, видно, он сам что-то заметил. И во время привала, когда я, расчистив от снега местечко на шоссе, улегся на асфальт и задремал, кто-то тронул меня за ногу. Я поднял голову: надо мной стоял Миллер. Была уже глубокая ночь. Миллер, наклонившись, кивнул в сторону леса, черневшего невдалеке. Тихо сказал по-немецки:

— Такого случая может больше не выпасть. Берите с собой своих товарищей — и уходите.

Я разбудил своих друзей, Ситника и Николая, спавших рядом:

— Вставайте. Бежим. Миллер советует не мешкать — я верю ему...

Товарищи мои мигом поднялись. Чтобы не оставлять следов на снегу, мы обмотали ноги тряпьем. Миллер дал нам на дорогу две буханки хлеба, сигареты, спички. И поторопил: скорее, а то начнет светать. Мы крепко, благодарно пожали ему руку и бесшумно побежали к горе, у подножья которой густо разросся лес. Вступив в лесную чащу, мы отломали от деревьев ветви попрямей, очистили их — получилось что-то вроде пастушьих посохов, с ними удобней было идти. Разделившись, мы двинулись вверх по склону, каждый своей дорогой, и снова встретились на вершине. Уже брезжил рассвет. Настелив на снег веток, мы уселись на них и взглянули вниз. Далеко-далеко по заснеженному шоссе медленно текла колонна пленных. Судя по всему, наш побег остался незамеченным. Когда мы увидели своих товарищей, которых гнали, как отару овец, навстречу мрачной неизвестности, сердца у нас сжались.

А мы — всей грудью — дышали свободой. Ситник, оглянувшись вокруг, тихо сказал:

— Братцы!.. А ведь мы — в раю!.. Из ада — попали в рай!

Окрестности были удивительно живописны. На кам-

нях — белый, как хлопок, снег, а деревья зеленые, будто весной. В горных расщелинах журчат родники. А воздух чист и свеж — как выстиранная простыня...

— Какое нынче число? — спросил Николай.

— А кто его знает! — откликнулся Ситник. — Для нас это — день избавления от неволи!

Все-таки мы стали подсчитывать дни и установили, что сегодня — 4 января 1945 года. На всю жизнь запомнил каждый из нас эту дату...

Я предложил подкрепиться немного и двинуться наугад — пока не набредем на какое-нибудь селение. Не может быть, чтобы здесь, в горах, не было партизан. Товарищи со мной согласились. И мы поклялись — не разлучаться друг с другом!».

И снова дороги, но шагалось уже легко, и дышалось привольно. Глухими лесами, горными тропами друзья пробрались в Чехословакию. Местные жители помогали им чем могли: хлебом, картошкой, одеждой. Воды было вдвойне: путники черпали ее пригоршнями из ледяных, пружинистых родников. Когда они впервые ее попробовали, по изможденным лицам заструился пот, как после обильного чаепития.

И вот однажды... Но слово — Уразниязову:

«Как-то Ситник посмотрел вниз — у подножья горы приветливо белели аккуратные дома. Прыгая с камня на камень, мы начали спускаться к селению. По пути повстречали старика, который нес из лесу дрова. Мы поздоровались, он положил дрова на камень, огромный, как печь, и окинул нас с ног до головы внимательным, настороженным взглядом. Я, не долго думая, спросил:

— Отец! Нам нужны партизаны. Партизаны!.. Есть тут они? Проводи нас к ним.

Старик, видно, понял, что с ним говорят по-русски, и кое-что уловил из моих слов. Лицо его подобрело; снова взвалив на спину вязанку, он кивком велел нам следовать за ним. Дойдя до своего дома, пригласил нас войти и, пока жена его готовила еду, угостил чаем и хлебом. Долгое время мы молчали, думая каждый о своем. Потом нам постелили на полу, хозяйка бережно укрыла нас одеялами. Ситник и Николай тут же уснули. А я слышал, как старик уходил куда-то и долго не возвращался. Потом и меня сморила дремота. Проснулся от громкого стука в дверь. Пока старик открывал ее, я растолкал своих товарищей: «Вставайте, пришел кто-то!». Не успели они поднять головы с подушек,

как в комнату вошли четверо мужчин с автоматами в руках, одетые как попало. Партизаны!.. Мы объяснили, что убежали из плена и разыскиваем партизан. Навыслушали внимательно, но все же связали руки и куда-то повели. Уже смеркалось, когда мы достигли горного ущелья, где, как оказалось, расположился партизанский отряд. Командиром был русский, Николай Сливин. Мы рассказали обо всем, что пришлось нам пережить, и остались с партизанами. Вместе с нами в отряде стало тридцать пять бойцов, представлявших пятнадцать национальностей!»

Отряд входил во 2-ю Словацкую партизанскую бригаду им. генерала М. Р. Штефанника, которой командовал советский офицер Константин Карпович Попов. Бригада насчитывала более 5 тысяч человек и находилась в подчинении 4-го Украинского фронта. В ней воевали русские, чехи, словаки, венгры, румыны, бельгийцы, даже немцы. Действовали партизаны, в основном, в горах. Жили в деревнях, в пещерах. По заданиям командования фронта совершали диверсии, налеты на фашистские гарнизоны, сражались с гитлеровскими и власовскими частями. Их девизом было: не давать покоя фашистским тылам! Патроны, взрывчатку они добывали у врага, получали от рабочих с гитлеровских заводов. Было в бригаде немало и женщин — их обычно посылали в «дневные» разведки, для проверки данных, полученных в ночных вылазках.

Вскоре Абдурахман познакомился с Поповым.

«Как-то перед рассветом Сливин пришел к нам с молодым, лет тридцати, мужчиной, высоким, статным, кареглазым, с пышными усами и бородой. Это и был Попов. Его сопровождала девушка лет семнадцати-восемнадцати, среднего роста, белокурая, в черной юбке и темной куртке, с санитарной сумкой на боку, с пистолетом в правой руке — доктор Гела, чешка, секретарь партбюро бригады.

Сливин представил меня Попову, между нами завязалась долгая беседа. Попов сказал:

— Мы земляки, хотя я русский, а вы каракалпак. И вдвойне земляки, потому что вы коммунист, как и я. Так вот, дорогой мой соотечественник. Как доложил мне Сливин, вы успешно справились с его поручениями, и я тоже хочу дать вам ответственное задание. Как вам известно, мы испытываем острую нужду во взрывчатке. Вы возьмете с собой трех человек, в том числе

словака Иозефа Кубика, проберетесь в ближний городок, заберете там у наших людей тол с взрывателями и на бричке, которую предоставят в ваше распоряжение, привезете все в отряд. Задание понятно?

— Понятно, товарищ командир. И будет выполнено!».

В сумерки Абдурахман с тремя партизанами вошел в город и наутро вернулся с взрывчаткой, попутно прихватив в местном банке целый мешок крон для расчетов с местным населением. Служащие банка энергично, с охотой содействовали этой экспроприации.

В тот же день Уразниязов был назначен комиссаром батальона. Его стали называть «пан комиссар».

Отряду часто приходилось менять свое местоположение, фашисты не могли его «засечь». Жители словацких деревень встречали партизан тепло и радушно, стирали им белье, стряпали еду. И заранее предупреждали о приближении гитлеровцев. Тогда партизаны прятались в просторной пещере, окруженной лесом, с узким круглым входом, напоминавшим тандыр.

В конце зимы из штаба 4-го Украинского фронта Попову передали приказ: перебазировать бригаду на новое место, откуда немцы перебрасывали на фронт свежие подкрепления, и, нанося удары врагу, преградить ему путь.

Наметив по карте маршрут перехода, партизаны двинулись в дальнюю дорогу. Шли равниной, лесами, горами, по колено увязая в снегу. Чтобы обеспечить переправу через один из притоков Дуная, Абдурахману с тремя бойцами пришлось убрать фашистских часовых, охранявших мост.

Обосновались в горах. Вскоре из штаба фронта пришел новый приказ: уничтожить мост на реке протекающей среди гор, по которому в час ночи должен пройти вражеский эшелон с оружием и боеприпасами.

Чтобы выяснить, как и какими силами охраняется мост, в «дневную» разведку были посланы Гела и еще одна чешка.

По их возвращении было проведено короткое совещание и создана специальная группа, в которую вошли Славин, Иозеф, Абдурахман и еще девять человек.

«Обращаясь ко мне, Попов сказал:

— Ты, Анатолий (мое имя в бригаде «обрусело») возглавишь группу. Ждем вас с победой!

Едва стемнело, мы тронулись в путь, и, приблизившись к мосту, залегли на склоне горы. Мост отсюда хорошо проглядывался. Внизу грохотала река, стрелой пронизывая горы, волны ее с яростным ревом ударялись о скалы. У моста она была освещена прожекторами. Видно было, как на мосту спуют немцы.

Земля была укутана плотным слоем снега. И ветви деревьев в снегу — словно в хлопковых ошипках. Холод пробирал до костей. Мы надели белые маскировочные халаты, подползли ближе к мосту.

— Под мост мины вряд ли удастся заложить, — сказал я, — вон как он освещен — незаметно не подберешься. Заложим их под рельсы, с нашей стороны.

Все со мной согласилось. Первым устремился к железнодорожному полотну партизан-словак, он полз по-пластунски, вжавшись в снег, извиваясь, как ящерица. Мы лежали, держа автоматы наготове. Спустя несколько минут словак вернулся, поставив пять мин. Потом, поочередно, и тоже по пятерке, мины заложили под рельсы югослав, венгр, Иозеф и последнюю порцию, у самого моста, — я. Состав должен был идти с того берега на наш, и мы рассчитывали, что уж одна-то из наших «пятерок» наверняка сработает.

Отослав товарищей в более безопасное место, Сливин, Иозеф и я затаились метрах в восьмистах от железнодорожного пути, где были пристроены наши «подарки» фашистам. Немецкие часовые тоже ждали эшелон, а пока бегали, как ошалелые, по мосту, пытаясь согреться. Шел уже первый час ночи... Издалека донесся глухой перестук колес. Он становился все слышней, но наши сердца стучали еще громче, мы явственно слышали их удары: тук — тук, тук — тук, ско — рей — же — ско — рей! Мы жаждали взрыва, и в глубине души тревожились: а вдруг ни одна из двадцати пяти мин не взорвется? От этой мысли мурашки пробегали по спине, как от лютого мороза. И когда ожидание стало уже нестерпимым, я увидел, как на мост, пыхтя и отдуваясь, вполз паровоз, тяжело тащивший за собой длинный состав. Как только он оказался на нашем берегу, раздался оглушительный взрыв, и еще, и еще один — как раскаты грома. Паровоз опрокинулся, вагоны и платформы, руша мост, полетели в воду.

У нас словно гора с плеч свалилась. Мы вздохнули с облегчением и крепко обнялись.

От моста слышались вопли, ругань, стоны. Часть мо-

ста обвалилась, обломки вагонов валялись на земле, половина ушла под воду. Фашисты, опомнившись, пустили ракету, подняли беспорядочную стрельбу из автоматов и пулеметов. А мы, хоронясь за камнями, пробрались к укрытию, где нас поджидали остальные партизаны, и вместе с ними благополучно прибыли в бригаду. Не скрывая радости, я отрапортовал Попову об успешном выполнении задания».

Потекли партизанские будни.

Вылазки за продуктами. Уничтожение вражеских военных объектов. Перебазирование. Нападения на группы гитлеровцев.

Однажды «дневная» разведка донесла, что неподалеку, километрах в пятнадцать, в небольшом городке расположились фашистские части перед отправкой на фронт. Необходимо было уточнить, сколько фашистов в городке, и при благоприятной возможности атаковать и разбить их, пополнив запасы оружия и боеприпасов. Попов сказал, что единственный выход — это добыть языка, тут же организовал группу разведчиков и взял на себя руководство группой. Абдурахмана в нее не включили — он отдыхал после предыдущей операции.

«Разведчики растворились в ночной мгле. Потянулись минуты ожидания. Всю ночь провели мы без сна, вглядываясь воспаленными глазами в темноту.

Вернулись наши товарищи на рассвете, целые и невредимые, и с ценной добычей — языком в чине оберлейтенанта, ни больше, ни меньше. Мы от души поздравили их. Попов рассказал, как прошла операция.

— Вошли мы в город, на улицах темным-темно, хоть глаз выколи. Лишь в одном одноэтажном доме в окнах свет. Решили мы поглядеть, кто это там полуночищает, подкрались поближе — а в доме в самом разгаре офицерская попойка. Все уже пьяны в стельку. Мы окружили дом, бросили в окна гранаты. Смотрим: из дверей выскакивает задом этот вот оберлейтенант. В руках у него автомат, и строчит он... по своим. Ну, мы его взяли, и к вам. В городе уже началась паника...

— И много фашистов вы убили?

— Их было в доме около двадцати. Все там и остались.

Иозеф вынул кляп изо рта оберлейтенанта, развязал ему руки. Попов, знавший немецкий язык, приступил к допросу:

— Какие у немцев силы в городе?

— Шесть батальонов.

— Зачем они там? С какой целью?

— В городе останавливаются на отдых части, направляющиеся на фронт. И соединения с фронта, потрепанные в боях. Сейчас отдыхают как раз фронтовики.

Когда допрос закончился, пленный попросил сохранить ему жизнь.

Попов связался со штабом фронта, и ему разрешили принять немца в ряды партизан.

Обер-лейтенанта звали Шилле. Высокий, худощавый, с рыжими волосами. И молодой: лет двадцати пяти — тридцати.

Некоторое время ему не давали оружия. Тогда он потребовал, чтобы его послали в очередную разведку. И мы решили рискнуть.

Я отправил его с тремя партизанами в тот самый городок, где обер-лейтенанта и захватили. Он был в своей форме, партизан мы одели, как мадьярских солдат, в желтые мундиры.

Попов все сомневался:

— Не переборщили ли мы с доверием? Как-никак — фашистский офицер. А что интеллигент — так и интеллигенты, юристы и историки наших детей живьем сжигали и девчат вешали.

— Ты же сам видел — он стрелял по своим! — возразил Сливин. — А что офицер — так разве офицеры не могут быть антифашистами?

— К концу-то войны... оно, конечно».

Шилле не подвел «пана комиссара». Разведчики вернулись, раздобыв ценные сведения и уничтожив в завязавшемся бою несколько гитлеровских офицеров. Сам обер-лейтенант был ранен в руку.

Все в словацком краю помогало партизанам: и местное население, и высокие горы, и дремучие леса. И все больше любили Абдурахман и его друзья эту землю и ее людей.

Наступил март. Солнце пригревало все сильнее, и в полдень снег таял, а к вечеру снова выстывал в звонкий лед. С деревьев капало — чистыми слезами радости встречали они весну.

По указанию штаба 4-го Украинского фронта бригада начала переход в Моравию. Путь предстоял недлинный, семьдесят-восемьдесят километров, но трудный. Попадались селения, занятые врагом. Приходилось выбивать его оттуда. Несколько раз фашисты и власовцы

атаковали партизан. В одной из таких схваток Абдурахмана ранило в руку, Гела перевязала ему рану. Через горные реки перебирались, привязывая камни к толстым веревкам и закидывая их на деревья, росшие на простом-положном берегу. Отдыхали в словацких деревнях — жители угощали партизан горячим чаем и едой из припасов, оставшихся после налетов коричневой саранчи.

«14 марта 1945 года мы очутились северней города Мартина и на горе, в лесу, увидели красивое двухэтажное здание. Это был санаторий, в спешке покинутый фашистами. В гараже стояла легковая машина, в комнатах — аккуратно застеленные койки. Подвал был битком набит продуктами. Казалось, все было приготовлено к нашему приходу... Осторожная Гела сперва заподозрила, что продукты отравлены, и запретила нам к ним прикасаться. Но проверка показала, что все в порядке, и Гела даже высказала предположение, что продукты оставлены специально для нас — такими же антифашистами, как Шилле.

Мы осмотрели все здание, комнату за комнатой. Широкие окна. Занавеси из голубого плюша. Чистота, уют. Но нас больше привлекало другое, — то, что из окон отлично обозревались окрестности. И лес, и равнина, и дороги — все было, как на ладони. Мы видели, как вдаль по асфальтированному шоссе движутся гитлеровская пехота, автомашины, танки.

Из штаба нам сообщили, что фашисты перебрасывают на Восточный фронт новые силы. И мы должны были все сделать, чтобы помешать этому.

Как близкий рассвет, нам брезжила уже Победа, конец войны. И мы наносили удары по врагу со все большей яростью и силой. Партизаны систематически обстреливали фашистов на шоссе и дорогах — те же и не пытались сунуться в лес, боясь напороться на партизан.

А лес оживал — деревья одевались в нежно-зеленый наряд, на появившихся темных, влажных прогалинах, меж горных камней буйно шла в рост первая трава.

В один из таких дней пришло сообщение, что скоро к нам прилетит самолет и спустит на парашютах оружие. И вот, темной ночью послышался в небе ровный гул мотора. Первая ласточка прилетела к нам с Родины! Мы обнимали, поздравляли друг друга и радовались, словно нашли бесценный клад!..

В тюках, сброшенных с самолета, оказались противо-

танковые ружья, пулемет, патроны, булки, черный и зеленый чай, копченая колбаса, консервы, масло.

Расставив вокруг здания часовых, мы на радостях устроили скромный той.

Я с аппетитом уминал чуть зачерствевшую булку и думал: может, она испечена из пшеницы, выращенной в Узбекистане?! О, далекая моя родина! Милая моя Каракалпакия, дорогая земля бирунийская — на тебя упала первая капля моей крови, когда мне срезали пуповину, и прочно, навек, связала, меня с тобой. Друзья мои, родные, сверстники!.. Долгое время от меня не было вестей — вы уж, наверно, похоронили меня, а я жив, и нахожусь в кругу друзей, в разноплеменной, тесной партизанской семье, и бью фашистов, и стараюсь всеми силами приблизить долгожданный День Победы! Я воюю с врагом — чтобы встало над тобой солнце мира, о Родина моя, святая святых моей жизни!»

Получив оружие, партизаны усилили удары по врагу. Особенно пригодились им ПТР — теперь бригада напала на танковые колонны, проходившие через Мартин. Пехоту обстреливали из пулемета, машины взрывали гранатами. Фашисты почти не оказывали сопротивления, при приближении партизан разбегались кто куда.

Перед самым концом войны, 6 мая, партизаны окружили трехэтажное здание, высившееся к юго-западу от Мартина, и уничтожили расположившуюся там гитлеровскую часть. А 9 мая, в Мартине, произошла встреча партизан из бригады имени генерала Штефанника с солдатами регулярных советских войск.

Это был незабываемый день — День Победы, ради которого Абдурахман Уразниязов перенес и преодолел тяжкие испытания, во имя которого он в партизанской бригаде беззаветно сражался с фашистами.

Ликованию партизан не было предела!

А 19 мая Абдурахман оставил бригаду, расстался и с Поповым, и с Гелой, и с Ситником, и с другими друзьями, чтобы встретиться с иными двадцать лет спустя.

2

Военная биография Айтбая Бекимбетова, если можно так сказать, более прямая, без того груза невольных испытаний и тягот, которые вынес на своих плечах Уразниязов.

Родился он в Турткуле, в 1919 году, в семье бедного дехканина. Революция уже проложила перед ним, как и перед тысячами таких же, как он, светлую дорогу. И Айтбай шел по ней — раскованно и уверенно, не тревожась за свое будущее: оно было обеспечено, гарантировано самой социальной системой, уже утвердившейся на его родине тогда, когда он появился на свет.

Школа. После нее — право выбора последующего пути. Айтбай выбрал медицину, поступил в медтехникум.

Но над границами страны советской сгущались грозные тучи. Железная стопа войны и костлявая — смерти уже шагали по Европе. Фашизм выпустил свои загребущие щупальца...

Держава наша, заботясь об обороне, наращивала военную силу.

В 1939 году Айтбая призвали в армию и направили в авиационное училище. В 1942 году, когда в разгаре уже была Великая Отечественная война, Айтбай окончил училище, стал летчиком-штурмовиком.

Тогда же его приняли в ряды ленинской партии.

Как и все летчики, он был охвачен маячным нетерпением, дожидаясь своей ратной очереди в запасном, потом в перевалочном полках. Но время это не прошло даром: он освоил еще специальность стрелка-радиста.

С 1943 года Айтбай — на фронте.

С 10-м штурмовым авиаполком в звании младшего лейтенанта, а потом лейтенанта, он прошел трудный и славный боевой путь: из-под Москвы — до Кенигсберга.

Военный летчик Айтбай Бекимбетов совершил за полтора года четыреста боевых вылетов с бомбовой нагрузкой от пятидесяти килограммов до тонны. На его счету — взорванные мосты, дороги, танки, дзоты гитлеровских захватчиков. Он награжден медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы» и другими.

Сам он вспоминает с некоторым юмором:

— Никак мне не удавалось себя показать! Везло! Даже ранен ни разу не был. И самолет мой не сбивали. Летал себе — как на работу ходил. Ну, не обходилось без пулевых пробоя. Так это ж так, булавочные уколы. Ну, в дни ученья бывали вынужденные посадки, однажды пришлось выброситься с парашютом из горящего самолета. Так то ж — в дни ученья... А на фронте я был словно заговоренный.

* * *

Мне хочется отметить одну, характерную для нашей действительности, примечательную особенность — идет ли речь о войне или о мирной жизни.

Авиаотряд, в котором служил Айтбай, тоже был интернациональным по своему составу: русские, двое украинцев, грузин, каракалпак... Почему «тоже»? А вспомните боевых соратников Уразниязова: русские, украинцы, сам — узбек из Каракалпакши.

Эта многонациональность наблюдается на всех участках нашей жизни. Ведь и Каракалпаккия — республика многонациональная. «Сейчас на каракалпакской земле, — писал К. Камалов, — проживают люди более пятидесяти национальностей, включая эстонцев и индийцев! И все они дружно, как братья, куют свое счастье!» И привел конкретный пример: на прокладке железнодорожной трассы Кунград — Бейнеу в коллективе мостопоезда № 22 работали люди более десяти национальностей. И многие из них участвовали в Великой Отечественной войне.

Пример — типичный.

Дружба наших народов, как песня, помогает строить и жить.

Интернациональность ячеек нашего общества (каждая — словно маленький интернационал), гранитное единство, нерушимое братство наших народов помогло советской стране выстоять и победить в Великой Отечественной войне. Это единство, братство каждой такой ячейки, каждому ее бойцу помогало побеждать.

* * *

После победы над фашистской Германией, в 1946 году, Айтбай Бекимбетов демобилизовался и вернулся в родной Турткуль.

Б Е Д А

Героизм, подвиг — это не вспышка в человеке чего-то необычайного, неожиданного.

Героизм — это выявление черт характера, идейно-духовных качеств, подготовленных всей жизнью человека,

воспитанных в нем общественными, социальными и национальными условиями, в которых он рос и мужал.

Героизм — это не яркая искра, а вечный нетленный огонь.

Судьбы, о которых я рассказываю, позволяют говорить о естественности, как бы даже повседневности подвига. Потому что у моих героев подвиг — в послевоенной жизни — продолжался.

Как я уже говорил, истоки их силы следует искать и в народном характере, и в той обстановке, которой окружила их советская новь.

Война как бы испытала их «на прочность». Военная служба, участие в рагном подвиге всего советского народа закалили их и помогли выстоять перед жестокими житейскими бурями. Ведь советские люди, — вспомним название одного из романов Шарафа Рашидова, — сильнее бури...

Мои герои и в мирной жизни остались настоящими бойцами.

Но сначала были эти бури... Была — беда.

1

Абдурахман Уразниязов радовался мирной жизни и с жадностью потянулся к работе — привычной работе учителя, по которой стосковался в тяжелые, суровые годы войны.

После войны Абдурахман приступил к преподаванию в школе имени Н. Островского, в городе Бируни. Мужали, набирались знаний его ученики. Подрастали сын, дочка, одна уже пошла в школу... На работе, дома все, вроде, ладилось.

Но сказались, видно, и кошмар фашистского плена, и лишения военных лет.

Я впервые встретился с Уразниязовым, когда он начал терять зрение. Это было весной 1967 года в Ташкенте, мы жили в одной гостинице, и я часто видел, как идет он по коридору, осторожно переставляя ноги, а старшая дочь, в сопровождении которой прилетел он из Каракалпакии, бережно поддерживает его под руку.

Когда на другой год я приехал в Бируни, чтобы поглядеть с ним, мне сказали, что Абдурахман-ага совсем ослеп.

Тогда я еще не знал, что он уже тяжело, неизлечимо болен...

Попробуй не согнись под таким грузом...

Айтбая Бекимбетова, когда он вернулся из армии, хотели было послать в лесную авиацию, по специальности,— но работа эта после штурмовых вылетов на фронте показалась ему «пресной». Тогда горком партии направил Айтбая в органы милиции,— там нужны были мужественные, с воинским опытом люди.

Война есть война: она нарушает нормы жизни, оставляет после себя разруху, беспорядок, разлад. И не только на земле, по которой прошла она огненной поступью. Вся страна наша в первые послевоенные годы была в каком-то тревожном движении, людские волны гуляли по ней, кто возвращался из армии домой или, если не было уже дома, к друзьям, кто разыскивал родных, кто спешил из эвакуации к сожженным очагам, кто бежал от горя, от скорби — в дали дальние... И в это движение вплетались и мутные потоки. Война ведь не только закаляет, дает выход героизму — у слабых она развязывает неизменные, темные инстинкты. Не надо забывать об этой ее стороне...

Грязная пена войны выплеснулась и в Каракалпакию. По дорогам ее бродили случайные люди — спасаясь от кары или желая погреть руки на народной беде. Участились кражи, грабежи.

Милиции работы хватало...

В руки Айтбая, оперуполномоченного милиции, сразу же попали сложные и серьезные уголовные дела. И они захватили бывшего летчика.

— Да, тут было не легче, чем на фронте,— вспоминал Айтбай.— Но зато и интересно! Начнешь смотреть какое-нибудь дело, особенно незаконченное, так называемое «приостановленное» — как увлекательный роман читаешь... Я часто брал на себя такие дела. Уже тогда, видно, любил, чтобы сюжет был завершен. Помню, как по подкове, оставленной на месте преступления, уже спустя долгое время удалось установить убийцу. Пришлось распутывать клубок узелок за узелком, ниточку за ниточкой...

Работа в милиции была связана с постоянным риском, но Айтбай, считая себя, по фронтовой инерции, «заговоренным», ничего не боялся и лез в самое пекло борьбы со всякой нечистью: бандитами, дезертирами, бывшими полицаями. Как-то удалось изловить агента

гестапо. Запомнилось и вооруженное ограбление Турткульского хлопкозавода:

— Бандюги приехали на двух автомашинах, потом один с ножом на нас вышел, с отчаянья на все был готов. Самые это страшные преступники: отчаянные. Знают, что их ничто уже не спасет, что терять им нечего, и прут на рожон, словно спяна. Накрыли мы как-то одного дезертира. Окружили дом, где он прятался. Прошлись по всем восьми комнатам—а его нигде нет. Знаем, что он здесь, а найти не можем. Только потом, пораскшнув мозгами, подсчитав окна, догадались, что в доме есть еще одна комната, девятая, с замурованным входом. И когда преступник был, наконец, обнаружен, то стал отстреливаться. Да, таких «брать» — дело нелегкое. И рисковое.

Вскоре Айтбай получил благодарность от Министерства внутренних дел, и его назначили начальником милиции — сперва в Нукусе, потом в Тахнаташе, а позднее—начальником отдела угрозыска МВД Каракалпакской АССР.

Более пяти лет прослужил он в милиции.

10 июля 1952 года начался небывалый разлив Амударьи.

Айтбай рассказывал мне об этом после паводка, разрушившего Бирунни.

— Вот и тогда, в пятьдесят втором, был такой же. Даже похлеще. А бороться с ним, как теперь, мы еще не научились. Заслоны на его пути были слабые. Вода прорвала канал Раушан и широко разлилась по окрестностям. Я помню танковую атаку под Гомелем — честное слово, наступление воды страшней такой атаки. Вода мчитя разъяренной лавиной... Да. В тот паводок много людей оказалось в плену у воды.

Айтбай руководил спасательными работами на одном из затопленных участков. Вместе с приданными ему сотрудниками он более трех суток добирался от Машанколя до 6-го аулсовета, где жителям грозила беда. Сначала ехали на конях, по воде, потом около двадцати километров шли вброд. Вода леденила поясницу, ноги. После, сморенный усталостью, бессонными ночами, Айтбай задремал на сыром земляном полу.

Это был роковой привал.

Вызволяя из беды других, он сам попал в беду. Тяжкий недуг на много лет приковал его к постели.

Его лечили в Ташкенте — лучшие доктора, медицинские светила, среди них профессор Александр Георгие-

вич Тишин. После операции Айтбай два года пролежал без движения.

Ноги у него так и остались парализованными. Тело не подчинялось ему.

— Вот ведь как бывает,— говорил он с горькой усмешкой. — Во время летной учебы, на фронте попадал во всякие переделки — и хоть бы что. В милиции работал — сколько раз рисковал жизнью. И все ничего. А наводнение подвело...

БОРЬБА

Трудные судьбы...

Но и славные судьбы!

Мои герои не выкинули даже перед несчастьем белого флага.

Абдурахман Уразниязов и Айтбай Бекимбетов достойно проявили себя в грозные годы войны.

Они были до войны людьми «рядовыми», представителями простых, распространенных профессий: учитель, студент-медик. Профессий сугубо мирных.

В борьбе с фашизмом, которой они отдавали все свои силы, каждый обрел новое, военное призвание. Учитель стал заместителем политрука (до окружения), потом комиссаром партизанского батальона. Студент — летчиком-штурмовиком, лейтенантом.

После войны они вернулись к мирным профессиям, к «рядовым» делам, обычной работе.

Но подвиг — продолжался.

И герои мои с честью вышли и из тяжких житейских испытаний.

Так уж они были воспитаны. Настолько духовно закалены.

Продолевав одно препятствие, уже легче преодолеть другие. Выдержав одно испытание, проще выдержать последующие.

Легче... Проще...

Не так-то все было легко и просто.

И немало потребовалось каждому сил, мужества, выдержки, стойкости, воли к жизни, упрямого трудолюбия, — чтобы не сдаться, выстоять, победить.

Во многом им помогла работа. И поддержка друзей, теплая забота окружающих, так характерная для общества, где человек человеку друг, товарищ и брат.

В Ташкент, где я впервые увидел Абдурахмана Уразниязова, он прилетел, чтобы встретиться с дорогой гостьей, бывшим партизанским врачом Гелой. Она должна была прибыть самолетом, с чехословацкой туристической группой, и чувствовалось, как волновался Абдурахман-ага, бирунийский учитель, поджидая боевого товарища.

А потом была встреча в аэропорту. Объятия, слезы... А когда Гела пришла к Абдурахману в гостиницу, нескончаемым, незамутненным потоком — под стать чистым родникам в словацких горах — потекли воспоминания, воспоминания...

Ведь двадцать два года прошло со времени их последней встречи. Гела стала писательницей, но не оставила и медицину: у нее редкая и узкая специализация: «выправление форм зубов детям».

Абдурахман же мог только посетовать на свою судьбу: он уже начал слепнуть.

Но он говорил с Гелой не о своей беде, а об их общем боевом прошлом, и об общих друзьях, с которыми он был связан перепиской, — словом, о том, что скрашивало его нынешнюю жизнь, поддерживало в нем мужество, жажду деятельности, надежду и гордость.

Он не жаловался, а радовался долгожданной встрече. Как же эта встреча стала возможной?

* * *

Вроде бы давно замолкло эхо войны. Затянулись раны. На месте дымящихся руин потянулись к небу уютные дымки новых жилищ. Пелена времени и новых, мирных забот затумила воспоминания о фронтовых дорогах, боях, злключениях и победных делах.

Вроде бы...

Но ведь именно теперь обрел силу славный лозунг: никто не забыт и ничто не забыто.

Все ширится волна походов молодежи по местам памятных боев, поисков безвестных героев, истоков ратных подвигов.

И незримые нити, протянувшиеся после войны между боевыми друзьями, побратимами, чье родство скреплено кровью, пролитой на полях сражений, нити эти не ослабли, а наоборот, год от года становились прочнее.

Фронтальная солидарность оказалась крепкой, как сталь. Слово «фронтовик» доныне звучит как пароль.

И все ищут друг друга разбросанные по всей нашей огромной стране ветераны войны. Рассылают всюду запросы. Списываются. Встречаются, заботятся друг о друге.

Не все еще нашлись. Не все нити, которые по тем или иным причинам оборвались, связаны. Советские люди скромны и не любят громко заявлять о себе, о своих прошлых заслугах. Ратный свой труд не считали они чем-то выдающимся: сделали честно свое дело, выполнили долг и словно бы растворились в мирных буднях.

Не жаждали эти люди ни наград, ни официального признания ратных заслуг.

О них беспокоились, за них хлопотали другие.

И вот однажды в Бирунийский горсовет пришло письмо от бывшего партизанского командира К. К. Попова:

«Очень прошу Вас помочь мне разыскать бывшего партизана, комиссара партизанского батальона, Уразниязова А., узбека...»

Позднее в Каракалпакский обком партии было послано ходатайство о награждении А. Уразниязова орденом Красной Звезды, за подписями К. Попова и П. Анцупова, бывшего начальника штаба бригады; в нем сохранилась красноречивая характеристика Абдурахмана-ага:

«За время пребывания в бригаде он много раз участвовал в боях по уничтожению вражеских гарнизонов, по осуществлению дерзких диверсий на железных и шоссейных дорогах, а также во встречных боях во время разведопераций...»

За свою храбрость и умение работать с бойцами он был назначен комиссаром батальона.

Вместе со своим батальоном он принял участие в осуществлении Словацко-Моравского рейда бригады, который имел большое значение в деле подъема местного населения на борьбу с фашистскими захватчиками.

Не забыли об Абдурахмане, «пане комиссаре», его партизанские побратимы.

Сам Абдурахман-ага в разговоре со мной, рассказывая о своей переписке, о встречах с бывшими партизанами «штефаниковской» бригады, тихо, взволнованно сказал:

— Да, друзья не забывают друг друга... И как это помогает — жить.

* * *

Одни разыскивали Уразниязова, других искал сам Уразниязов.

Он случайно прочел очерк о Геле в журнале «Советская женщина» (скорее — ему прочли), и сердце защемило от нахлынувших воспоминаний. Не откладывая дела в долгий ящик, Абдурахман сел за письмо:

«Здравствуйте, дорогая Гела, боевой друг, докторша!

Я очень рад, что вы живы. Прошло много времени с тех трудных дней борьбы с немецкими захватчиками, много воды утекло с тех дней, но друзья остаются друзьями. Нашу дружбу, скрепленную трудностями партизанской жизни, не забыть никогда.

В декабре 1966 года я получил письмо от нашего командира бригады т. Попова К. К., и в марте 1967 года он прислал мне памятную медаль — значок нашей бригады. После этого восстановилась связь с другими боевыми друзьями. Недавно Гайдугов Алексей прислал мне Ваш адрес, и я с радостью пишу Вам. До этого в журнале «Советская женщина» прочитал статью о Вас и видел Ваше фото. Я сразу догадался, что это Вы, и очень рад за Вас. Вы и не догадываетесь, кто это пишет Вам письмо. Вы помните «папа комиссара», то есть комиссара батальона 2-й Словацкой бригады, не русского, а узбека? Помните, как в бою с власовцами в горах меня ранило в правую руку, и Вы вылечили ее за неделю? Я Вам до сих пор благодарен за это.

Гела, я сейчас не помню фамилию и имя того мальчика, не то словака, не то чеха, который был в нашей бригаде и которого Вы в Моравии после победы передали на службу в чехословацкую милицию. И еще я забыл фамилию нач. штаба батальона, молодого парня, тоже из Чехии или Словакии. Напишите о них.

Пока — до свидания. С партизанским приветом!»

Абдурахман писал: «видел Ваше фото»...

Он ни словом не упомянул в письме о своем уже подкравшемся недуге. Фотографию Гелы на страницах журнала он различал уже смутно...

И ответное письмо «партизанской докторши» Абдурахману читали родные:

«Уважаемый друг!

Я получила Ваши письма, написанные мне и в журнал «Советская женщина».

Я была очень рада, большое Вам спасибо.

Я хочу Вам сообщить, что поеду с группой наших писателей в Советский Союз и посетю также Ташкент. Я думаю, что в Ташкенте мы будем после 20 мая, я не знаю, далеко ли Бируни от Ташкента, может быть, Вы могли бы приехать в Ташкент, и мы могли бы встретиться, это было бы очень радостно.

Желаю Вам очень многих успехов и здоровья, большое спасибо за Ваши письма. Привет всей Вашей семье и дочери.

Ваша Гела.

Р. С. Уезжаем из Праги 15 мая, если до этого времени Вы напишете, что встреча возможна, сообщу Вам точное время, когда буду в Ташкенте».

Так они встретились — бывший партизанский комиссар, бывшая партизанская докторша. Узбек и чешка, воевавшие с фашизмом в словацких горах.

Гела тогда сказала ему по-русски:

— Верно молвит пословица: гора с горой не сходится, а человек с человеком сойдется.

Они договорились вновь встретиться в 1973 году, через шесть лет, в дни празднования тысячелетнего юбилея Бируни.

Не дожил Абдурахман-ага до этих дней...

* * *

Удивительно, что именно тогда, когда страшная болезнь из-за угла напала на Абдурахмана Уразниязова, он начал вести особенно деятельный образ жизни.

Его целиком захватила переписка с боевыми друзьями, поиски тех, о ком не было вестей.

В каждом его письме друзьям были беспокойные вопросы: где сейчас такой-то, что случилось с таким-то.

Абдурахман раздобыл адрес Ситника, с которым делал когда-то тяготы плена, а потом, после побега, скитался в горах в поисках партизан. Они вместе вступили в партизанскую бригаду и дрались вместе — Ситник был в бригаде командиром взвода.

В ноябре 1967 года, предварительно списавшись со своим другом, Абдурахман наведился к нему на Украину.

Они не виделись с 1945 года...

Ситник, как оказалось, работал плотником в молочно-овощном совхозе «Днипро». Опять-таки — «рядовая», сугубо мирная, созидательная профессия!

В совхозе Абдурахмана приняли, как родного. С Ситником они говорили, не могли наговориться, но их часто прерывали: гость из Каракалпакии всем был нужен—ему с гордостью показывали совхозные угодья, водили на фермы, в сады.

— Как хорошо стало на Украине,— рассказывал он потом, — я не узнавал землю, которую в войну видел опаленной, измученной, истоптанной солдатскими сапогами... Немало довелось мне тогда по ней пройти—и сердце сжималось от боли за нее, за ее людей. А в этот мой приезд — сердце ликовало!

Особенно запомнилась Абдурахману Галина Алексеевна, парторг совхоза, — может, потому, что и он был когда-то причастен к этому роду деятельности.

— Молодец женщина. Живая, энергичная. И такая радушная... Я подарил совхозу фотоальбом, выпущенный к сорокалетию Каракалпакии. Уж так она благодарила за него. И обещала, при первой же возможности, приехать в нашу республику, в гости ко мне...

Не удастся теперь совхозному парторгу с Украины побывать в гостях у Абдурахмана...

Но в то время, уже больной, он полон был жизнелюбией и энергии, пожалуй, не меньшей, чем у гостеприимной Галины Алексеевны.

Эти годы принесли ему не только беду, но и радость: радость встреч с боевыми товарищами. Казалось, он снова очутился в кругу партизан, только теперь круг этот территориально раздался—от Нукуса до Праги, и был мир, и товарищи трудились, каждый на своем участке, и неловко было отставать от них...

Нет, не сдался он перед наступавшим на него несчастьем. Не в партизанских это правилах...

А дружба помогала жить и бороться.

Друзья добились, чтобы ему были вручены заслуженные награды: медаль «За боевые заслуги», чешская памятная медаль «За участие в чехословацком восстании», медаль «За победу над Германией». Они хлопотали о большем. Не успели...

И в Бируни ослепшего учителя, бывшего партизана, окружили заботой и вниманием. Когда в 1966 году он вышел на пенсию, ему помогли отремонтировать дом,

послали в Одессу лечиться, старшую дочь устроили на работу в школу (по отцовской линии!).

И пенсию он получал повышенную.

Ему дорог был каждый знак внимания, даже небольшой — ведь в иссушающий зной любой глоток воды бодрит.

И шел он по жизни, как солдат — закаленный в огне, многое видевший и испытавший и потому не сгибающийся под тяжестью новых, неожиданных испытаний.

Хорошо сказано об этом в письме партизанского товарища Абдурахмана А. В. Гуренкова, инженера:

«Я не знаю еще ни одного нашего партизана, который бы, как говорят, «свихнулся», который бы совершил какой-либо неблагоприятный поступок, пошел по неверной дороге жизни. Это отрадно, когда не стыдно за друзей, когда можно ими гордиться».

Абдурахманом Уразниязовым можно гордиться.

* * *

Когда я приехал в Бируни, к Уразниязову, то меня, как я уже писал, предупредили, что Абдурахман-ага ничего уже не видит.

Честно признаюсь, я побаивался встречи с ним: ну, как и о чем говорить с человеком, который сейчас, наверно, до краев полон своим несчастьем?

Однако страхи мои оказались напрасными.

Абдурахман захотел сам прийти ко мне в гостиницу. Я встал, увидев и узнав его, он сделал рукой жест, прося меня оставаться на месте, и двинулся мне навстречу, нища в воздухе мою руку. А потом сел, и завязалась живая беседа, — он рассказывал охотно и держался бодро, как-то даже воодушевленно.

— Можно считать, что все у меня в порядке. Не учительствую, правда, больше. Но зато с головой ушел в общественную работу. С молодежью часто встречаюсь — ей ведь полезно послушать меня, как вы думаете? И дома меня молодежь окружает: сынишка в шестом классе, младшая дочка во втором. А старшая — особа уже самостоятельная. Опора моя...

Он смотрел прямо перед собой, словно вглядываясь во что-то — может, в свое партизанское прошлое, о котором говорил с особым энтузиазмом...

Вот тогда-то он и сказал, что друзья не забывают друг друга.

Ищем—находим... Многих, правда, не удалось пока отыскать. Вот—не знаю ничего о том же дяде Миколе. А к нему и от него шли мы с младшим лейтенантом Василием Докенко, да потерялись, и так я о нем больше не слышал. Когда пробирались мы с Ситником в Словакию, был с нами еще один русский, Николай. Тоже после войны как в воду канул... А так светло на душе, когда кто-нибудь откликнется на твое письмо или запрос...

Абдурахман показывал мне письма своих друзей — бережно и горделиво... Вспоминал о своей поездке на Украину. И я вскоре забыл, что разговариваю с человеком, перед которым померк свет.

Потом другие мне рассказывали, как он живет, трудится: ведь общественная деятельность — тоже труд, и нелегкий, уж не говорю о его отдаче, полезности. И переписка с друзьями становилась все оживленней: уже со многими удалось ему установить тесную связь. Часто Уразниязова можно было видеть среди комсомольцев, пионеров — он нес им бесценный клад партизанских воспоминаний. В школе имени Навои его выбрали почетным пионером.

Я намеревался встретиться с Абдурахманом-ага еще раз в следующий свой приезд в Каракалпакцию. А когда приехал — узнал, что он лежит в больнице, тяжело больной...

Незадолго до смерти он закончил писать воспоминания, которые были опубликованы на каракалпакском языке под заголовком «Среди гор» в журнале «Аму-Дарья» — некоторые отрывки из них я и цитировал, добавив то, что слышал от самого Уразниязова.

Так что и умер он — как солдат, труженик, до последних минут не оставляя гражданского своего поста.

2

Быть прикованным к постели... Это, наверно, надо испытать, чтобы понять, насколько это тяжело, беспросветно, трудно. Человек в таком положении, казалось бы, должен потерять и вкус к жизни, и привычку к труду, и всякую надежду.

У Айтбая Бекимбетова ноги были парализованы более двадцати лет.

Но вот я впервые беседую с ним и диву даюсь: до чего же неунывающий человек! Черные живые глаза, энер-

гичная жестикуляция. И длинные кустистые брови топорщатся непримиримо, ершисто.

Какне-то задорные искорки мелькают в его глазах, когда он рассказывает, как с ним стряслась беда. И что было потом. Он крепко поглаживает ладонью бритую голову:

— Ничего. Еще поживем, попишем.

Меня не удивляют последние слова: еще до знакомства с Айтбаем я знал его как писателя, собрата по перу.

Ненсповедимы пути человеческого призвания...

Айтбая писателем сделала беда, болезнь. Правда, и до этого он пописывал стихи, заносил в тетрадь свои наблюдения, но так, для себя, в любительскую охотку. Всерьез он о литературном будущем не задумывался.

А вот когда его скрутила болезнь, мысли Айтбая невольно обратились к литературе. Наверно, вспомнил он о первых своих «пробах пера». И уж наверняка подумал о покоряющем примере Николая Островского. К тому времени жизненный подвиг писателя-бойца повторили уже многие — были и такие, которые, как и Николай Островский, взялись за перо. Например, Николай Бойченко, с Украины, бывший комсомольский работник, — болезнь связала его по рукам и ногам параличом, а он — наперекор ей — создал книги об огненных деяниях комсомола. Или Вали Гафуров, живущий под Ташкентом. В войну он потерял зрение и, слепой, принялся писать книгу о фронтовом прошлом; он назвал ее «Роман, написанный пглой».

Это стало новой советской моральной нормой: не смиряться перед недугом, как бы тяжек он ни был, искать выход в труде, ученье, творчестве.

Айтбай после трудных больничных лет не пал духом. Больше того, он органически не мог валяться в постели без дела, не принося пользы людям. Бывший летчик-штурмовик, он привык наступать, стремиться вперед. Он привык кипеть в работе.

И он бросил вызов болезни.

Чтобы научиться писать профессионально, ему пришлось заняться литературным самообразованием. Он взялся за книги и читал запоем, но не все, что попадалось под руку, а с выбором: книги учили его литературной грамоте. Ох, как нелегко дались ему первые литературные опыты! Сколько страниц было исписано — и порвано, решительно и безжалостно. Сколько дум передума-

но тревожными бессонными ночами. Но не было минут упадка, безнадежья, когда человек, отчаявшись после неудачных попыток, готов на все махнуть рукой: а, ничего у меня не выходит — значит, и не выйdet. А Айтбай считал: что не выходит — это дело временное. Должно выйти. Надо только поднатужиться... Он поставил перед собой четкую, категоричную цель и стремился к ней упрямо и твердо.

Первые годы своей вынужденной, послебольничной, неподвижности он мог бы назвать: мои писательские университеты.

В 1957 году Айтбай Бекимбетов завершил и опубликовал на каракалпакском языке свое первое произведение—повесть «Покорители злой судьбы»; спустя десять лет она была напечатана в переводе на русский язык в журнале «Звезда Востока» под новым названием «Судьбе вопреки».

Мне кажется естественным, что в этой первой повести А. Бекимбетова отразился личный жизненный опыт автора: с книг, где сильны автобиографические моменты, начинали многие писатели, в том числе и Николай Островский.

У Айтбая была внутренняя потребность,—на грани обязанности, морального, гражданского долга — поделиться с читателем своим весьма поучительным опытом, воспитывающим веру и мужество, и вместе с тем выразить душевную благодарность тем подвижникам от медицины, которые возвращают людям здоровье и радость труда.

Это повесть — о врачах и больных.

О самоотверженном труде первых — и силе духа, силе воли вторых.

О борьбе врачей против болезни, за больных, и том духовном сражении, которое вели сами больные за свое место в общем строю, об их «чувстве локтя», когда в тяжкую минуту они поддерживали друг друга, «как поддерживают верные боевые друзья раненого товарища», о нелегком их пути от отчаяния и неверия, страхов и сомнений — к победе над собственным малодушием и над недугом.

Характерно, что почти все «страдающие» герои повести подхватили свою болезнь, «сгорели» в обстановке труда и борьбы. Это инженер-строитель, про- раб Порадин, торопившийся сдать дом для рабочих, «чтобы к новому году люди вселились», и в пылу рабо-

ты простывший, и сгоряча даже не заметивший первых симптомов грозного недуга. Это Фарид Насибуллин, токарь с «Сельмаша», которого ранило осколками разорвавшегося рядом снаряда, когда он с товарищами ворвался на окраину Берлица. Это Тимур, недавний школьник, молодой чабан, вступивший в схватку с осатаневшей волчьей стаей, когда она напала на отару.

Выбор «историй болезни» тут далеко не случаен. Самому писателю по душе люди-бойцы, люди-труженики, всю душу отдающие делу, которым они заняты.

Особенное уважение питает автор к Фариду Насибуллину, который, судя по всему, болен безнадежно и все же полон веры в свое выздоровление, не позволяет себе опустить рук, и недаром думает о нем профессор Исаев: «Если бы всем больным — такой заряд сопротивления...». Мне понятно, что Фарид, как герой, привлек писателя и воинским своим мужеством, и любовью к труду (он и в больнице все что-то мастерит), а, главное, жизнелюбием своим, которое не в силах отнять у него даже болезнь. «В позвоночнике Насибуллина, кажется, не осталось места, в котором не сидел бы осколок. Врачи дивились не только мужеству и долготерпению Насибуллина, но и его жизнестойкости. Он перенес несколько тяжелейших операций, одну за другой, неоднократно был приговорен к смерти самыми солидными консилиумами, но назло всем смертям оставался жить. Больше того: едва отлежавшись, он снова шутил. Он издевался над болезнью, и она отступила».

Фарид и в других поддерживает бодрость и веру, и в палате он, по мнению Исаева, «нужнее любых лекарств». Исцеляющей больной — это тебе не «врачу да исцелися».

И именно в этом образе вижу я больше всего автобиографических черт Айтбая Бекимбетова.

С какой-то теплотой признательности выписан в повести образ профессора Исаева, знаменитого нейрохирурга, приехавшего в ташкентскую клинику из Москвы (прототипом его послужил профессор Александр Георгиевич Тишин). У профессора не только «золотые руки», но, прежде всего, золотая душа. Врачи в повести — это творцы чуда, и в первую очередь это относится к профессору Исаеву. Он умеет поставить себя на место больного, «нутром» войти в его положение. «Никто из всех... так не переживал за больного, за малейшее изменение его состояния, за причиненную ему боль, как Исаев».

Для него быть врачом это значит «вкладывать душу, просыпаться среди ночи с мыслями о больных, переживать, страдать не меньше, чем они». Он не желает верить в обреченность больных, и в них самих ищет опору в борьбе с недугом. К каждому он подбирает свой ключик. Главный вопрос, который его мучает, это: «Как viuшу я им веру в себя, а без этой веры незачем оперировать их». И в ответственный момент он требует от Тимура веры и мужества. «Имя твое, кажется, означает — железный?.. Оправдывай имя! Сейчас ты совершаешь первый жизненный подвиг. Вы стоите друг против друга: ты и твоя болезнь. Никто тебе в этой схватке не поможет. Врачи, лекарства сделали все, что смогли. Теперь решает один человек... Ты — сам!»

Порадин, Тимур, молодой мотогонщик Марков с помощью Исаева и его коллег, при поддержке близких людей и товарищей по палате одолевают болезнь.

И как клятва самого автора, звучат слова Тимура — заключительные слова повести: «Вот что только знаю: люди мне помогли, теперь буду помогать им. Всю жизнь».

Первая книга Айтбая Бекимбетова получилась суровой, мужественной и оптимистичной. В первом варианте ее названия подчеркивалось, что судьба героев — «злая». Более соответствует содержанию, сущности повести новое название: «Судьбе вопреки». Это гимн мастерству врачей, мужеству, стойкости человека, дружбе и взаимопомощи.

Я ждал, что писатель упомянет в этой повести о Николае Островском, что логически вытекало и из духа самого произведения, и из авторской судьбы. И не обманулся в своих ожиданиях. Как о высоких эталонах человеческой воли и мужества, говорит профессор Исаев об Алексее Маресьеве, о Николае Островском: «Да если бы ему сказали, что его будут пилить тупой пилой, но есть один шанс из ста на выздоровление, — он пошел бы на это!». Тут Исаев служит «рупором» автора в добром смысле этого слова.

Повесть «Судьбе вопреки» написана на фактическом материале, опалена изнутри, как уже говорилось, личным опытом автора, в ней чувствуется горькое «знание предмета», хотя и соблюдена необходимая доля авторской «отстраненности».

Читая повесть, можно понять и представить, что происходило с самим Айтбаем Бекимбетовым...

Вслед за первым произведением появились повесть романы и повести Айтбая, на самые различные темы.

Одно их роднит: любимые герои писателя — это всегда люди мужественные, отважные, сильные, и, как правило, автор показывает их в борьбе. Один из романов А. Бекимбетова так и называется: «Борьба».

Некоторым отклонением выглядит повесть «Тяжелое испытание», о паломниках в Мекку, но здесь автор сам выступает борцом — против темноты, невежества, суеверий.

В повести «На дорогах жизни» А. Бекимбетов рассказывает о детях, брошенных на произвол судьбы, о том, как помогли им добрые, отзывчивые люди, как боролись они за светлое будущее сирот.

В 1967 году в милицеской газете «На посту» была опубликована повесть «Нити пересекаются», с напряженным, истинно детективным сюжетом, — ну, тут уж автору, как говорится, и карты в руки! Когда я читал эту повесть, то многое казалось мне знакомым — потому что Айтбай уже рассказывал мне об этом, он привлек в повесть материалы тех дел, которые довелось расследовать ему самому. Повесть насыщена живыми бытовыми «подробностями», придающими всему, что там происходит, особую достоверность.

Мы видим, как опасна, но вместе с тем и благодарна профессия милицеских работников, следователей, таких как капитан Бегимов, лейтенант Бекниязов.

Мы видим также, как широко и готовно помогает им в борьбе с преступниками местное население: дружинники, простые колхозники, даже мальчишки, — вот уж храбрый, неутомимый народ!..

Потому именно борьбой выглядит их деятельность — а не поединком, когда противостоят друг другу лишь преследователь и преступник, и головоломные криминальные кроссворды разгадываются в тиши кабинетов. Айтбай, когда работал в милиции, и сам был все время на людях.

Вместе со своими товарищами и он очищал нашу землю от всяческой скверны, как колхозники свои хлопковые поля — от сельскохозяйственных вредителей.

И веришь ему, когда он так говорит о чувствах, испытываемых его героями после успешного завершения очередной, весьма разветвленной и сложной, операции: «После работы Бекимов возвращался домой. У него было празднично на душе. Дело, которому он отдал столь-

ко энергии, бессонных ночей, наконец, завершилось. Преступники пойманы».

Многие нынешние каракалпакские прозаики охотно обращаются к историко-революционной теме, и это закономерно: народ, лишь сравнительно недавно обретший свободу, независимость, стремится осознать себя как нацию, оценить собственный вклад в дело общей борьбы за свободу, общего движения советских наций вперед, к коммунизму.

Не обошел эту тему и Айтбай Бекимбетов. Свой роман «Борьба» он посвятил восстанию 1916 года, поднятому каракалпакским народом в Сарабни и Чимбае.

Это была работа, потребовавшая от Айтбая огромного труда, упорства и энергии. Здоровому-то человеку нелегко одолеть горы архивного материала — каково же пришлось Айтбаю! На долгое время он превратился в кропотливого исследователя, изучил тридцать три тома относящихся к тому периоду документов. А к этому еще: поездки по местам, где происходили события, встречи и беседы с участниками, очевидцами восстания.

Я до этого писал об Айтбае: «прикован к постели», а теперь вдруг заговорил о поездках. Здесь нет противоречия. Просто Айтбай не примирился с неподвижностью, к которой был приговорен. Он приспособился водить «Москвич» и изъездил вдоль и поперек всю республику. Так ведь поступал и другой писатель, русский, Николай Бирюков, — тело его тоже было парализовано, а дух остался неуемным, и, собирая материал для романа о строительстве Большого Ферганского канала, он совершил поездку в Узбекистан, на БФК.

Поистине: «он издевался над болезнью, и она отступила».

О трудной борьбе и трудной победе рассказал Айтбай Бекимбетов в самом, пожалуй, значительном своем произведении, романе «Необыкновенное племя», воспевшем труд и подвиг покорителей Кырккыза.

Роман охватывает, по времени, широкий период освоения массива Кырккыз: до войны, в войну, после войны. Начинается он с тех дней, когда на Кырккызе появились не колхозы даже, а только первые переселенцы, первые целинные бригады.

Писатель показывает, какой была эта земля, эта местность. «Пески Кызылкумов. Раскаленные бока барханов, отражая солнце, слепят глаза. И нет ни конца, ни края пустыне, безбрежной, как море, и не вьется там ни доро-

ги, ни тропинки... В полдень воздух жарок, как пламя, а песок будто вынут из кузнечного горна...» (перевод отрывков мой. — Ю. К.).

И вот, по воле советских людей, пришла в пустыню, на древнюю землю Кырккыза, вода из усмирненной Амударьи,—еще недавно она нападала на человека, на его жилище, теперь стала ему служить.

Писатель рисует впечатляющую картину встречи целинников с первой водой, хлынувшей по прорытому ими каналу.

«Люди, завидев воду, тут же, схватив лопаты, пусти-ли ее на заранее подготовленные поля.

Земля, веками сжигаемая лучами беспощадного солнца, ртутно блестела от жажды и, словно губка, всасывала разлившуюся по ней мутную воду. А, напившись, она от удовольствия пускала пузырьки — и они лопались на водной глади, тенькая, как колокольчики. Голубое небо широко отражалось в воде, и играли солнечные зайчики...».

Пустыня оживает. И в недавней безводной степи уже шумит первой листвой фруктовый сад, высаженный одним из аборигенов Кырккыза, старым Нурбаем.

А после войны один из героев романа с гордостью говорит: «У нас, в Кырккызе, сейчас не один, а три колхоза. В колхозе, где я председателем, пятьсот гектаров земли — под хлопком, несколько десятков гектаров — под фруктовыми садами. Мы имеем десять тракторов, автомашину. В ауле есть средняя школа, две неполных средних, больница с опытными врачами, почтовое отделение, телефонный узел, библиотека, баня, детский сад и ясли. В доме каждого колхозника — радио. Этим, конечно, никого не удивишь. Но вспомните, что тут было раньше, лет пятнадцать назад, и вы поймете, как сказочно изменился Кырккыз! Он и дальше будет меняться и хорошеть год от года».

Айтбай Бекимбетов и делает нас как бы свидетелями этих крутых перемен, происшедших в самой действительности.

Но, конечно, не эти перемены сами по себе его занимают, а люди, преобразующие пустыню.

Если перефразировать известное крылатое выражение, то можно так обратиться к писателю: скажи мне, кто твои любимые герои, и я скажу, кто ты.

Главное содержание жизни героев «Необыкновенного племени»—это неутомимый, упорный труд. Героическими

усилиями кырккызыцы орошают и поднимают кызылкумскую целину. Даже в тяжкие годы войны на землях Кырккыза кипит работа, больше того, каждый старается за десятерых. Кажется, эти люди рождены для труда. А «человек, рожденный для труда, не знает усталости».

И вместе с автором мы с восхищением следим, как отважно трудятся целинники: сын садовода Нурбай, Оразбай, один из первых кырккызских бригадиров, сам Нурбай, заменивший сына после его ухода на фронт, глухонемой кузнец Баймурат, колхозник Омирбек, учительница Турсун, трактористка Салима, немало пахотной земли отвоевавшая у Кызылкумов, Максим, названный так отцом-партизаном в честь верного друга-пулемета, учитель Мурат (потом он погибнет на фронте) и многие другие.

Это люди подвига — трудового и ратного.

Запоминается проникновенная сцена, когда секретарь райкома Айдаров в дни войны встречает на хлопковом поле немощных старика и старуху. Айдаров думает, что старики пришли сюда помочь своим детям. Но, оказывается, на этом участке некому работать, кроме них. «Хлопок этот посеян и выращен моим сыном, — объясняет старик. — Но он ушел в армию. Вслед за ним — и его племянник. Сноха наша заболела и умерла. Еще двое, из звена сына, испугавшись трудностей, перебралась на другой участок». И вся тяжесть заботы о хлопке легла на слабые плечи старых людей. Они приступили к сбору хлопчатника, чтобы не посрамить сына-фронтовика. Вскоре, от тревог, огорчений, усталости оба слегли. Но больше, чем от болезни, страдали они от сознания, что хлопок не убран, что так и помрут они, оставив его в поле. И, едва почувствовав себя лучше, не могли усидеть дома, поспешили на участок. «Пришли, смотрим, а уж почти все коробочки раскрылись! Так и сияют под солнцем. Будто захотели утешить нас да порадовать. Ну, собрались мы с силенками и снова — за работу. Уж постараемся собрать все коробочки, до единой. Сколько бы ни было килограммов с гектара, а все на пользу родины. И труд сынка нашего не пропадет даром».

Сцена эта завершается приходом школьников — и старания стариков сливаются с помощью внуков.

Кстати, в одном из наиболее ярких фронтовых эпизодов романа тоже участвует юный герой — мальчишка, пионер, перебравшийся через линию фронта с риском для

жизни к нашим бойцам, чтобы сообщить им важные сведения о действиях и намерениях гитлеровцев, засевших в их деревле.

Айтбай Бекимбетов в своих произведениях вообще большое внимание уделял детям — и среди больных («Судьбе вопреки») мы видим трогательного парнишку, и работникам милиции («Нити пересекаются») увлеченно помогают ребята. Я уж не говорю о повести «На дорогах жизни». Писатель любил детей, видя в них будущее своей республики.

Тесная связь между поколениями «подкрепляется» в его произведениях, также и в «Необыкновенном племени», нерушимым братством между нациями. Благодаря усилиям представителей многих наций меняется облик кыркызской земли. И русская деревня Березовка становится неприступной для фашистов, потому что ее «защищали коммунисты и комсомольцы, русские и украинцы, белорусы и грузины, латыши и узбеки, татары и каракалпаки — единая, монолитная мощь многонационального советского народа».

Небо над героями романа далеко не безоблачно... На долгое время его застилают грозовые тучи войны. Стелются по земле и тени прошлого — целинникам приходится отбивать нападения из-за угла байских выкормышей, затанувшихся мулл, распоясавшихся хулиганов.

Герои переживают и личные драмы. Теряет зрение (и дочку) Жамиля, которую выгоняет из дому муж, поверивший гнусной сплетне. Оразбай возвращается с фронта без ноги.

Трудные судьбы...

«Но Жамиля не пала духом, не покорилась тяжелой своей судьбе, не потеряла ни веры в доброту людей, ни надежды снова увидеть солнце».

Не сдается и Оразбай. Ему предлагают возглавить, как и до войны, образцовую бригаду целинников, и после недолгих колебаний он соглашается. «Вон Маресьев, без двух ног, на протезах, а водит самолет. Ну, и я справлюсь с бригадирством. Хоть я и калека, а стыдно мне сидеть без дела. Мне партия, колхозники доверяют бригаду, и я это доверие оправдаю, как старался оправдать его на фронте!».

Не жалость, а восхищение вызывает глухонемой Баймурат, способный и на самоотверженный труд, и на чистую, нежную любовь...

И закономерен оптимистический исход трудных судеб

в романе Айтбая Бекимбетова, человека трудной судьбы... Вполне закономерно оптимистическое звучание романа у писателя, который сам сумел преодолеть жизненную драму.

Пожалуй, наиболее привлекателен в «Необыкновенном племени» образ старого садовода Нурбая. Я бы назвал этот образ символичным — он словно воплощает в себе типические этапы пути каракалпакского народа.

Больше всех радуется он воде, разлившейся по кырккызским землям («Пришла, дорогая!..»), потому что издавна знает ей цену. Недаром ему вспоминается эпизод, когда, еще до революции, шел он с караваном по пустыне, а на стоянках присматривал за верблюдами. От зноя трудно было дышать, и все внутри пересохло от жажды. Нурбай мечтал хоть о глотке воды, но хозяином бурдюка с водсой был водитель каравана, злой, безжалостный, жадный. Не в силах больше терпеть, Нурбай подкрался к караванщику, храпевшему в тени саксаула, осторожно вытащил у него из рук бурдюк, но только открыл его, как вода фонтаном брызнула в лицо караванщику. Проснувшись, он вскочил на ноги и швырнул в глаза Нурбаю горсть раскаленного песка. Нурбай тогда чуть не ослеп. Из-за глотка воды...

А потом в его жизни было много воды. Слишком много. И это тоже было плохо. Свирепая Аму вышла из берегов... «Пенистые волны, вздымаясь, били о берег. Берег, подмытый снизу, рушился в реку с плеском и грохотом. Брызги, взлетев высоко, опали на землю проливным дождем.

Упрямая, дикая, река никого и ничего не жалела. Она заглывала, как ненасытный хищник, поля, сады, дома. Люди, лишившиеся крова, с рыданиями метались по берегу.

К полудню река смыла дом Нурбая и подступила к его саду... Первым с шумом свалилось в воду урюковое дерево, которое высилось на краю сада, как часовой. Волны с жадностью накинлись на его ветви, раскинутые, как руки, скрыли их под собой. Спустя минуту дерево вынырнуло, словно захлебывающийся человек, но налетели новые волны и навсегда погребли его в речной пучине...».

В свое время подобные картины приходилось наблюдать и Айтбаю Бекимбетову. Потому так точны и взволнованны его описания.

Нурбай переселился в Кырккыз. И, засучив рукава,

принялся обживать пустыню. Вместе с другими труженниками он привел в нее воду — послушную человеческой силе, окрепшей стократно в условиях советской нови. И вырастил первый сад... «Нет, я не затеряюсь в пустыне,—возражает он байскому сынку Ербаю. — Это моя земля. И я не умру, пока не превращу ее в цветущий сад. А когда умру, то над могилой моей будут шуметь сады, разбитые мною, тучнеть урожаями целина, поднятая мною...».

Нурбай и в годы войны с еще большим упорством борется за воду, за добрые урожан на кырккызской земле. И перед мысленным взором его высятся, как горы, хирманы с хлопком.

А когда приходит с фронта радостное известие о взятии нашими войсками еще одного города, старик идет на участок с саженцами, выкапывает нужное число и «поселяет» на новом месте, в саду, вешая на каждом дощечку с названием города, отвоеванного у гитлеровцев. «Как медали, висят на фруктовых деревьях дощечки, на которых аккурагно выведено: «Сталинград», «Смоленск», «Харьков», «Орел», «Курск»...». И с каждой новой такой «медалью» светлеет лицо у старого садовода...

Роман «Необыкновенное племя», при всех его недочетах (особенно композиционных), свидетельствует о глубоко изучении писателем жизненного материала. И опять-таки нетрудно представить себе, каких усилий (не в последнюю очередь — физических) стоило Айтбаю это изучение! Он подолгу пропадал на Кырккызском массиве — а ведь это не так близко от Нукуса, где жил Айтбай, и дорога туда не гладкая... Да и сам творческий процесс давался ему нелегко. Болезнь нет-нет да и напоминала о своей серьезности острой вспышкой... Тогда приходилось браться за лечение, а это тоже требовало времени, воли, внутренних сил.

* * *

Долго мне не удавалось во второй раз встретиться с Айтбаем: то он уезжал по творческим своим делам, то лечился и отдыхал в санатории...

Но вот я снова у него.

Нукус купается в летнем зное. Листья на деревьях пожухли от жары. Горячий ветер метет пыль по улицам...

В саду у Айтбая чуть прохладней. И тихо, спокойно. Сам хозяин сидит в кресле на колесах в тени дерева. Ли-

до светится радушнем. Гостеприимным жестом он показывает мне и моему другу, писателю Исманлу Курбанбаеву, на стулья возле него.

С тех пор, как мы не виделись (а прошло не так уж много времени), у Айтбая прибавилось седины. Но из-под кустистых бровей так же, как и прежде, живо, заинтересованно горят глаза, и губы мягко улыбаются, в их складках и горечь, и доброе лукавство.

С ним легко разговаривать — забываешь, что перед тобой человек, который не в силах подняться со своего места.

— Хороший у вас участок, Айтбай-ага.

— Родня моя с ним возится. Нельзя сказать, что живу, как бай, но не жалуюсь. Жду вечером в гости — своим лучком угощу, и вообще...

Я, конечно, интересуюсь творческими его планами, замыслами. Не притомила ли его писательская работа, длящаяся столько трудных лет? И он опять говорит:

— А ничего. Еще поживем, попишем...

Айтбай служил ярким примером неутомимости в работе. Ведь в творческом его багаже было уже немало значительных произведений: романов, повестей. Но он и не помышлял о хотя бы недолгом привале.

Недавно, по его словам, он закончил повесть «У могилы» — на хорошо знакомом ему, еще не остывшем материале Великой Отечественной войны, повесть, посвященную павшим товарищам. А также повесть для детей — «Мать».

И писал очень важную для себя повесть «Последняя операция» — о чекисте, начальнике угрозыска Нукусского горотдела милиции капитане Джумашеве, погибшем на боевом посту. У таких, как он, учился Айтбай оперативному, следовательскому мастерству, мужеству, преданности своему делу.

Думал он и над продолжением романа «Борьба».

— Над чем я еще работал? В прошлом году много поездил по районам. Написал очерки — «Широким шагом», о турткульском колхозе имени Горького, и еще об одной знатной шелководке из Бирунийского района. Они были опубликованы в «Комсомольце Узбекистана» и «Советской Каракалпакии». Очерк — жанр мобильный, нужный. Писатель вообще не должен терять связь с газетой — это позволяет ему, как это вы, критики, выражаетесь, постоянно держать руку на пульсе времени, событий сегодняшнего дня.

«Мобильность...» Это присуще было самому Айтбаю. Уж недвижимым его никак не назовешь. Ноги у него отнялись, а жизнь — динамична. В работе, в поездках...

— Айтбай-ага, вы ведь в войну летчиком были. Воздух — ваша стихия. А в творчестве вашем летная тема почему-то отсутствует, и героев-летчиков нет. Пробел, не?

— Ну, не совсем так. Кто-то есть в «Необыкновенном племени» во фронтовой части романа. Написал я и рассказы о летчиках, «Послание». Думаю, название само за себя говорит. Это — об отваге, о силе духа тех, у кого, как в песне поется, «вместо сердца пламенный мотор». Но все равно, я в долгу перед моими боевыми товарищами. И держу в замысле одну повесть — всю о летчиках! Уж выложу там все, что видел, пережил сам. Меня-то в повести, конечно, не будет. Не люблю писать о себе, даже замаскированно, в третьем лице.

Что ж, скромность — сестра отваги и истинного мужества.

И, видно, надежно закаляли Айтбая огонь войны и послевоенные годы, полные борьбы и подвижничества, если он до конца дней своих отдавал всего себя писательскому труду, жил новыми, обширными творческими «задумками».

И горько сожалеть, что это была наша последняя встреча. И что так и не довелось Айтбай-ага написать все, что он замыслил.

В день шестидесятилетия, в 1979 году, Айтбай Бекимбетову за большие заслуги перед советской литературой было присвоено почетное звание заслуженного работника культуры Узбекской ССР.

А вскоре после этого он скончался...

Я все вспоминаю его словами Бодриери и каждый раз слова: «Еще поживем, товарищи!»

Что ж, он — при жизни — и начал и сумел реализовать, и достойное место в жизни сумел занять — на высоте.

Как же трудно, не только волею жаты, а и волею духа — бороться, как он боролся, и не переставая, и бороться. Так писал Я. Авангард и в своей книге «Судьбе вопреки».

И он боролся до последних дней, и удача, и поражение, и тавил до себя добрую волю, и не переставая бороться жаждал жить в своем мире.

И желал, и жил до конца в своем мире, и в своем мире — Каракалмике, «бывшем государстве Каракалмиков».

Мне хотелось в этом очерке рассказать о мужественных, трудолюбивых, «огнеупорных» сынах Каракалпакки, бывших фронтовиках, подвиг которых продолжался и после войны, в мирных условиях.

Этот «личный» их подвиг, направленный на преодоление недуга, несчастья, слился у них с подвигом гражданским: мои герои на пределе сил и возможностей служили своему народу.

Мне хотелось рассказать о судьбах трудных — и славных.

И когда я писал об Абдурахмане Уразниязове, Айтбае Бекимбетове, я видел перед собой Каракалпакцию, в бурном движении от вчерашнего к завтрашнему дню, видел ее людей, добрых и стойких, радушных и отважных, упорных в борьбе и труде.

Я видел преображенную землю.

Видел колхозный обелиск, красноречиво свидетельствующий о том, как чтят здесь память героев.

Видел современную статью Тахиаташа.

Видел выложенный на склоне горы портрет Ильича — и думал: вот оно, начало всех начал, исток всех истоков...

Мы живем в ленинскую эпоху — эпоху богатырской размаха и темпов, эпоху, рождающую богатырей.

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

Моя первая встреча с Ташкентом, случившаяся более двадцати пяти лет назад, на самом-то деле была не первой.

Я помню этот город еще с детства: так сказать, «от двух до пяти». Тогда наша семья жила во дворе конфетной фабрики «Уртак», подведомственной тресту; в котором работал мой отец. Воспоминания, конечно, сохранились обрывочные и смутные. Помню закаты — как пожары. Узкие, пыльные, со слепыми глинобитными домами улочки старого города. Яркие, шумные, душистые базары. Огромноколесые арбы, на которых привозили липкий слежавшийся виноград. Стариков в ватных халатах, потевших за пиалами с кок-чаем. Кекликов в клетках, качавшихся посреди душных чайхан.

Помню, у задней стены нашего дома стояли бочки с

водой. В холодные зимние ночи вода затягивалась толстой ледяной пленкой. Мальчишки бросали на лед пучки самана и поджигали их. Саман шипел. Это было удивительно красиво: огонь на льду.

А летом все заволакивалось пылью. И когда накрапывал редкий дождь, то капли воды смешивались с пылью и стыли на дорогах серыми ртутными шариками.

Пыль... Знойные южные краски... Раскаленность земли и крыш... Старая ташкентская экзотика.

Сколько раз потом, спустя многие-многие годы, уже взрослым, я проезжал мимо фабрики «Уртак», а так и не заглянул в знакомый, —наверное, совсем уже незнакомый! — двор. Боялся заглянуть. Всегда грустно встречаться со своим прошлым, навещать места, где прошли твоё детство и юность, а теперь все не то и не так, все меняется и напоминает тебе о том, как изменился ты сам.

Все меняется... Но это и отраднo! Сам Ташкент, когда я появился там после длительной разлуки, удивил меня поистине сказочными переменами, которые произошли за какие-нибудь тридцать лет. Именно «за какие-нибудь» —ведь для города это в сущности не так уж много.

Нельзя сказать, что не осталось и следа от старой экзотики. Просто она как бы растворилась в ташкентской новинке.

Передо мной был новый, современный город. Очень своеобразный и колоритный. Именно среднеазиатский. Многонациональный. Строящийся, разрастающийся.

Правда, первое время я ездил, ходил по Ташкенту — и не видел города: весь он утопал в зелени, дома скрывались за высокими пышнокронными деревьями. И сверху, с самолета, Ташкент виделся зеленым-зеленым.

Чем дальше, тем больше я узнавал Ташкент. И любил его. Он стал для меня, после Москвы, вторым родным городом.

Да, я люблю Ташкент.

Вот уже в течение многих лет я прилетаю или приезжаю в этот город и каждый раз открываю его для себя заново.

Люблю осенью, стоя на берегу Анхора, смотреть на его зеленоватые, спокойные, гладкие, как маргиланский

шелк, воды, несущие на себе крохотные желтые лодочки—опавшие листья. Люблю по-южному замедленный темп жизни: когда, после приезда в Ташкент, я иду по его улицам, то вдруг замечаю за собой, что куда-то спешу и всех толкаю, внося в ташкентское «тротуарное» движение московский ажиотаж; когда же я возвращаюсь в Москву, то в первые дни меня все толкают — о, эта московская суета сует!.. Люблю традиционную «пиалку» кок-чая, которым тебя угощают даже в официальных учреждениях. Люблю быстрое, бесшумное паренье летучих мышей в ташкентских садах. Люблю свободные, легкие, развевающиеся одежды ташкентских женщин. Люблю ташкентские дворики — которых теперь куда меньше, чем прежде!—с их микроклиматом, аккуратными хаузами, деревьями, гнущимися под тяжестью золотистых плодов — маленьких солнц среди густой зелени. Люблю бродить по Ташкенту поздними вечерами: вдоль тротуаров задумчиво журчат арыки, из домов, дворов доносятся голоса,—там, несмотря на неурочный час, сидят, беседуют горожане, отдыхая от дневного зноя. Я люблю ташкентское лето с его сухой, какой-то печной жарой, о которой ташкентцы говорят с лукавой улыбкой: «Тепло!» Тепло... А конфеты в вазочке, стоящей на столе, плавятся от жары, и когда едешь по городу в машине с опущенным боковым стеклом, лицо овеивает огненный ветер. Я люблю и ташкентскую весну, даже дождливую, когда горизонт вполне застилают тяжелые тучи и потом разражаются ливнем, щедрым, спорым, веселым. А воздух после такого ливня — чистый, свежий, и все быстро просыхает. Помню, как-то чуть ли не в середине марта, уже очень теплого, хлынул дождь, к вечеру он перешел в снег, ночью мела метель, и к утру весь Ташкент оказался под снегом. Но выглянуло солнце, начало припекать. Я вышел на шоссе. Посередине оно было уже сухое. По краям — дымилось, от него торопливо поднимался густой пар. А ветви фруктовых деревьев были еще в снегу, как в белом цвету, и снег сливался с настоящими цветами. И осыпался влажными хлопьями. Вокруг меня были сразу и весна, и зима. Такое можно увидеть, наверно, только в Ташкенте...

Я люблю Ташкент в частности и в целом — город, сделавшийся за короткое время одним из крупнейших промышленных и культурных центров нашей страны.

Мне довелось побывать на многих ташкентских промышленных предприятиях... Они произвели незабывае-

мое впечатление — и своим размахом, и качеством продукции, большая часть которой экспортируется в десятки зарубежных стран и высоко оценивается покупателями.

Таштекстильмаш — завод текстильного машиностроения — выпускает уникальные, новейшей конструкции машины, которые добросовестно и плодотворно трудятся на многих текстильных комбинатах не только у нас в стране, но и за границей. Как раз в то время, когда мы были на заводе, из Англии вернулся слесарь-монтажник, представительствовавший там от родного предприятия. А на рампе — складе готовой продукции — грузили ящики с запасными частями для Польши.

Текстильный комбинат... Целый производственный городок! В кабинете директора ситцепечатной фабрики — образцы тканей, и в глазах рябит от яркой, радужной гаммы цветов и рисунков!

На Ташсельмаше мы восхищались «голубыми кораблями» — хлопкоуборочными комбайнами; на Ташкенткабеле — цехами с поточными автоматическими линиями, цехами, где почти не видно рабочих, на экскаваторном заводе — красавцами землероями, уже стоявшими на платформах и готовыми отправиться в дальний путь: один из них предназначен для выставки в Париже; на фарфоровом заводе — искусством талантливой молодежи, выполняющей на пиалах, казах, чайниках самые сложные узоры.

Мне почему-то особенно запомнился электроламповый завод, наверное, современностью продукции (полупроводниковые приборы, пальчиковые лампы), совершенством технологии и тонкостью работы, высокой культурой производства. Как смугло выделялись лица девушек-узбечек на белом фоне шапочек и халатов!..

Поражает разнообразие и самих предприятий, и их продукции! А я ведь перечислил далеко не все, да и на скольких заводах и фабриках не успел побывать!

Воистину, Ташкент — город индустриальный.

Я назвал бы его и хлопководческим: ведь от самых окраин расстилается зелено-белое море плантаций хлопчатника.

О культурном значении города нечего говорить. Всеми миру известны балет театра имени Навои, танцевальный ансамбль «Бахор», музыка ташкентских композиторов. Далеко за пределы республики и страны шагнули произведения Гафура Гуляма, Айбека, Уйгуна, Зулфия,

Камиля Яшена, Шарафа Рашидова, Сергея Бородина и многих других писателей.

Ташкент — город прославленных научных учреждений и вузов, театров и музеев, культурных памятников прошлого.

Всего и не назовешь.

А еще это город мира и дружбы. Он стал своеобразной современной Меккой для иностранных туристов, убеждающихся на его примере в том благотворном значении, которое имела для Средней Азии Великая Октябрьская социалистическая революция и установление Советской власти. Сколько людей «оттуда» в броских, экстравагантных нарядах, с традиционными фотоаппаратами в руках видишь на улицах Ташкента!

И сколько предубежденных уезжают отсюда переубежденными.

Ташкент — это светлый, негасимый маяк для многих зарубежных, особенно восточных, стран.

* * *

Известно утверждение, что у каждого города — свое лицо.

Что же наиболее характерно для Ташкента, если взглянуть на него как бы со стороны? Мне думается то, что город изо дня в день меняется, хорошеет, обретает все новые и новые черты.

Ташкентцы, наверное, уже пригляделись к своему городу. Так часто бывает: живешь долгое время рядом с каким-нибудь человеком и не замечаешь, как он растет, мужает. И только тому, кто долго его не видел, сразу бросаются в глаза перемены: э, брат, да тебя и не узнать!

Ташкент же преображается с такой стремительностью, с какой подрастает богатырь из сказки. Не побываешь в нем год, полгода — и, приехав, изумляешься: вот этого не было, и вот этого, и этого.

Шоссе Луначарского буквально у меня на глазах «обрастало» новыми домами. Если бы этот район фотографировать каждый год и потом слить снимки — удивительно зримыми предстали бы темпы, какими он менялся.

Мне легко было также проследить, как одевались в бетон берега Анхора, какой нарядной стновилась набережная, по которой я люблю прогуливаться.

Так происходило почти всегда: уезжаю в Москву — пустырь или фундамент будущего здания, сооружение только еще закладывается; возвращаюсь через несколько месяцев: уже радуется глаз законченная новостройка.

Вот заглянула сверкающими окнами в лицо театру имени Навои гостиница «Ташкент». Потом вымахали новые гостиницы. Вспыхнули под солнцем стекла Центрального универмага. Всплыло светлым айсбергом новое здание ЦК партии. Заплескалась зеленая вода в бассейне Дворца спорта. Широко раскинула свои павильоны новая киностудия. Появились новый вокзал с благоустроенной площадью, украшенной величественным памятником ташкентским комиссарам. Выставка достижений народного хозяйства, Ташкентское море.

Обновлялись целые улицы — Навои, Руставели, Хмельницкого, Новомосковская. Возник город в городе — Чиланзар. Помню, когда Чиланзарский массив только начал застраиваться, там стояло всего несколько домов и совсем не было зелени; если не считать тоненьких саженцев, которые еще не успели обзавестись листвой. Одно слово — пустырь. А уже через три-четыре года аккуратно, как на параде, сгруппировались новые кварталы, правда, еще неблагоустроенные. И вот Чиланзар разросся, зазеленел, окреп, саженцы превратились в крепкие, густолиственные деревья, которые вытянулись вдоль тенистых аллей, окружили дома; открылись свои кинотеатры, магазины, даже Торговый центр. И не верилось, что недавно я видел Чиланзар иным, — как иногда не веришь, что вот тот взрослый представительный мужчина лет десять назад носил узкий в плечах мальчишеский пиджак, — теперь же, гляди, он в модном костюме, «при галстуке».

* * *

И вот — грозный подземный апрельский толчок. Землетрясение в Ташкенте.

Я услышал о нем в Москве — случилось так, что я улетел из Ташкента за три дня до землетрясения и потом чувствовал себя словно бы дезертиром: мне казалось, что я, прикипевший душой к этому городу, должен был бы вместе со всеми ташкентцами пережить их драму.

Но драма эта еще раз показала, что у всех советских людей — одни радости и одни беды.

Глубоким душевным эхом, острой болью отозвался

ташкентский толчок в сердцах москвичей. В трамваях, метро, квартирах, в фойе кинотеатров только и было разговоров, что о ташкентском землетрясении. С волнением ждали мы радиосообщений: как-то там, в Ташкенте, угомонилась стихия или все ей неймется? С тревогой разворачивали утренние газеты... С восхищением узнавали, что ташкентцы не пали духом, а наоборот, засучив рукава, принялись за восстановление города и устройство пострадавших горожан, тех, кто лишился крова. Многие москвичи — писатели, журналисты — вылетели в столицу Узбекистана.

В эти дни можно было наглядно убедиться, какие прочные узы, причем не только общесимволические, но и конкретные — дружеские и даже родственные — связывают Ташкент и Москву (и не только Москву). Мы узнавали подробности ташкентской драмы из писем ташкентских друзей, из телефонных разговоров с ними, из рассказов москвичей, ставших очевидцами суровых событий. То и дело доводилось слышать: «У меня друг в Ташкенте, недавно прислал мне свой новый адрес», «Я жду родственников из Ташкента, с детьми — детям там все-таки тяжело...».

Москва, как и другие наши города, жила в эти дни ташкентскими событиями. И число друзей этого города увеличилось во сто крат.

А в Москву приезжали ташкентцы. И рассказывали с происшедшем и с неостывшим волнением, и как-то обыденно, — ведь человек ко всему привыкает.

Так, впрочем, уверяли они сами. Мне же до сих пор думается, что в рассказах о ташкентском землетрясении подчас неправоммерно (чаще — невольно) затушевывалась д р а м а Ташкента.

Как-то я смотрел документальный фильм, в котором проводилась такая мысль: дескать, стихия разбушевалась, а в Ташкенте царят спокойствие и даже веселье.

Нет, коварный шторм стихии — вещь невеселая. Бурные паводки, разливы рек, сокрушительные сели, градобитие, причиняющие серьезный ущерб хлопковым полям, — все это никак не причислишь к пустякам, которые можно воспринимать пренебрежительно: а, не беда, выдюжим, справимся с последствиями!.. Это тяжкие напасти, встреча и борьба с которыми требуют напряжения всех сил, многих духовных и материальных затрат.

И мужество, бодрость духа, стойкий оптимизм, проявленные ташкентцами в апрельские и последующие дни

1966 года, выказались через драму, несмотря на драму.

Верно: паники не было. Ташкент держался как часовой на боевом посту. Но после одного из поздних толчков умер мой ташкентский друг: сердце не выдержало постоянного стресса. И одна поэтесса признавалась мне, что долгое время просто не могла писать; слишком неизгладимую душевную травму нанесло ей все, что она видела и пережила во время землетрясения.

Да, ташкентцы, рассказывая о пережитом, о своем палаточном быте, не впадали в мрачный тон, шутили: «Трясемся, но не сдаемся!»

Но я помню, как мы, москвичи, весной следующего года восприняли в Ташкенте наш первый толчок, силой в шесть-семь баллов: мы сперва даже не поняли, что случилось. А вот наш ташкентский собеседник побледнел: «Как там мои? Ведь мы же на Алайском живем, в самом эпицентре». И по закономерной тревожной реакции на этот толчок мы почувствовали, как же страшен был тот, первый... А в семье моего друга мне показывали фотографию: их комната спустя два дня после землетрясения. Обвалилась стена, на постелях груды кирпичей. Хозяева спаслись чудом. Они до сих пор не могут спокойно говорить об этой ночи.

Однако не мне все это пересказывать — ташкентцам это известно лучше, чем мне. И это долго не заживало и никогда не изгладится из их памяти.

Но глубоко неправильно было бы видеть в ташкентцах только жертвы стихийного бедствия, а не мужественных бойцов. Ведь они в конце концов выстояли! И меня, как и многих, насторожила надрывная тональность поэтического крика (буквально крика) Андрея Вознесенского: «Помогите Ташкенту!»

Ташкентцы не нуждались в жалости. Им нужна была именно помощь. И помощь пришла — со всех концов, из всех уголков нашей многонациональной Родины. Как писал тогда Николай Грибачев, в эти дни «дружба народов... явила свое живое и прекрасное лицо».

Я прилетел в Ташкент спустя год после первого толчка. И увидел сразу — и драму, и созидательный подвиг.

Я ходил по Ташкенту и не узнавал его. Легко было заблудиться на знакомых улицах — потому что они выглядели незнакомыми. Ведь улицы узнаешь по домам. А домов — не было. На их месте распластались пустыри, поросшие пыльной травой. Выросли легкие,

нарядные павильоны. Разверзли темные зевы громадные котлованы. То и дело приходилось обходить конструкторы — треугольные опоры, на которые словно облокотились уцелевшие дома.

Не было Кашгарки, что возле Алайского базара. Исчезла улица с поэтичным названием «Двенадцать тополей». И горький ком подступал к горлу.

Но бросалось в глаза и другое: панорама большой стройки, усиленное движение на улицах. Мимо с громовым урчаньем мчались грузовики, самосвалы, автокраны. Куда ни глянешь — подъемные краны ворочают жирафьими шеями. Всюду объявления: «Требуются каменщики... шоферы... монтажники...»

Пыль, грохот... Но черт с ними — ведь это же строительный грохот и строительная пыль!

Я пробирался через котлованы и земляные холмы в редакцию газеты «Строитель Ташкента», помещавшуюся в старом здании Совета Министров, — ботинки из черных вмиг стали желтыми. Вокруг тяжело ворочались бульдозеры, хлопотали солдаты в выцветших, пропитанных потом гимнастерках. В городе вообще стало много солдат из стройбатов — честь и слава их трудовой сноровке, энтузиазму, упорству!

И я уже мысленно представлял себе новую площадь, новый комплекс зданий. А потом и увидел все это воочию: и обновленную площадь Ленина, площадь демонстраций и парадов, и завершенное новое здание Совмина, и соседствующие с ним другие высотные красавцы монолиты, и новые прямые и широкие проспекты, и новый памятник Ильичу — единство простоты и величавости.

За последнее время в Ташкенте вообще появилось немало памятников. Это благодарная дань прошлому, из которого выросло настоящее, это низкий поклон тем, кто закладывал основы нашего Сегодня, наших социальных и экономических побед, нашей многонациональной культуры. Особенно много памятников писателям — и узбекским, и русским. Так и хочется сказать: Ташкент — город писательский. Здесь ведь действительно мощная писательская организация. И сколько вдохновенных строк посвятили ташкентские прозаики и поэты родному городу! Увидели свет и произведения о землетрясении, о героическом восстановлении Ташкента — назову повести Бориса Пармузина, Ибрагима Рахима...

Ташкент строился. Вернее — продолжал строиться.

Мне привелось слышать суждения, будто широкое строительство Ташкента развернулось лишь после землетрясения и чуть ли не благодаря ему: мол, не было бы счастья, да несчастье помогло. Какое уж тут счастье! У многих были разрушены не только дома, но и привычный уклад жизни, подземные толчки выбили людей из нормальной колеи.

Да, землетрясение заставило поспешить с жилищным строительством, внести коррективы в планировку города, но Ташкент строился и прежде, размашисто и красиво, и если бы и не было землетрясения, город все равно в скором времени чудесно преобразился бы, обретя новые, современные и сохранив устоявшиеся, милые сердцу ташкентцев черты.

Впрочем, судя по новым зданиям, градостроители все делают, дабы Ташкент не потерял своего национального облика. Какую легкость, воздушность придает музею Ленина причудливый тонкий орнамент! Как ласкает глаз прозрачная, радужная — от солнца или вечерней подсветки — стена водяных струй на главной площади города. Эти фонтаны — «особинка» чисто южная. А вместительные лоджии в домах, затеняющие окна? А ажурная сталь гостиницы «Узбекистан»? А куполообразная, словно покрытая разноцветными тибетейками, чайхана на бульваре Ленина? А новые бани, где использованы давние традиции узбекского зодчества?

Нет, Ташкент — город узбекский.

Честно признаюсь, мне немного жаль прежнего Ташкента, когда дома скрывала зеленая кипень листвы: они были ниже деревьев. Жаль, что меньше теперь дворики, арыки, которые бежали вдоль тротуаров. Нынче Ташкент потянулся ввысь. И можно говорить о новом своеобразии и новой красоте города.

И хорошо! Человеку, видимо, свойственно радоваться переменам. Мужанину, росту. Возникновению новых черт, новых качеств. Это закономерная радость.

Я сижу в гостинице за машинкой, а за окном что-то гудит, стрекочет, ухает. Еще одна новостройка!.. И шум не мешает мне работать. Это отрадный шум. Город растет, наливается красотой и силой.

Не торопясь бреду по улице. Обеденный перерыв. Навстречу, смеясь, оживленно переговариваясь, идут тевчата и парни в рабочей одежде, в запыленных ком-

бинезонах, в заляпаных цементом брюках. И звучит разноязыкий говор. Узбеки, русские, украинцы, белорусы, азербайджанцы, прибалты... Так, наглядно, явила мне «свое живое лицо» дружба народов, дружба наших республик и городов.

Я бы сказал, что в Ташкенте, и без того многонациональном, после землетрясения сложилась еще одна «нация»: разноплеменный, «разногородный» коллектив строителей. Их можно было увидеть всюду и в любой час. Так и кажется, что весь Ташкент занят одним делом: стройкой. Живет пафосом созидания.

Ну, а в каком коллективе не отыщется хоть несколько человек, одержимых писательской страстью? И они непременно будут стремиться к общению, потому что советскому литератору, пусть начинающему, пусть «самодеятельному», — немогугу одному. Он живет среди людей, он пишет для людей, он тянется к людям. И он должен встречаться с братьями по перу, спорить, читать им только что — с пылу, с жару — написанное, думать вслух, высказывать свое мнение, учиться...

Так родилось при газете «Строитель Ташкента» литературное объединение, которым руководил тогда Борис Пармузин. Лучшему из созданного литераторами-строителями отводилась в газете литературная страница, названная «Гренадой».

Мне довелось побывать на одном из заседаний литобъединения. Монтажники, электрики, водители, бетонщики, студенты рассказывали о своих творческих замыслах, о том, что они пишут или собираются писать, и читали стихи — подчас совсем неплохие, с сердечной «живинкой», с точными наблюдениями.

Тут были и ташкентцы, и москвичи, и ленинградцы, и представители других наших городов. Это-то и показалось мне особенно примечательным: в самом составе литобъединения, как в капле воды, отразилась типическая особенность строившегося Ташкента: он сделался — «городом городов».

* * *

Ташкент — это и город молодости.

Он сам помолодел за последнее время, если иметь в виду и внешний его облик, и кипучую духовную жизнь, и выглядит еще более молодым от обилия студентов, начинающих специалистов, юных строителей...

Новый университетский комплекс, с его соразмерностью и просторностью, похож на муравейник: так и мелькают на его территории нарядные одежды студентов и студенток.

В гостиницу, напротив которой расположен театрально-художественный институт имени А. Н. Островского, доносятся голоса будущих актеров, декламирующих стихи, разучивающих роли, звуки дутаров, пение. И меня всегда изумляло — до чего же увлеченный народ занимается в этом институте! И не случайно труппы ташкентских театров все пополняются молодыми талантами. И уже не редкость — постановка чисто молодежных спектаклей.

Молодежь Ташкента — живая, интеллигентная, истинно жаждущая знаний, с насыщенным кругозором.

Помню, на встрече пионервожатых с комсоргами предприятий, организованной Чиланзарским райкомом комсомола, меня попросили рассказать «что-нибудь», и я рассказал о своих встречах с Михаилом Светловым, которого хорошо знал и как своеобразнейшего и в то же время «всепонятного» поэта, и как интереснейшего человека, неистощимого остроумца, с некоторой «горчинкой», натуру очень сложную: он был добр — и резок, при своей органичной общительности порой замыкался в себе, при своей открытости так и остался для многих из тех, кто его окружал, до конца неузнанным, непостижимым... Мои слушатели вздыхали завистливо: «Как же вы там, в Москве, интересно живете!» А я завидовал им, их молодости, задору, полноте ощущений — это о них и для них писал Михаил Светлов.

На стене, на большом полотнище, выведен был текст знаменитой «Бригантины» — песни погибшего на войне Павла Когана. Я в свое время закончил Литературный институт, где он не доучился... Мы любили эту песню, часто пели ее, хотя и не знали тогда, кто ее автор. А вот нынешняя молодежь знает. Для нас Павел Коган был поэтом старшего поколения. А для участников встречи он — свой, сегодняшней.

Вот она — живая, ни в коей мере не утерянная связь поколений...

Эта связь очень отчетливо проявляется и в литературе Узбекистана. В Ташкенте живут и бок о бок трудятся и корни этой литературы, и те, кто пришел позже, и совсем молодые. Время летит... Когда-то я писал как о молодых перспективных прозаиках — об

Адыле Якубове и Пиримкуле Кадырове. А сейчас это зрелые мастера, у которых учится литературная молодежь. Совсем недавно «в молодых» ходил Ульмас Умарбеков. Ныне имя его, как прозаика и кинодраматурга, известно не только в республике, но и за ее пределами, его пьесы ставятся на сцене театра имени Хамзы, славящегося и могучей своей труппой, и своей требовательностью.

И уже ищет свои пути в литературе подрастающая смена. Впрочем, почему смена?.. Никого эти способные ребята «сменять» не собираются, они видят свое призвание в том, чтобы достойно продолжить дело старших. Недаром же с благоговением произносят они имена своих и ныне здравствующих литературных наставников.

Казалось бы, сложные задачи выпали на долю писателей, стоявших у истоков узбекской советской литературы. Но у молодых не просто. Чтобы двигать литературу вперед, нужны не только талант, запас знаний, накопленный в институтах, но и весомый жизненный опыт. Литературной техникой сегодня овладевают быстрее, чем прежде, но это лишь полдела. Настоящее мастерство — это и свободное владение всем арсеналом художественных средств, приемов, и глубинное знание жизни, способность разобраться в ее самых подспудных процессах, и выкованное этой жизнью мировоззрение, свое видение мира. Писатели старшего поколения шагали в литературу из гущи жизни, их корни были в народе, литературной же молодежи, образованной, оснащенной пониманием того, как надо делать литературу, предстоит еще изучать жизнь. Может, оттого сейчас относительно мало в литературе новых звонких имен. Однако те качества, которые привили писательской молодежи и сам советский образ жизни, и старшие товарищи, и институты, и постоянное ненасытное чтение, и желание творить, — это надежный залог того, что скоро и о нынешних молодых литераторах мы вправе будем сказать: зрелые мастера...

* * *

Город с многовековой историей и вместе с тем очень молодой, Ташкент вздымает к небу этажи новых домов, новых кварталов.

Широко раскинулся нынешний Чиланзар — творе-

ние рук московских, ленинградских, украинских, грузинских, белорусских строителей.

Благоустраиваются новые микрорайоны.

Свободно раздалась вширь обновленные улицы Навои, просторный проспект Дружбы. И тянутся далеко-далеко...

Устремились по подземным и наземным трассам голубые поезда Ташкентского метрополитена.

И при каждом новом свидании с Ташкентом я, как и прежде, с радостным изумлением отмечаю: ага, вот новое здание аэропорта, вот новый музей, новый цирк...

Ташкент постоянен в своих изменениях.

Я люблю этот город, город молодости и прекрасных традиций, мужества и высокого оптимизма, строительного подвига и все крепнущей экономики, культуры, город, устремленный в будущее.

Чистого, ясного неба тебе, Ташкент! Спокойной земли тебе, Ташкент!

Мой Ташкент...

ГОЛОДНАЯ СТЕПЬ. ВЕСНА

Мы часто говорим: «преображенный край», «преображенная земля». Об Узбекистане, как и о других среднеазиатских республиках, правильнее будет сказать «край преобразующийся». Причем преобразующийся стремительно и наглядно.

Помню, когда еще только началось сооружение Чарвакской ГЭС и водохранилища, мы ехали по дороге вдоль ущелья. Слева, далеко внизу, трудились экскаваторы, муравьями копошились строители. Глядеть вниз было страшновато...

И вот я снова в тех же местах. 1978 год. Чарвакская ГЭС уже действует. Широко простерлась шелковая гладь водохранилища.

Мне представляют начальника ГЭС: Джаббар Кахарович Саямов. Мы всматриваемся друг в друга, улыбаемся и... обнимаемся. Саямов оказался старым знакомым: мы встречались еще тогда, когда я приезжал на Фархадскую ГЭС, которой руководил Джаббарака. Внутреннее помещение электростанции поразило меня в то время какой-то сверкающей чистотой и некоторой пустынностью: приборы, щиты, пульта управления, а людей — раз, два и обчелся.

Иду по залам Чарвакской ГЭС: тишина, чистота, панно на стенах... Легко узнать «по почерку» Джаббара Каххаровича: он — поклонник промышленной эстетики.

Мчмся на катере по водохранилищу. Какой простор! Море, рукотворное море.

И сколько таких морей возникло, сколько электростанций выросло на земле узбекской с тех пор, как я побывал там впервые!

Я не узнавал Бухару, Самарканд после не такой уж долгой разлуки. К небу тянулись высотные здания, города обрастали кварталами новостроек.

В Фергане, в начале моего знакомства с Узбекистаном, мне навстречу еще попадались женщины в парандже. Наведался туда всего через несколько лет — паранджи как не бывало.

Новый быт побеждал повсеместно и споро.

Наманган, когда я побывал там в первый раз, выглядел зеленым, уютным, но заштатным городком. Прошел какой-то срок — и я с удивлением смотрел на новые здания, улицу, превратившуюся в широкий проспект; появились новые школы, магазины, дворцы культуры, новый стадион... Все новое, новое, новое...

Но, пожалуй, нигде эта новизна так не бросалась в глаза, как в Голодной степи. Одно дело, когда меняется что-то уже обжитое, и другое — когда новое начинается по существу с нуля. Вот когда можно говорить — о крутых переменах.

* * *

Уже после того, как я возвратился в Ташкент, умения в гостиничном номере долго еще стояли на столе в вазе розы удивительной нежности и изящества, самых тонких запахов и оттенков. Розы из Голодной степи... Само это словосочетание и необычно, и в то же время показательно для сегодняшнего дня: недавняя пустыня дарит людям цветы. Я часто поглядывал на эти розы и вспоминал свою поездку в Голодную степь.

Колесил я по ней весной 1976 года вместе со своим давним другом, известным узбекским писателем Ибрагимом Рахимом.

...Позади осталась Сырдарья, изрядно обмелевшая. Гулистан — центр Сырдарьинской области. И вот — «степь да степь кругом»... Голодная степь.

Не только люди отмечают свои юбилеи, но и предприятия, города, республики. И — степи. Вся страна праздновала двадцатилетие освоения казахстанской целины. А в 1976 году юбиляром, тоже с двадцатилетним стажем, была Голодная степь.

Дата начала общего освоения Голодной степи на самом деле более давняя. В Сырдарьинском районе, например, колхоз «Ленинград» был создан в 1947 году, колхоз «Правда» — в 1936-м, колхоз имени Ленина организовал ленинградец Горностаев еще в 1930 году!

А куда раньше, 17 мая 1918 года, В. И. Ленин подписал декрет об организации оросительных работ в Туркестане, декрет, в котором предусматривалось орошение 500 тысяч десятин земли на территории именно Мирзачуля. И освоение «взяло разбег» в нынешнем Сырдарьинском районе, недаром же называют его здесь «декретным», и не случайно так много в нем колхозов-ветеранов.

Когда же мы говорим, что покорение Голодной степи началось в 1956 году, то подразумеваем комплексное ее освоение, начало широкого, массового наступления на голодностепскую целину, те масштабные мероприятия, которые были намечены в Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 6 августа 1956 года «Об орошении и освоении целинных земель Голодной степи в Узбекской ССР и Казахской ССР для увеличения производства хлопка».

Во имя этих целей была создана государственная организация, Голодностепстрой, занимавшаяся освоением целины на базе новейших приемов и методов ирригации и возведением крупных совхозных поселков современного типа на базе мощной строительной индустрии. Пионеры освоения Голодной степи по-новому совмещали в себе строителей, ирригаторов и хлопкоробов. Все решалось и создавалось в едином комплексе. И лишь после этого целина принимала, так сказать, эксплуатационников.

И тут невозможно не упомянуть добрым словом бывшего начальника Голодностепстроя А. А. Саркисова. Это был человек дерзостного размаха и замыслов в работе.

Когда-то, отвечая на мой вопрос о задачах Голодностепстроя, Акоп Абрамович высказался точно и образно:

— Надо ведь не только родить ребенка, но и поста-

вить его на ноги. Нельзя сказать, что те, кто сменит нас тут, придут на готовое. Но многое, если не основное, будет для них подготовлено.

Сейчас на берегу Южно-Голодностепеского канала (тоже детище Саркисова), которому присвоено имя этого энтузиаста комплексного освоения Голодной степи, высится стела с барельефом Акопа Абрамовича. Памятник окружен цветниками, а перед ним в небольшом хаузе с веселым визгом плещутся ребятишки. И это символическая картина: жизнь идет, и радуются дети, ради счастья которых и поднималась голодностепеская целина. Мы положили розы к памятнику, постояли возле в благодарном молчании...

Мне вспомнилось, как вскоре после пуска канала я купался в нем, и странно было чувствовать под ногами не песок, не илистое дно, а бетон.

...Весна в том году выдалась в Узбекистане ранняя, с затянувшимися дождями, грозами. Середина мая, а набрякшие влагой тучи не хотят покидать небо гостеприимного Узбекистана. Они угрожающе ворочаются над линией горизонта, где-то глухо погромыхивает гром, и мы с тревогой поглядываем на небо: не обрушило бы оно ливень, который в эту пору совсем ни к чему. Из земли уже проглянули всходы хлопчатника. Когда стоишь на краю поля, то их трудно заметить, они сливаются с землей. А из окна бегущей машины хорошо видны тянущиеся вдаль ряды крохотных побегов: зеленые длинные линии на миг проступают на ровной поверхности и тут же исчезают; мы словно перелистываем их...

Хлопку прошедшие дожди здесь, к счастью, не слишком повредили. Зато как густо разрослись травы! Разомлевшие от жары, налитые соками, они щедро источают пряные запахи.

А вон молоденькая поросль пшеницы отливает свежей изумрудностью...

Едешь — и смотришь вокруг широко раскрытыми глазами. По пословице, у страха глаза велики. А у удивления — широки. В той Голодной степи, которую я видел, многое меня не только удивляло — поражало!

Все познается в сравнении. И высшая наглядность — в конкретном сопоставлении: как было — как стало.

Я имел такую возможность: сравнить, сопоставить. Ведь прежде я нередко бывал в этих местах. И тогдашняя Голодная степь отчетливо запечатлелась в моей

памяти. Последний раз я наведаясь сюда более десяти лет назад. Небольшой вроде срок. Но как все переменялось!

Помню, в те времена я ехал час, два — и вокруг все простиралась пустынная степь, дикая, в серых струпьях соли, в сизо-пыльных вихорках чахлой полыни. И казалось, конца ей не было... Колхозы с их угожьями выглядели островками, затерянными в безбрежном степном море.

А теперь минут с десять, не больше, мелькал в окне машины знакомый по прежним поездкам степной пейзаж, и снова тянулись поля, поля, земля уже давно поднятая, и массивы нового освоения, распланированные, с подведенными к ним лотковыми каналами. Юные колхозы по привычке еще называют порядковыми числами: «Восьмой», «Девятый»... Но у них уже есть имена: имени Героев Советского Союза Ганишера Юнусова, Тургуна Ахмедова.

Да, ныне Голодная степь — по существу уже не степь, а огромное хлопковое поле. Земли для освоения осталось не так уж много. И не случайно в десятой пятилетке в Сырдарьинской, например, области намечено «поднять» всего 31 тысячу гектаров — это меньше, чем в Каракалпакии, в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Хорезмской областях.

Я люблю красноречие цифр. И обо многом заставляют поразмыслить такие, к примеру, данные: в 1917 году посевами хлопчатника в Голодной степи было занято 19 тысяч гектаров, в 1940-м—27,5 тысячи, в 1956-м, когда приступили к комплексному освоению,—61,8 тысячи, а в 1976, спустя двадцать лет,—300 тысяч гектаров!

В «старом» колхозе «Правда» в 1940 году хлопок сеяли... на 8 гектарах, теперь — на 1850 га.

Эти цифры звучат как гимн тем темпам, какими осваивалась Голодная степь. А за темпами, за масштабами освоения — люди, свершившие небывалый трудовой подвиг.

Кто-то говорил мне, что Голодную степь — Мирзачуль следовало бы «переименовать», поскольку нынешнее ее название не соответствует ее нынешнему облику. Так-то оно так. И, как знать, может, такое переименование и состоится... Но мне вспомнилось одно место из романа туркменского писателя Берды Кербабаева, где говорится о заросшем колючкой бугре, оставленном

в колхозе на память о прошлом, когда тут была пустыня. И мысленно я присоединился к высказыванию одного из моих спутников, предложившего хотя бы один участок Голодной степи,— такой, какой выглядела она раньше,— оставить в неприкосновенности на веки вечные. Тоже на память о прошлом. Живым музейным экспонатом. И название «Голодная степь», по-моему, не стоит менять. Перед глазами нашими — настоящее Голодной степи. Нам легко представить и ее будущее. Пусть же в названии ощущается ее прошлое. Для контраста.

«Накрутив» на колеса нашей машины более тысячи километров,— ибо земля-то тут преобразилась, а простор — все тот же,— мы отдыхали в новой гостинице в центре Сырдарьинского района. За окном, совсем близко, журчали воды капала. Лягушки завели свой концерт. Доносился грохот проходящих неподалеку поездов, и гостиница содрогалась, как от землетрясения.

И мне не спалось...

Но не от шума, нет. Я все не мог прийти в себя от впечатлений, какими насытила меня поездка по Голодной степи, от обилия того нового, что довелось мне увидеть.

Перед глазами стояла Сырдарьинская ГРЭС, которую мы, конечно же, не могли объехать стороной: слишком уж это примечательное явление для недавней пустыни. К тому же эта ГРЭС — место действия нового романа И. Рахима «Как закалялся человек» («Трудные экзамены»), который мне тогда предстояло переводить на русский язык.

В 1970 году в основание Сырдарьинской ГРЭС был заложен первый кубометр бетона, а спустя шесть лет уже сдана была первая очередь, вымахали первые энергоблоки, в недалеком соседстве красовался в еще неокрепшей зелени город строителей и эксплуатационников — Ширин.

Я, конечно, не льстил себя надеждой разобраться в причудливых переплетениях труб в азраторном и генераторном отделениях, в точном назначении емкостей, конденсаторов, в схемах, светящихся, мигающих в пунктах управления,— но все это, как говорится, «впечатляло». Производили впечатление и ажурные, кружевные сочетания (я бы даже назвал это ритмическим рисунком) провисающих проводов и плечистых мачт высоковольтных передач, и каналы с быстрой водой, ко-

торой суждено превратиться в пар. Все вместе создавало непередаваемое ощущение индустриальной красоты — и масштабности, сложности этого гигантского сооружения, чуда в пустыне, именуемого Сырдарьинской ГРЭС.

Кстати, уже потом, в Ташкенте, я стал расспрашивать — а как расшифровывается это сокращение: ГРЭС? Выяснилось: Государственная районная электростанция. Очевидная арханка! В названии, во-первых, не подчеркнуто, что это электростанция тепловая. А во-вторых, какая уж там районная, если ее предполагаемая мощность — 4 миллиона 200 тысяч киловатт, что равно девяти с половиной Днепрогэсам! К тому же Сырдарьинская ГРЭС входит в республиканскую и общесоюзную энергосистемы.

Не раз во время путешествия по Голодной степи мне приходилось удивляться. Хотя чему собственно? Для нас наши успехи, стремительность перемен и грандиозность свершений — естественны и закономерны. Так и должно быть.

И все же не устаешь дивиться, радоваться, наблюдая изменения и новшества в Голодной степи. Может, потому — что в Голодной степи?

...Мы опять в пути. Смотрим, слушаем. Хозяева, наши спутники, райкомовские и райисполкомовские работники, руководители колхозов и совхозов, показывают нам свои «владения» с явным удовольствием, с нескрываемой гордостью, и мне по душе этот «местный» патриотизм голодностепцев.

И отрадно то, что многое, казавшееся в прежних поездках по Голодной степи новаторским, экспериментальным, ныне стало здесь повседневностью. Помню, когда-то я восхищался: закрытый дренаж, машинное орошение, полиэтиленовые шланги для полива, гидранты-распределители, дома из силикальцита... В Ферганской долине, например, где шло в то время освоение пустынь, всего этого не было. И меня поражала какая-то страсть голодностепцев ко всему новому.

Теперь же и лотковая разводящая сеть, и закрытый горизонтальный и вертикальный дренаж, и крупные полевые карты — все это уже привычно, буднично.

А тяга к новому в Голодной степи не ослабевает.

Голодная степь — это громадная лаборатория. Тут ищут, пробуют, испытывают, снова и снова экспериментируют.

В совхозе имени Ворошилова под приглядом ученых из Среднеазиатского НИИ экономики сельского хозяйства, в частности при консультации знатока Голодной степи профессора Х. М. Джалилова, применяли внутриводное орошение. При таком орошении не нужны ни междурядья, ни ок-арыки, хлопок сеется «сплошняком», а вода и удобрения с помощью техники и автоматики вводятся из лотка под землю. Директор совхоза Худояр Латипов с улыбкой заметил:

— Не надо возиться ни с поливами, ни с культивацией. Посеял — собрал.

Не так-то все, конечно, просто. И пока это — эксперимент. Но технология выращивания хлопчатника на опытном участке действительно не так уж многоступенчата и громоздка. А урожаи предполагаются высокие, при значительном снижении себестоимости хлопка.

НТР проникает в голодностепские колхозы и совхозы.

С председателем колхоза «Ленинград» я прежде встречался и сразу узнал его. Кузыбакар Сидаров все такой же неугомонный и хлэпотливый и охотно рассказывает больше о планах, о будущем колхоза, чем об уже достигнутом, хотя многое в колхозе сильно переменялось к лучшему с тех пор, как я там был. Раис прежде всего повел меня в тепличный комбинат — гордость колхоза. То, что именуется отдельным «блоком» комбината, — это по сути стеклянные терема, раскинувшиеся на площади в 6 гектаров. Внутри свет и прохлада, все механизировано, из-под зеленых ворохов листы выглядывают зреющие помидоры и молодые огурчики с колючими пупырышками.

— Комбинат — нашего отечественного производства. Второй по размеру в Советском Союзе! Колхозу, конечно, он недешево обошелся, вон какая громадина! Но скоро он себя окупит. Мы планируем с каждого гектара доход в двести пятьдесят тысяч рублей. Таких вот блоков будет у нас четыре. Двадцать четыре гектара площади!

В тоне и словах раиса — непоколебимая уверенность в том, что будет, он говорит так, словно это уже есть.

— И ребятам нашим найдется где руки приложить. Более ста выпускников нашей школы я свозил на практику в Подмоскovie, теперь они будут работать здесь, в теплицах.

Я потолковал с ребятами, овощеводами-механизаторами. Они довольны своими новыми профессиями.

Поскольку площадь неосвоенной земли все сокращается, то путь у голодностепцев остается один: больше собирать с каждого гектара и хлопка, и овощей, то есть повышать производительность труда, его качество.

Десятая пятилетка, как известно, — пятилетка качества и эффективности. Это касается не только качества производимой продукции, но в первую очередь качества работы. Недаром же Л. И. Брежнев призывал в письмах к механизаторам сельского хозяйства: «Выполнять все операции в лучшие агротехнические сроки и с высоким качеством», искать «новые резервы повышения эффективности производства и качества работы». Одно из писем, кстати, было адресовано бригаде Р. Хайдарова из Мирзачульского района.

Мне думается, эти положения имеют отношение и к писателям нашей страны. У нас, литераторов, должно — по сравнению с прошлым — повыситься качество работы, творчества, качество произведений и эффективность их воздействия на умы и сердца читателей. На это делался упор в выступлениях участников VI съезда советских писателей.

Но творческие достижения, творческие находки немислимы без творческого поиска. Вот такой поиск и идет в Голодной степи. И успехи голодностепцев — это творческие успехи.

Для качественности труда немалое значение имеют и условия труда, та обстановка, в какой живет и работает советский человек.

Это понимают в Голодной степи.

Голодная степь — это новый быт.

В каждом узбекском кишлаке можно увидеть лозунг: «Селу — высокую культуру быта». Борьба за претворение этого лозунга в жизнь развернулась по всему Узбекистану. Голодностепцы, начавшие такую борьбу двадцать лет назад, и ныне — на передовых рубежах.

В Голодной степи трудятся и старожилы, и новоселы, большая часть которых — это новоселы бывшие, осевшие здесь в первые годы комплексного освоения целины. Так сказать, новоселы-старожилы.

Мы проезжаем мимо совхозов с многозначительными названиями: «Андижан», «Фергана». В них как бы закреплено прежнее местожительство тех, кто когда-то приехал поднимать Голодную степь, — теперь и они вправе именовать себя «голодностепцами».

— Андижанцы, ферганцы вообще молодцы,— говорил мне Ибрагим Рахим.— В былые времена по инициативе Юлдаша Ахунбабаева они снимались с населенных мест и ехали в Ташкентскую область осваивать новые земли, жить, выращивать хлопок... Среди них, между прочим, был и знаменитый Хамракул Турсункулов, по происхождению ферганец. Эта добрая традиция нашла продолжение и при освоении Голодной степи. Сюда тоже прибывали хлопкоробы из разных областей Узбекистана. Но если раньше приходилось звать их, то теперь они приезжают по собственной охоте, это не только порыв, а, так сказать, осознанная необходимость.

Да, приток людей в Голодную степь не иссякает. Однако здешние колхозы и совхозы, хотя и нуждаются в рабочих руках, далеко не всех могут принять. Не хватает жилья... Строят здесь хорошо, добротно, но, однако, все-таки мало.

Все же факт остается фактом: Голодная степь, как магнит, притягивает людей со всех концов республики. Тут есть где развернуться. И условия жизни и труда — завидные.

В колхозе «Ленинград» я видел первые готовые дома нового поселка: загляденье! Это нарядные, удобные коттеджи со стенами из сероватого пористого камня. В одноэтажных, рассчитанных на одну семью, — три комнаты, кухня, терраса, подвал. Квартиры передаются новым хозяевам уже обставленные чешскими, немецкими, польскими гарнитурами (деньги за них выплачиваются в рассрочку). Перед домами небольшие участки, напротив, в отдельных помещениях, черводнии, которые можно, когда они не заняты, превратить в летние дачи. Есть место для коровника, птичника, есть и гаражи. Спрашиваю колхозников, успевших уже переселиться в новые дома: по душе ли им такое вот жилье, в ответ — улыбки: «А как же! Все, как в городе!». Да, все как в городе, в смысле удобств. И за проживание в коттеджах взимается твердая и вполне умеренная квартплата: 11 рублей в месяц. И все же это дома, приспособленные для сельской местности, с учетом специфики, характерной для колхозника, держащего личный скот, занимающегося и шелководством.

— Всего в поселке будет восемьсот таких домов, одноэтажных и двухэтажных,— привычно-уверенно, как о чем-то уже состоявшемся, говорит Синдаров.

Это уже агрогород.

С айвана одного из бригадных станов в совхозе имени Ворошилова виднелся центральный совхозный поселок — тоже коттеджи, аккуратные и издалека словно игрушечные.

До этого в Сырдарьинском районе я как добрым знакомым обрадовался старым «переселенческим» домикам: такие я видел когда-то! Словно с недавним прошлым встретился. И не так-то уж они плохи, эти домики, все тут обжитое. Но голоднотепцев они уже не устраивают.

У Латипова совхоз какой-то ухоженный. И красивый.

Перед шипаном водоем с рыбами. Рядом цветники, розарий. Отличное место для отдыха. Глаз радуется. И поселок в зелени. И по бокам совхозной дороги деревья с пышной листвой.

Латипов — кандидат экономических наук. Но он и поэт, пишет стихи. Может, отсюда у него любовь к цветам, деревьям, красоте земной? Или эта любовь — от любви к людям? У Латипова доброе лицо, и глаза добрые, и улыбка. Он произносит негромко:

— Ведь не человек для плана существует, а план ради человека, верно? Вот и стараемся все делать, чтоб люди жили лучше, красивей.

Но чем больше делается для людей, чем больше дается им — тем весомей и отдача. Цветы, я думаю, тоже в какой-то мере способствуют повышению производительности и качества труда.

К зелени в Голодной степи отношение особое: любовное и заботливое. Вдоль дорог — тополя, орешник, чинары, урюк... И сады, сады...

Помню, когда я впервые был в Янгнере, то город привлекал и программным именем (Янгнер в переводе — Новая земля), и своей молодостью, и необычными названиями улиц: улица Юности, улица Весны... Но выглядел каким-то оголенным, еще не окрепшие хрупкие саженцы деревьев рождали чувство опасения за них, тем более, что тогда ходило много разговоров о неудачно выбранном месте для города, о продувающих его насквозь ураганных ветрах, несущих губительную пыль. И вот спустя много лет я вновь в Янгнере. Это уже обжитой город, центр производства стройматериалов для Голодной степи, и ветры ему не страшны, потому что весь он тонет в зелени. Деревья возмужали, обзаве-

лись раскидистыми кронами, тень лежит на улицах от тротуара до тротуара...

В колхозе «Правда» — парк с тенистыми аллеями. Председатель Южуман Маманов обещает:

— Зелени у нас будет еще больше. Мы под это земли не жалеем.

Когда слышишь такое, то светлеет на душе.

Ныне Голодная степь — это зеленая степь.

«Правда» порадовала и детсадом, и библиотекой, пока небольшой, и очередной новинкой: двухэтажным «Домом счастья и трудовой славы». Дом этот построен в 1974 году, в нем сыграно уже 35 свадеб, и здесь же к 50-летию Узбекской ССР и Компартии Узбекистана в торжественной обстановке проводили на пенсию 17 ветеранов колхозного труда. Видно, что в колхозе и детей любят: детсад носит нежное имя «Лола», ребятишкам там уютно и привольно. Из комнаты в комнату летают ласточки, никто из них не обращает внимания: пусть себе летают! А дети учатся дорожить всем живым...

В колхозе «Правда» мы долго стояли, склонив головы, перед памятником погибшим воинам. Сколько же было потерь! 170 членов колхоза не вернулись с войны. И среди них узбеки, русские, татары, сыновья других народов.

А неподалеку стенд — «Они сражались за Родину» с фотографиями ныне здравствующих фронтовиков, работающих в колхозе. И тоже — разных национальностей. И думаешь про себя: сколько же воинов дал колхоз фронту!

Хорошее, доброе это дело — такие вот стенды, которых в Узбекистане все больше. Мы свято чтим память о погибших. Но не менее благородно и справедливо — воздать должное тем, кто воевал и живет среди нас.

Особо запомнился мне памятник погибшим воинам в колхозе имени Ленина Сырдарьинского района. Он выразителен, многофигурен, сложен по композиции. И удивительно было услышать, что его проект создан местным колхозным художником, к тому же безруким: он инвалид Великой Отечественной войны.

В длинном ряду фамилий, высеченных на гранитном постаменте этого памятника, часто встречались одинаковые: жизнь за Родину отдали братья или отец и сын. А еще чаще фамилии воинов различных национальностей, тоже братьев — по духу, по цели.

Единой монолитной семьей встали на защиту социалистической Отчизны все наши братские нации.

И голодностепская целина была поднята общими интернациональными усилиями.

И вот еще о чем мне подумалось... Освоение Голодной степи не было бы столь победным, столь крутым по темпам, если бы не мудрая, неунынная, чуткая опека крепких партийных организаций, партийного руководства. Как было на фронте? Коммунисты, вперед!.. Вот и здесь на передовых позициях битвы за обновленную Голодную степь находились и находятся партийные работники и рядовые коммунисты.

Совхоз имени Ворошилова решил выполнить задания десятой пятилетки в четыре года. Обком партии горячо поддержал и одобрил эту инициативу.

Акалтынский райком партии активно «шефствовал» над новаторскими начинаниями, смелыми опытами в совхозах имени Усмана Юсупова, имени Ворошилова и других.

А возьмем Сырдарьинский район... Это ведь райком партии подсказал председателю колхоза «Ленинград» идею с тепличным комбинатом. Райком настоял на осушении озер возле Сырдарьи, и теперь там тянутся к солнцу первые всходы хлопчатника. Райком проявляет энергичную заботу об озеленении района — первый секретарь Мухитдин Каримов водил нас по окрестностям города Сырдарья, показывал: «Вот тут мы посадим деревья... И тут, и тут...». В 1975 году райком возглавил отпор натиску враждебных стихий: летнего маловодья, осенних дождей и снега. Много сделано здесь с помощью и по инициативе Сырдарьинского райкома партии.

Я рад, что познакомился с Мухитдином Каримовым. Он «старый» секретарь, на посту этом был к тому времени уже более десяти лет. Каримов — патриот своего района и Голодной степи, человек, беззаветно преданный своему делу; он одержим творческим беспокойством, и внешне он — живой, спорый в движениях и жестах, у него острая, с добродушным юморком речь, и глаза — темные, живые, горячие. И вместе с тем чувствуется в нем какая-то душевная мягкость.

Легко представить его среди тех энтузиастов-комсомольцев, которые более четверти века назад пришли в Голодную степь — преобразовать ее, побеждать, покорять.

И это благодаря и его стараниям некогда пустынные, заросшие полынью и камышами земли Сырдарьинского района дают теперь хлопка более сорока центнеров с гектара!

Результаты руководства парторганизацией Сырдарьинской области, творческого, напряженного труда голодностепцев — налицо.

Например, в 1975 году, несмотря на тяжелейшие погодные условия (почти весь хлопок пришлось пересевать), совхоз имени Усмана Юсупова снял урожай 24 центнера с гектара (для сравнения отметим, что у того же совхоза в 1971 году урожайность составляла 11 центнеров с га), совхоз имени Ворошилова — 29 центнеров с га (в 1974 — только 22), колхоз «Ленинград» — 31,5 центнера с гектара.

Сырдарьинский район добился средней урожайности в 31,6 центнера с га. А когда-то, в 1940 году, на этих землях снимали лишь по 6 центнеров с га!..

Во многом колхозы и совхозы выручила механизированная уборка. В совхозе имени Усмана Юсупова, к примеру, машинами было убрано 86 процентов всего урожая хлопчатника!

Достоинно отметила Сырдарьинская область и свой билей.

И я с радостью встретил весть о присвоении К. Синдарову звания Героя Социалистического Труда.

«Все, что делается в Голодной степи,— писал Ш. Р. Рашидов, — делается на базе новой и новейшей техники, на основе последних рекомендаций науки». И в итоге Сырдарьинская и Джизакская области «ежегодно... производят около 700 тысяч тонн хлопка, много зерна, продукции животноводства, овощей, бахчевых и фруктов. Доходы, полученные от производства продукции на целинных землях, давно окупили затраты на их освоение».

Я вовсе не хочу противопоставлять Сырдарьинскую область, как и Джизакскую, другим областям республики. Там достижения не меньшие.

Но ведь речь идет — о Голодной степи!

И голодностепские розы на моем столе говорят о многом... Они, как молвится, дорог...

ВСЕ ЗОЛОТО БУХАРЫ

Уж и не вспомнить, по какому случаю оказался в Узбекском стане доктор как доктор... События, по которым, по рассказу уже на одной странице, так уж и не помню. Для меня земля узбекская — это земля детства.

Я видел прошлое Узбекистана — древнюю Самарканду, Бухару, Хиву. Старый пригородный парк и вспоминается мне время на полянках, как когда-то купался Гур-Султан, а в далекие годы на выжженных полях отшлафовалась величественная фигура султана Шах и Зинды, строгая морщина Бекзата на фоне обсерватории Улугбека, узкая, галерея тонких окон древней мечети Хивы, где представляешь себе как будто переживающим в прошлые века: куда он пришел — в Самарканд, или Бухару, или Фергану, или вдали — в Самарканде или Бухаре старина как бы вырвалась в современность, то Хива — это целый мемориальный комплекс, тут от всего веет прошлым, ты чувствуешь — в этом прошлом...

Конечно, интересней всего было увидеть Узбекистан в его сегодняшних делах и свершениях. В знакомых с детства Голубой степи с великолепием Ферганской долины, сталинскими Белиштинскими металлургического завода, энергетиком Ферганский ГЭС и Сырдарьинский ГЭС, авиационном Самарканде, и застал еще самое начало аргентинские работ в Каршинской и Шерабадской степях, любилась тут ли не всеми рукотворными морями — водохранилищами, утолявшими жажду узбекской земле, которую стелется на эту работу о ней щедрыми урожаинами. Из Коканде в Ташкенте и возвращалась как-то по дороге через Фергану, когда она только-только была проложена, и по самой узкой из точек с мезитовым пейзажем, где в долине была, в которой вежливый полет жары, восточной и в низине...

На заблуду и жале заблуду жале по дороге из дорог, отбегу на Бухару и Фергану степи, из камня, потому не дождется дождя, и не дождя, на разные голоса. Кандей рынок, вблизи в... различные план... том, доброт... одного... бобая...

пробирались тут тяжелые самосвалы, экскаваторы; танец на одной из свадеб, который, кажется, назывался «андижанский веселый», — исполнитель его, полный, но удивительно подвижный, как бы фиксировал каждое свое движение, жест, и оттого эти жесты, мимика, позы казались четко выгравированными.

Дороги, дороги... Многокрасочная мозаика воспоминаний.

И что-то западало в память меньше, что-то — больше.

Поездки по Узбекистану все сильнее укрепляли мою привязанность к нему.

И опять-таки к каким-то городам, уголкам узбекской земли ты прикипал сердцем чуть больше, чем к другим.

В свое время надолго «притянула» меня к себе Бухарская область, я часто гуда наведывался, изъездил ее буквально вдоль и поперек, потом — в силу различных причин — наступила долгая разлука, но о Бухаре я все время вспоминал, следил за теми переменами, которые там вершились.

Бывает ведь, что и с другом долго не видишься, но все равно постоянно о нем думаешь и живо интересуешься тем, как он живет, что поделывает...

Когда я узнал о землетрясении в Газли, то сердце сжалось, и с искренним волнением слушал я потом тех, кто посетил эти места после первых толчков и стал свидетелем мужества, спокойствия добытчиков газлинского газа, и той действенной, давшей быстрые результаты помощи, которую оказала им вся республика, вся страна.

Один из толчков и мне довелось почувствовать — я был в Ташкенте, в своем гостиничном номере, когда внезапно пол поплыл под ногами, и с тревожным позвякиванием закачалась люстра.

Жители Газли при поддержке друзей с бедой справились — в самые короткие сроки.

Ведь это бухарцы нашего, нового времени.

* * *

В дореволюционном прошлом Бухарская область — это край экономической отсталости, феодального произвола и гнета, «религиозного мракобесия и политической реакции», как говорится в справочниках.

Незавидно и, так сказать, географическое настоящее

области — чуть не всю ее территорию занимают пустыни.

И все же сегодня мы вправе говорить о Бухарской области как об одной из самых богатых в Узбекистане, как об области передового, многоотраслевого сельского хозяйства и развитой промышленности.

Когда область была награждена орденом Ленина — а я в то время как раз находился в Бухаре, — то, поздравляя бухарцев с высокой наградой, я поднял тост «за все золото Бухары».

Это прежде всего чистое золото, добываемое в горах Мурунтау. Это «белое золото» хлопчатник, год от года занимающий все большие площади. Это «бесцветное золото» — газ, которым пользуется не только Узбекистан, но и вся наша страна. Это «черное золото» — нефть. Это «мягкое золото» — каракуль, высокоотирующийся на мировом рынке. Это, наконец, шелк, фруктовые сады — тоже ценнейшие сокровища Бухары.

Следует упомянуть еще об одной «золотой жиле», которую бухарцы разрабатывают все активней — о туризме. Из всех наших республик, со всех концов мира устремляются люди в Бухару полюбоваться ее историческими, архитектурными памятниками, неувядаемыми творениями золотых рук народных мастеров — зодчих, строителей, чеканщиков...

Да, все эти чудеса создавались во славу аллаха или феодальных правителей. Да, эти легендарные, овеянные веками камни экзотических сооружений замешаны на крови народной... Но до нас они «донеслись» из глубины веков как гимн красоте, как песнь о труде и таланте. Смотришь на минареты, упирающиеся в лазурное небо, на небесную лазурь многочисленных куполов, разглядываешь причудливые орнаменты на дверях медресе или старых глинобитных домов и думаешь: велик человек!..

И очень это правильно, что в Узбекистане стремятся сохранить старую Бухару как город-заповедник, а новые кварталы и здания строят в основном на отшибе от тех, которые уже стали Историей.

Древность, впрочем, порой отлично уживается с современностью. Задрав голову, смотрю я на верхушку минарета Калян, а потом опустил взгляд, и он уперся в новенькую телеантенну, на которой свил себе гнездо белый аист...

Литератору интересны города, области, места, где наиболее резко проступает то типическое, что характерно для облика всего края, что определяет этот облик. В Бухаре, на контрастах ее прошлого и настоящего, как-то особенно отчетливо видишь черту, типичную для всего Узбекистана: стремительность развития, расцвета республики.

...Медленно (так и спрашивается традиционное сравнение: словно караваны верблюдов) брели века и десятилетия... Медленно возводились города. Разрушались, восстанавливались, опять разрушались. Сменялись феодальные династии. Сменялись алчные и жестокие деспоты — правители Бухарского ханства и эмирата. Приходили и убирались восвояси чужеземные завоеватели. Один способ казни сменялся другим: то «провинившихся» сбрасывали с минарета, то рубили им головы на главной площади Бухары; то заточали на верную смерть в зиндан — тюрьму-яму, где люди гибли заживо. Были годы подъема культуры, торговли, ремесел, когда создавались немыслимой красоты архитектура, неувыдаемые, выдержавшие испытание временем поэтические творения. Были годы упадка. И все лилась народная кровь, и лился соленый пот по спинам простых тружеников — ремесленников, дехкан, чабанов, которых гнули к земле нужда, налоговые поборы, нещадный гнет эмиров, баев, потом и царских чиновников, к яростное своевластьи ишанов, шейхов и мулл.

Мне прошлое Бухары представляется черным небом, усыпанным яркими звездами. Эти звезды в черной ночи — народные таланты. Мастерство и трудолюбие народа и выразилось в великолепных памятниках старины.

Но в сущности для народных масс время многие века словно топталось на месте.

И вот богатырской симфонией грянула Октябрьская революция. И время «шагами сажеными» устремилось вперед.

Если, заглядывая в прошлое, не всегда можешь усмотреть, чем существенно отличался один век от другого, то ныне видишь крутые различия, перемены к лучшему, даже сравнивая год с годом.

Не так-то уж давно на карте Бухарской области было Газли, как центра узбекистанской газовой про-

мышленности, сейчас же Газли — это наша повседневность, мы привыкли и к этому имени, и к тому, что недавняя пустыня одаривает нас газом.

Несколько десятилетий назад не было и Навои, а потом на краю выжженных солнцем Кызылкумов вырос один из современнейших городов Узбекистана, «город-эталон», как мне его называли, стройный, подтянутый, зеленый. Не было и Зарафшана, а ныне всей стране известен этот «золотой» город.

Бухарская область — это область новорожденных городов и поселков. Городов, связанных с промышленностью. Городов, интернациональных по составу и строителей, и населения, что тоже придает облику области новые прекрасные черты.

Газлинское «бесцветное золото» «доставали» из земных недр представители многих наших республик. В проектировании Навои и Зарафшана участвовали ленинградские архитекторы. В Зарафшане живут и трудятся золотодобытчики из Ташкента и других узбекских городов, из Москвы, Иркутска, Туркмении и Украины. Так что не ради красного словца можно сказать, что промышленное возмужание Бухарской области — это результат все крепнущего братства народов нашей страны.

Знаменательные перемены наблюдаешь и в судьбах бухарских труженников. Сыновья, дочери простых дехкан становятся знающими специалистами, мастерами своего дела во всех отраслях культуры, сельского хозяйства и промышленности Бухары.

Мне запомнился молодой инженер, который с гордостью показывал мне «свой» хлопкозавод, — руководитель, выросший в семье бедняка-дехканна. Перекрывая гул машин, каждая из которых звенела, гудела, жужжала на свой манер, инженер пытался посвятить меня в тонкости хлопкоочистительного процесса, рассказывал, в какие зарубежные страны идет «его» хлопок, а я думал: кем бы он стал, не приди в Бухару революция, скинувшая с насиженных мест эмира и его приспешников, лишившая власти захребетников-баев и открывшая перед дегьми бедняков широкий путь к знаниям.

В Газли, в Зарафшане недавние выпускники институтов — на ответственных производственных постах.

Это, конечно, наиболее способные из способных, наиболее достойные из достойных.

И все же в их «карьерах» есть своя типичность. Растут города... Растут люди.

Этому не устаешь удивляться и радоваться.

Самые яркие, самые сильные впечатления остаются обычно от встреч с людьми. Так было и в Бухаре. Путешествуя по земле бухарской, я все больше убеждался, что «главное» золото ее, золото самой высокой пробы — это люди.

Что больше всего запомнилось в Газли? Конечно, астрономические цифры, в которых выражено количество разведанного и добытого газа, — «триллион наскребем», как сказали мне небрежно. И, конечно же, индустриальные оазисы в пустыне, напоминающие промышленный пейзаж-модерн в фильме Антониони «Красная пустыня»: головное сооружение с бьющим в глаза серебристым блеском металла, сборные пункты, где сверкала на солнце трубы, цистерны, сепараторы и, чудилось, свежим газком попахивало.

Но отрадной всего было видеть людей, управлявших современной техникой, молодых специалистов, мыслящих остро и перенективно, приехавших сюда из разных городов и республик и сделавшихся патристами Газли, или «Газлей», как они сами говорят, и живших творчески-напряженно и дружно. Совсем еще молодой инженер Газлийского управления, выпускник московского института имени Фрунзе, узбек, ташкентец, признавался мне, что когда выезжает в Ташкент проводить работы, то уже вскоре начинает плакаться по Газли...

А ведь Газли, Газлийцам, неужко? Не был там небой и видел индустриальную пустыню, и шекарский котарак сходил дико. Но что там из котарки, и пустыня — это пустыня. Газ, лежащий под землей, ощущал отнюдь не индустриальную сырость. Дотам — исторической землей, пустая нить, часто дует торжественные ураганные ветры. Жотна, по словам самих Газлийцев, «воздух плотный, как мушкетерская вода» и за человека надо шагов не видно идут дурта.

А газлийцы не жваовались, не жьикали. Прудились в полную силу, с творческим огоньком, истово спорили, склоняясь над схемами, и глаза слезились от табачного чада; всем, как говорится, «грамузом» занимались рационализаторством, совершенствовали телемеханизацию, дабы потом перейти на полную телеавтоматиза-

дне, когда все операции по добыче и доставке
за регулируются с высочайшей точностью.
После того как все по плану было выполнено,
ый. Сейчас я возвращаюсь по плану в
после землетрясения, когда Галии (или)
становилась. Везде в Узбекистане
синонимом понятия «деловая женщина»
меней».

А когда я ехал в Калинин в парадном
жался в расстойникам, какие принадлежат
в Бухарской области (едем, едем,
району, в дороге, кажется, концы
мог рассмотреть на весеннюю степь,
тучу, в вырвал поляны и холмики.
А вдали, в жаровой дымке, смутно
везде черной тушею выла на фоне
Гала куда-то длинной вереницею
че — различные коркаворуки (или)

И все это живописно
е встретился с людьми на дороге
завезался разговор о различных
ских каракулеватые, а также о
о переменах, прошедшие года
заканчивал сельском хозяйстве
«Билту», в совхозе (или)
лодой Герой Социалистического
товал весенний пейзаж
обшлось более или менее
эне стойкий и мужественный

Чабаны своего рода
традиционным башкирским
далеку от дуга, на котором
снег невозможной высоты
льдом горная река, а
вительней, чем на
вые увидел, как
ро, спорности, оном
них операции (или)
ко было смотреть на
ем поглядывал и на
куленные шкурки, которые
на заводе и в музее, ну
малое.

В одном из помещений
показали осли, совсем (или)

дальше. Работники совхоза гордились ими: садов в Бухарской области было тогда не так уж много. Тепло вспоминали хозяева об известном таджикском садовод-де Ризамате-ага, который приезжал в Бухару, помо- гая расквартировать и научил растить сады на солонча- ках. В «старшем» саду, заложившем раньшее другого, в листьях уже теснились персики, пока еще маленькие и тугими, как грецкие орехи, «смадиной» дал урожай по- скромнее — два-три персика на деревце. Долго стояли у меня перед глазами эти сады, и все же в памяти их за- селились фигуры самих садоводов, существовавших Риза- матом-ага, нежно державших каждым деревцем, и девочку из совхозной черводачи, бедную скончивших садов, и «выращивавших» шелк (уж не знаю, какими «двухэтажными» типетом охарактеризовать мог был бухар- ского шелко), и главного агронома совхоза, тоже, как и многие специалисты в Бухарской области, очень мультиталовый, талантливый, выносливый и зрячий человек.

Мне запомнились Басураны в те времена тихий, неброс- кий райончик — с маленьким центром, примерно про- сторно разбросанным на море и степи, с весьма симпатич- ными «бухарскими» до- деревянными мастера-ремеслами, много- сколько «развлекательными» заведениями, кавказца.

Учтется естественно, тридцать лет и постоительное — «Налов», «доросший» же не дома, а по часам.

Но я, давно и видел документальный фильм с «де- рами», посвященными этому городу, в котором какое-то чужающее чувство соперничества, вот эти дома, сей- час теснимые другими зданиями, в начале тридцатых лет они были еще первыми и красавцами в городе, «одно- честве» посреди пустыря, а все «миллионы» — на «сте- рильный» знакомый, и вот в этом огромном бассейне, где-то купался, только не было «вздув» «степи» «де- рами». Я как будто узнавал знакомые черты в облике «де- рами» — знаменитого, сильно повзрослевшего друга.

Но и в первом «встречи» Налов как бы общими «де- рами» в город-красавца.

Мне тогда удивляло, что фотожурналисты, «де- рами» «де- рами», снимали в Налов лишь многоэтажные здания, высокие, конечно, весьма «эффективные» и «де- рами» представлявшие собой привычную часть «де- рами» «де- рами», даже если учесть, что это город в пустыне, «де- рами» же казалась самым удивительным в Налове, «де- рами» каждым толком становился все более «де- рами» «де- рами» жилая там даже русская березка и «де- рами».

цества, дурманно-дурманной атмосферы. В быт восточной пустыни Навои вместе с мечом влился, достигнув этой местности — там же воровод, саване и мечи восточные.

Залаяв песком в шуршах ветра и Зарафшана, младший брат Навои, тоже восточный гонец безличности восточного простора.

Я побывал в нем тогда, когда он только еще не существовал, начинал существовать.

Чтобы по-настоящему увидеть, что такое город пустыни, надо увидеть пустыню.

На трескучей бездне мы летим из Навои в Зарафшан, летим плывем, час, а под крыльями все поле и тот же однообразный, словно лунный, пейзаж: желто-красные пески в каких-то оспинах, рябинах, стручках. Пустыня. Будто кожная болезнь какой-то не болеющей. И ни селения, ни деревца.

И в окружении этой мертвой, лишущей своим видом бескрайности вдруг показывается город, светлый, какой-то игрушечный, словно сложенный из разноцветных кубиков.

Зарафшан...

Мы едем в город. Минуем дорожную стрелу-указатель с букиничной надписью: «г. Зарафшан». Артезианский колодезь в окаймлении легкой зелени — пшенички. Обелиск на окраине города с торжественными словами: «Здравствуй, партиз, руками народа здесь будет построен город Зарафшан».

Он уже возводился. Напротив новой гостиницы — высокие, с иголочки, уже заселенные дома.

Мы обходим город, вернее, первый микрорайон — предпологаемый четырех. Он представлял собой аккуратный квадрат, окруженный дорогой. Вдоль нее крошечные саманные ясени, платан... И судя по той бережливой нежности, с какой относятся здесь к каждой травинке, к каждому деревцу (когда оно зацветает — это для заравницев уже маленький праздник!) — когда по

путники показывают, где будут заложены другие микрорайоны, где потянутся к небу девятиэтажные здания, да их еще не было. Но верилось: будут! При этом, что уже было сделано, легко воображалось, как изменит город через год, через пять, через десять года, как изменит его глазами, не похожими друг на друга, плавно сменяющимися друг на друга.

Вот и в этот артеиз, когда городу не было еще и

двух лет, и он, собственно, еще не вышел из младенческого возраста, зарафшанцы уже начали его обживать.

Идут женщины с продовольственными сумками в руках. Сушится бельецо на балконах и в специально отведенных для этого оградах. Бегают по улицам ребятишки, играют в мяч, весело плещутся в небольшом бассейне. Чувствуют себя, как дома. И, значит, город уже есть. Читаю объявления о футбольном матче между местными командами, о занятии спортивных секций... Жизнь идет.

Зарафшан, сам еще очень молодой, вместе с тем — и город молодости. Большинству руководителей предприятий,строек, баз тогда не было и тридцати. Среди «итээровцев» — в основном недавние выпускники техникумов и вузов, молодежь, как и в Газли, ищущая, с уверенной технической хваткой.

Как раз тогда, когда я был в Зарафшане, туда прибыли первые добровольцы с комсомольскими путевками из разных уголков Узбекистана, в том числе из Ташкента. Они собрались в новом здании школы, и руководители города и местных предприятий выступили перед ними, откровенно предупредив о трудностях, которые их ждут, деловито рассказав о перспективах развития Зарафшана и Мурунтау, о роли и месте молодежи в строительстве и на производстве. Ребята слушали с жадной заинтересованностью, в зале было тихо-тихо, и ало теплились на рубашках, чаще всего белых, комсомольские значки.

Я смотрел на ребят и думал: вот — будущее Зарафшана. И понятно то заботливое внимание, какое им оказывалось. Ведь мало построить город, надо еще добиться того, чтобы эти вот молодые посланцы комсомольских организаций Узбекистана почувствовали себя здесь не гостями, а хозяевами, чтобы они стали старожилами города, обеспечив здешние предприятия постоянной рабочей силой, и чтобы о них потом говорили: «зарафшанский характер»!.. Все это не возникает само по себе, а создается, выковывается, и в этом плане все важно: и воспитать в молодежи чувство «местного патриотизма» (честное слово, это не так уж плохо!), и увлечь ее романтикой добывания золота, и помочь в овладении специальностями, и приобщить к спорту, и позаботиться о бытовой стороне жизни.

Это проблемы, типичные для любого нового города,

рождающегося рядом с крупным промышленным предприятием и ради этого предприятия.

В данном же случае проблема усложнялась, и задача ставилась так: зарафшанцы не должны чувствовать, что они живут среди пустыни.

И когда мы осматривали город, хозяева его рассказывали больше не о будущей работе зарафшанцев, а о будущем их быте. Вот тут густо зазеленеют аллеи... Тут запланирована зона отдыха с зеленым массивом, там — плавательный бассейн. Кстати, после собрания комсомольцы и отправились на строительство этого бассейна, теперь уже и х бассейна.

А мне все перечисляли, что в городе будет построено: отдельный больничный городок, торговый центр, детские сады, кинотеатры.

В то время еще трудно было с водой, но уже прокладывался среди барханов уникальный водовод от Амударьи диаметром в 120 сантиметров. «Так что, — успокаивали меня, — будет в городе и холодная, и горячая вода. И газ — тоже будет».

Какой-то ты сейчас, Зарафшан? Судя по тому, что я читаю и слышу, сбилось то, о чем мечталось, и есть уже в городе золотодобытчиков все, что нужно человеку для жизни, для полноценного отдыха, для работы в полную силу.

А само золото... Что ж, я держал его в ладони, первое золото, извлеченное из мурунтауских руд, желтоватый, оттягивающий руку слиток благородного металла.

Слиток из чистого узбекского золота.

* * *

Но, конечно, одно из главных богатств земли бухарской — это «белое золото», создаваемое, по образному выражению Л. И. Брежнева, золотыми руками узбекских дехкан, — хлопчатник, год от года занимающий все большие площади.

Осенью 1980 года я и мой друг, писатель Сагдулла Караматов, уже работавший над романом «Последний бархан» — о преобразении бухарских пустынь, отправились в Бухару.

Хлопок в Узбекистане стал тогда «героем года» — труженики республики собрали и сдали государству более 6 200 000 тонн этой ценнейшей культуры — рекордный урожай!

Было чем гордиться и хлопкоробам Бухарской области.

Я давно не был в этих краях и с трудом узнавал места, где когда-то путешествовал.

За сравнительно короткий срок в области многое изменилось. Как-то посвежел облик самой Бухары: старина стариной и осталась, исторические достопримечательности, древние памятники архитектуры по-прежнему радовали глаз нетленной своей красотой, но выросли в городе, не перечеркивая его «музейности», современные здания, больше стало зелени, а главное — всюду слышалось победное журчанье струящейся по арыкам воды, в которой прежде ощущалась острая нехватка.

Во всей области увеличилось водное зеркало, раздались вширь освоенные, с плодоносящей землей пространства, оживился пейзаж пустынной степи, где когда-то было мертво и безлюдно — лишь пролегали караванные тропы.

Мы подлетали к Бухаре, а под нами простиралась Кызылкумы, пустыня, сверху особенно скучная, однообразного серо-желтого цвета, с руслами исстари перешших рек, напоминающих — рисунком — стволы вистых деревьев. И вдруг ландшафт резко изменился: мы увидели перечеркнувшие землю прямые, как уны, темные линии — рукотворные реки, каналы; ширные пятна водохранилищ, рукотворных морей, в белых морщинках волн.

Вскоре все это нам довелось наблюдать вблизи: мы совершили поездку по землям целинных массивов. На целине благодатные перемены особенно наглядны и убедительны.

Из рассказов наших бухарских друзей мы узнали, что в десятой пятилетке реконструирован Аму-Бухарский канал, набравший еще большую мощность, введены в эксплуатацию вторая его очередь, а также Навоийский машинный, Уртачульский, Варахинский, Маханкульский, Караулбазарский магистральные каналы. Освоены тысячи гектаров целины на массивах Маликчуля, Варахша, Маханкуля, Уртачуля, Караулбазара. Крупные запасы живительной влаги, предназначенные для орошения хлопковых полей, созданы в Каюмазарском, Тудакульском и Шуркульском водохранилищах.

Только на Уртачульском массиве, в Кызылтепинском районе, где мы побывали, уже введено в сельхоз-

оборот 20 000 гектаров и подготовлено к освоению еще 30 000.

Вообще, когда здесь говорят о покорении пустыни, то оперируют пятизначными и шестизначными цифрами: объекты освоения занимают более 400 000 гектаров, один лишь Караулбазарский массив — это 120 000 га новых полей, на Джилъванском массиве намечено поднять 10 000 га целины. «А заполучим больше воды — сможем освоить и миллион гектаров», — сказал секретарь обкома Ташпулат Хакимович Хамидов — между прочим, узбекский поэт. Но слова его не были поэтическим преувеличением. Уже достигнутое — это надежный залог грядущих свершений и побед.

Мы долго стояли на берегу Тудакульского водохранилища — огромного, с наполнением в миллиард триста миллионов кубов воды, с максимальной глубиной в 18 метров. Очертания противоположного берега терялись в дневной дымке. Над водой с криком носились чайки. Плескалась рыба, которую уже начали здесь разводить. Ничего не скажешь: море! И, естественно, тут организуется зона отдыха — с пляжами, лесопосадками. Нас радушно пригласили приехать сюда летом: «Накупаетесь всласть, позагораете, а станет слишком жарко — милости просим в лесную тень».

Примечательна история этого водохранилища, название которого переводится как «Много озер». Когда-то на этом месте зияла солончаковая впадина. А земле позарез нужна была вода. Как сказал первый секретарь Бухарского обкома партии Абдувахид Каримович Каримов, «мы искали любую возможность, чтобы создать в пустыне достаточный водный баланс». По специальности он инженер-ирригатор, кандидат технических наук. И это его идея: превратить «хранилище солончаков» в резервуар поливной воды. Вода, правда, поначалу была чересчур соленой. Ее стали опреснять, процент содержания соли значительно снизился.

Водохранилища — это как бы средоточия той «кровеносной» системы, от которой зависит жизнь освоенных земель. За короткое время в пустынной степи возникла целая сеть каналов и насосных станций, — насосы высоко поднимают воду, и по каналам она уже «самотеком» идет на хлопковые поля.

Большое впечатление производит Кызылтепинская насосная станция, сооружение которой завершено не так давно, в 1977 году. Красивое, внушительное здание,

внутри просторно и пустынно, как в залах средних размеров ГЭС. Насосы гонят воду вверх на десятки метров. Силенка для этого требуется немалая, недаром же станция потребляет 120 тысяч киловатт электроэнергии.

В центре Уртачульского большого массива («Уртачуль» в переводе — «Средняя степь»), близ предгорья, — еще одна насосная станция, тогда еще не достроенная. Взираем на невысокий холм, с него — отличный обзор: горы, похожие на громадные верблюжьи горбы, долина, которую, как только до нее доберется вода, засеют хлопком, линии высоковольтных передач, бетонированный канал, трубы насосов — как жерла пушек, хлопковые поля, словно накрытые зеленым платком в белый горошек, вдаль белые пирамиды — бунты хлопка на хлопкопункте, поблескивающая гладь Тудакульского моря... И какие просторы — сердце замирает.

Как нам объяснили, земля в долине плодородная и может дать до 50 центнеров хлопка с гектара.

В Шафрианском районе, в Джильванской степи, взорам нашим открылась настоящая пустыня: песок, выбеленный проступившей солью, словно оштукатуренный, пожелтевшие, но разных оттенков, кустики, выгоревшие, высохшие под знойным солнцем бухарского лета, больше всего верблюжьей колючки — янтака. Но, согласно народному опыту, там, где прижился янтак, земля вполне пригодна и для выращивания хлопчатника. И, действительно, справа от дороги желтела пустыня, а слева красовались хлопковые поля.

Два дня колесили мы по целинным степям, и вдоль дорог постоянно тянулись шелковисто-зеленые трепещущие ленты каналов, с берегами, густо заросшими камышом и буйной, сочной высокой травой. Могучие артерии земли, насыщающие ее влагой...

Надо сказать, что для нас, узбекского и московского писателей, объяснения, носившие специальный характер, не всегда были понятны. Но то, что мы видели своими глазами, не нуждалось в комментариях. Как говорится на Востоке, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И путем, так сказать, визуальных наблюдений мы убедились, насколько правы были наши хозяева, утверждавшие, что хлопок у них в области перестает быть монокультурой. Нет, он до сих пор самая большая забота, тревога и любовь узбекских земледельцев. Но именно особое внимание к нему, борьба за все более

обильные урожаи дали толчок развитию многих других сельскохозяйственных отраслей. Ирригационные работы проводились на степных массивах, в первую очередь, ради хлопка. Но на орошенной земле все хорошо растет. И хлопком засеяны еще далеко не все освоенные площади. Так почему бы не посадить здесь, скажем, ореховые деревья? Мы проезжали мимо ореховодческого совхоза, которому отведено под миндаль и грецкие орехи 1000 гектаров земли. А меж дорогой и хлопковыми полями зеленели — одни ярко, в полную силу, другие нежно — тутовые деревья, и молодые, и совсем юные. На новых землях их ряды не пересекают плантации хлопчатника, как на иных старых угодьях, где из-за малых размеров карт, как бы сжатых тутовником, негде развернуться технике. Здесь же одна культура не мешает другой. И производство шелка в области из года в год увеличивается.

Под лучами осеннего солнца, пригревающего весьма еще ощутимо, золотятся на полях горки лука. Приникли к земле всей своей налитой тяжестью арбузы и дыни: это тоже дар целины. В Кызылтепинском районе, в предгорье, разбит сад на 350 гектарах. Дабы не тратилась зря вода канала «Джилъван», пропитавшая почву вокруг, на его берегах выращивать виноград. Полоса виноградников раскинулась в ширину на два и в длину на двадцать два километра. Кое-где лозы еще беспомощно и доверчиво опираются на шпалеры, и странно видеть на фоне пожухлой растительности пустыни неправдоподобно зеленые побеги. А в совхозе «Джилъван» мы лакомимся, срезая с кустов тяжелые кисти, уже созревшим виноградом, да каким — черным кишмишным бескосточным, от которого невозможно оторваться.

Прямая взаимосвязь существует и между хлопком и животноводством, в области «задействован» устойчивый комплекс: хлопок — корма — скот. На свободных от хлопчатника площадях размещают кормовые культуры, причем с одного и того же участка снимают урожай сперва кормовой свеклы и ячменя, потом кукурузы. Многие каракулеводческие совхозы находятся на «кормовом самообеспечении», для этого им выделены обширные участки, и создаются специализированные совхозы по производству кормов. В области все активней вводится севооборот, и пока земля «отдыхает» от хлопчатника, ее засевают люцерной, дающей за лето и осень

до семи укусов — вот и еще один кормовой резерв. А роскошный травостой на берегах каналов? А сами кусты хлопчатника после сбора «белого золота»? Гузапая для овец — деликатес... А жмых, остающийся в изрядном количестве после переработки хлопка?

Мы едем по одной из новых, недавно проложенных дорог, — минуем поселок индюководства; вдали виднеется стадо коров...

Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев в приветствии трудящимся Узбекистана, которые «одержали выдающуюся трудовую победу — с честью выполнили социалистические обязательства 1980 года и планы десятой пятилетки в целом по продаже государству хлопка-сырца, зерна, овощей, картофеля, плодов, винограда, бахчевых культур, кенафа», писал: «Отрадно отметить, что за последние годы наряду с хлопководством развиваются и другие отрасли сельского хозяйства. Земледельцы республики в текущем году вырастили высокий урожай зерновых культур... Плодоовощной продукции и картофеля продано 2,9 миллиона тонн. Высокими темпами наращивается производство продуктов животноводства».

Эти слова относились и к земледельцам Бухарской области.

Увеличение водных ресурсов, мощностей уже имевшихся каналов — одно из важнейших слагаемых трудовых успехов бухарских хлопкоробов. А какие же еще?

— А еще, — ответил на наш вопрос А. К. Каримов, — прогрессивная агротехника. Поскольку улучшилась водообеспеченность, то появилась возможность чаще производить поливы, интенсивней заниматься, так сказать, агросанитарией, — дотошной промывкой земли, рассолением. Этой цели служат и метод затопления, и коллекторы, и вертикальный дренаж, и микродренаж. С помощью почвоуглубителей мы проводим глубокую вспашку и культивацию, такое тщательное рыхление земли облегчает хлопчатнику «работу» по усвоению влаги и питательных веществ. Для хлопководческих бригад разработаны агрометеорологические карты, способствующие точному, с учетом всех конкретных условий, определению норм промывных поливов, доз удобрений и так далее. Введены севообороты на площади в двести две тысячи гектаров. Пока растет люцерна, хлопок сеем на вновь освоенных землях, так что валовая продукция не уменьшается, а спустя три года после того, как люцер-

на обогатит почву, снова «пускаем» туда хлопчатник, и он дает прибавку к урожайности в пятнадцать-двадцать процентов. А люцерну потребляет скотина. Севооборот — это основа и прочной кормовой базы. Используя природные резервы хлопчатника, мы часто применяем более позднюю чеканку, ждем, когда хлопчатник выкинет побольше веток, — это тоже лишний корм для скота. Вообще важен индивидуальный, творческий, без шаблона подход к каждому растению. Ведь на одном и том же поле, в разных местах — различные почвенные характеристики, различная насыщенность удобрениями. Все это надо принимать в расчет. Агротехнические методы должны все время совершенствоваться.

Когда беседуешь с А. К. Каримовым, то возникает ощущение, что перед тобой не только партийный руководитель, ирригатор по образованию, но и почвовед, землеустроитель, экономист... Сама современность рождает руководителей подобного типа — и увлеченных делом, и глубоко, всесторонне знающих свое дело. И не случайно в области среди секретарей райкомов партии рядом с опытными практиками, понимающими «язык земли», умеющими «слушать» ее, — все больше работников с высшим специальным образованием.

В общем же в Бухарской области стараются все выжать из земли и воды, добиться от них полной отдачи — дабы не пропали втуше ни один клочок поливной земли, ни одна капля влаги. В Бухаре даже существует лаборатория, возглавляемая ташкентским ученым, профессором Х. А. Ахмедовым и занимающаяся проблемами повышения КПД ирригационной сети.

Больше стали сеять хлопчатника — больше приходится затрачивать трудовых усилий на уход за ним, на уборку. Бухарские земледельцы всегда трудились самоотверженно. Сейчас же их труд — это труд по-новому, на основе творческого поиска, использования передового опыта, достижений сельскохозяйственной науки. Все это и сыграло решающую роль в борьбе за «большой хлопок».

Мы попали в Бухарскую область как раз в разгар уборочной страды. Во время наших поездок по земле бухарской навстречу нам то и дело попадались бойкие тракторы, тянущие за собой по две, а то и по три тележки-клетки, доверху набитые хлопком. Над полями, поодаль от дороги, стрекотал самолет, за которым вился белесый шлейф: проводилась дефолиация, хлопчат-

ник лишали листвы, готовя к машинному сбору. Дни выдались погожие, с голубым небом, льющим тепло, и белую рябь полей бороздили «голубые корабли» — хлопкоуборочные машины. На поля области той осенью было выведено 3900 машин, и многие механики-водители уже собрали по 300—400 тонн хлопка.

Естественно, наибольшей урожайности достигли колхозы зоны культурного земледелия, то есть расположенные на «старых» землях; иные бригадиры «взяли» по 40—50 центнеров хлопка с гектара, в том числе самого ценного и доходного — тонковолокнистого. Этот сорт хлопка называют еще «шелковым» — и действительно, мнешь в пальцах пушистые, похожие формой на лимонные, дольки, выглянувшие из раскрывшейся коробочки, а они на ощупь нежные и гладкие, как шелк.

Шафриканский район «выдал на гора», если можно так выразиться, в 1977 году 2711 тонн тонковолокнистого хлопка, а в 1980 — 5508 тонн.

От хозяйств-старожилов не отстают и новые, целинные.

По землям колхоза имени академика Муминова (Шафриканский район) протекает обсаженный молодыми чинарами канал «Мингчинар» — «Тысяча чинар», сооружаются и другие каналы. Пришедшая сюда вода позволила колхозу освоить тысячу гектаров целины. К тому времени, когда мы там были, хозяйство уже выполнило план хлопкозаготовок на 120 процентов и получило с гектара 45 центнеров хлопка.

Среди бригадиров, добившихся солидной урожайности, — более 50 центнеров с га, — Худояр Сулейманов из колхоза «Москва» Кызылтепийского района, потомственный хлопкороб, один из первых освоителей Уртачульского массива: именно за освоение новых земель ему было присвоено в 1978 году звание Героя Социалистического Труда. Он из тех, у кого трудно угадать возраст: в коротко стриженных волосах — начинающаяся седина, а черты лица, прокаленного солнцем, словно отчеканены раз и навсегда. В бригадире привлекают неторопливость, какая-то основательность, спокойствие. Впрочем, что ему волноваться? Бригада уже выполнила план на 180 процентов!.. Когда мы поинтересовались «секретом» этого успеха, он серьезно и обстоятельно объяснил:

— Секрет один — любовь к земле, к хлопку. Ведь хлопок, как дитя малое, — нуждается в ласке, в забот-

ливом уходе, порой и капризничает. А то, глядишь, и приболеет, тут уж ему все внимание. Его понимать надо и все время возле него находиться, чтобы учуять, когда он голоден, когда пить хочет. Любовь и терпеливый труд — вот и все, что требуется от хлопкороба.

Хорошо, когда плод такой любви и труда — 560 тонн хлопка со ста гектаров.

В ту осеннюю пору, пору уборки хлопка, трудно было застать на местах руководителей области: все разъехались по районам, чтобы следить за ходом уборки, контролировать и направлять его. Один обкомовский работник жаловался:

— Рабочий день у нас и так неформированный, а тут и совсем отдыха не знаешь. Собственные дети и то донимают: почему снизили процент дневного сбора, когда перегоните ташкентцев?

Не ведали в эти дни покоя и секретари райкомов, видевшие свою главную задачу в постоянных и тесных контактах с людьми, тружениками полей, от которых, в конечном счете, зависела судьба урожая.

Общие усилия не пропали даром: уже 11 октября, необычно рано, Бухарская область завершила плановый объем хлопкозаготовок, 12 октября выполнила социалистические обязательства по продаже хлопка-сырца государству, а ко 2 ноября значительно их перевыполнила.

И это вопреки злым капризам погоды! Когда мы покидали Бухару, небо отливало атласной синевой, но уже заметно похолодало, и я жалел, что не взял с собой пальто, а в последующие дни разразились дожди, серьезно затруднив уборку хлопка, еще оставшегося на полях.

Однако область с честью выдержала испытание ненастьем. Мы позднее заинтересовались: как дела в «наших» районах? Кызылтепинский выполнил план на 116,13%, а по машинному сбору на 110,83%, Шафирканский — соответственно на 107,09% и 105,65%.

Бухарская же область в целом дала стране более 600 000 тонн хлопка!

Такого здесь еще не бывало...

Следующий, 1981 год подтвердил, что успех бухарцев был не случайным.

Весной погода разбойничала всюю, на молодой хлопчатник обрушивались ливни, большая часть хлопковых плантаций пострадала от градобития.

Я был тогда в Москве, и когда увидел на экране телевизора, с какой горечью рассматривает А. К. Каримов полегшие, измочаленные дождями и градом побеги хлопчатника, — сердце защемило...

И как же радостно было узнать осенью, что бухарцы, несмотря на труднейшую весну, на пересевы, сумели все-таки подарить Родине более 660 тысяч тонн хлопка!

Полновесный подарок, особенно если учесть, что всего за шесть лет до этого, в 1975 году, урожай хлопка составлял лишь 389 тысяч тонн.

Тут уж впору говорить не о «шагах саженых», а о стремительном рывке вперед.

ДОРОГИ

Меня мотает по дорогам
Республик дальних — близких мне.
Несусь вперед на круглопогом,
Бензинодышащем коне.

Забыв московскую квартиру,
Столичных будней вертокруть,
Скольжу, как лодка, по такыру,
Между барханов лажу путь...

За небо синее — ручаюсь,
Что будет жарко — предскажу.
С людьми хорошими встречаюсь,
И руки добрые держу.

Я сплю в гостиницах совхозных.
Умаянный заботным днем...
И чистый воздух, жаркий воздух
Мне в грудь вливается огнем.

И каждый день, как небо, ярок,
И нужные слова нежны,
И принимаю, как подарок,
Любую пядь моей страны.

Ее людей, простых и верных,
Ее бесчисленные труды,
И сказочность степей безмерных,
И гор размерные ряды.

И так тут много, так мне мало —
Широт, и высей, и глубин!..
И голубая гладь Арала
Вздымает волны — до седин!

Дым султанами воздух извилисто режет.
Это заводь. Заводы.
Я к центру нырну!
Ветер бьется о каменное побережье,
Голубые троллейбусы бродят по дну...

Вижу город в сегодняшнем
И во вчерашнем.
Но ни взором, ни сердцем его не объять!
И горит маяком
Шпиль Останкинской башни,
И струится проспектов новорожденных гладь.

Хорошо, черт возьми!
Сердце — в трансе высоком.
Как я глупое чувство свое назову?
Просто —
Легкой волною людского потока
Я кружусь по Москве,
Я вдыхаю Москву.

ПО ТАШКЕНТУ

А я иду по улицам Ташкента,
Мне светит ЦУМ голубизной стекла.
Автомобилей огненная лента
По блестящему асфальту потекла.

А я иду — навстречу светят лица,
И в небе светят лайнера огни,
Хоть вечереет — жизнь вокруг струится,
И все же, я и город — мы одни...

Так здравствуй, светлый! Даже ночью — светлый!
Да, светлый — даже в сизой полутьме.
Коль в чем неправ — ты на меня не сетуй,
И промахи — прости как другу мне.

Иду я вдоль сколоченных заборов,
Бульваром, что возводит Высокстрой,
Вдоль шебнево-кирпичных косогулов,
Вдоль свежих зданий, вставших в общий строй.

Как вам живется, новые кварталы?
Как дышится, ташкентская земля?

Ты за день натрудились и устала,
Машинами и стройками пыля...

Неона и луны мерцают блики
В листве деревьев, тихой, словно сон.
И притомленно шепчутся арыки,
А воздух и тяжел и невесом.

Иду. Вдыхаю пряные цветы я.
А вечер небо в звезды обрядил.
Вот дом недобрый. Вот места святые,
Где я с друзьями верными бродил.

Бывало все. Бывало то и это.
Средь ясных были хмурые года.
Но мне Анхора — доброю приметой —
Блестит зелено-желтая вода.

Задумавшись, по улицам бреду я,
Да, не всегда прозрачен небосклон.
Ты помнишь, как попал в беду крутую
И дружбой был спасен и обновлен?

У каждого свое землетрясение,
И каждый свой ведет с бедою бой,
Но в дружбе — воскрешенье и спасенье!
Так было и со мною,
И с тобой.

ПО НУКУСУ

Меня пугали этим городом:
Мол, задохнешься в нем от пыли,
Мол, главный транспорт в эту пору там —
Ишак, а не автомобили.

Но оказалось все «приписками»,
Очковтирательством на деле.
И мы с Нукусом стали близкими
Почти что в первую неделю.

О, как же медленно тут ходится!
Шагнешь — и сразу встретишь друга.
Ну, и удержишься, как водигся,
Узлы беседы вяжешь туго.

Пройдешь неспешною походкою
Еще чуть-чуть — студентов стая;
— Как там в Москве у вас с погодкою?
Мы послезавтра улетаем!

И не успеешь ты условиться
О встрече («Отговорки бросьте!»),
Как рядом «Волга» остановится:
— Привет Москве! Салем! Жду в гости!

Иду, шучу с друзьями вместе я.
И новым встречам сердце радо,
И после первого приветствия
Вопрос ребром: «Помочь не надо?»

Тут гостю / честь и уважение,
Радунье пылкое, крутое,
За приглашеньем приглашение
И доброта за добротою...

И пыль не в пыль, и вольно дышится.
Как дома, чувствуешь себя ты.
Идешь, и то и дело слышится:
— Салем московскому собрату!

Деревья сбоку чуть сутулятся...
Какой же город этот длинный!
Уж вечер близится, а улицы
Я не прошел и половины.

Нет, городу упрек не брошу я.
Что глушь — не замечал покуда.
А ишачки... Они хорошие.
Такие плюшевые. Чудо!

ПО БУХАРЕ

Я брожу по узеньким улицам
Древней, выгоревшей Бухары.
Вон старик в халате сутулится —
Очевидец минувшей поры...

Вон — в листве, как в зеленой пене, —
Трехсотлетний тутовник застыл...
Вон — на новой телеантенне
Белый аист гнездо себе свил.

Я стою и люблюсь,
Согретый,—
Нет, сожженный восторгом догла! —
На узорные
Минареты,
На лазуриые
Купола...

Тут искусство
С тленностью спорило,
Караваны веков пробрели...
Но история —
Это история.
А сегодня я был
В Газли.

Никли травы в желтой агонии,
Била пыль из-под автоподков...
Как из фильмов Антониони —
Блеск индустрии
Средь песков!

А над схемами спорили истоиво,
От табачного чада в слезах,
Молодые специалисты
С острым блеском
В умных глазах...

...Где весна. — многотравным разливом,
И где степь, словно мир, широка,
Я бродил с чабаном молчаливым,—
Звездоносцем,
Членом ЦК...

...Гул машин на хлопкозаводе
Чуть звенящий —
На свой манер...
Тут по-мудрому верховодил
Сын дехканина — инженер.

Новый век до краев заполнил
Этот край пустынь и жары...
Вот таким я увидел, запомнил
Лик сегодняшней Бухары.

Люди новой, высокой доблести.
Новорожденные города...
...Побывайте в Бухарской области —
Вас опять потянет туда.

ПО ЗАРАФШАНУ

*«Я знаю — город будет,
Я знаю — саду цвести...»*

Мы летим на трескучем биплане.
Под крылом пески и пески.
Голова словно в желтом тумане
От бескрайней этой тоски.

В зыбком мареве дальние горы.
Сколько кладов у них под пятой!
Вдруг внизу —
Игрушкой —
Город.
Яркокрасочный.
Золотой.

Мы все ниже.
Город все ближе.
В Завтра плыть ему, как кораблю!
Я его рождение вижу,
Я дыханье его ловлю.

Современный.
Живой.
Веселый!
Юность — с радугой пополам.
И идут не спеша новоселы
По житейским своим делам...

Ветер саженцы хрупкие дразнит.
Зеленеет яшень светло...
Тут события,
Маленький праздник —
Если деревце зацвело.

Небо в знойной истоме стынет.
А в бассейне шумит детвора!
И не веришь, что ты в пустыне,
Что кругом «ни кола, ни двора».

Да, бессильна пред нами природа,
Держат верх наши мудрость и риск!
«Волей партии. Руками народа», —
Так гранитный гласит обелиск.

И я вижу, что город будет!
И цветов тут будет не счесть,
И все это, рабочие люди,
Вам на счастье
И в вашу честь.

ПО АШХАБАДУ

В Ашхабаде сегодня жарко, жарко...
Нестерпимой, огненной веет жарой
От каждого дома, от каждого парка,
От каждого дерева
С окаменевшей корой.

В Ашхабаде сегодня душно, душно...
Обнимает город
Железная духота.
Но город встречает меня радушно;
Солнцем душа моя залита.

И мне хорошо от птичьих вскриков,
От синего неба, от созревших плодов.
Вдыхаю вместе с жарою
Свежесть арыков,
Вдыхаю вместе с жарою
Зелень садов.

И трогаю я — душой, не руками —
Недвижность отяжелевшей листвы,
Траву, пробившуюся сквозь камень,
Улицы, тянущиеся до самой Москвы!

Памятник Ленину, выстоявший в ненастье, —
В шквальную ночь, вздымавшую гребни земли.
И я от души желаю покоя и счастья
Твоим домам, и небу, и горам вдаль.

Солнце звенит золотою, призрачной лютней.
Словно застывшая лава —
Кора могучих чинар.

Здравствуй, город —
Просторный, новый, уютный
И такой нежданный —
Как в будни — праздничный дар.

Пыльные тосты новых друзей и братьев.
Новая дружба — крепкая, на года.
Добрый город!
Жарких твоих объятий
Не смогу забыть
Никогда,
Никогда!

ДОРОГА НУКУС — ТУРТКУЛЬ

А вы видели,
Как барханы
Переползают
Через дорогу?
О, эти желтые
Чингисханы!
Так агрессивны!
И так их много!

Справа пустыня.
И слева пустыня.
Песок и соль.
Саксаул и песок.
В жилах кровь от простора стынет,
И зной до боли сжимает висок.

Едем дальше.
Какие виды!
Сбоку — мерцающая река.
И будто египетские
Пирамиды
Туманно реют
Издавека...

Это курганы.
Из прошлой дали
Шагнули к нам —
И застыли навек.
А вы видали,

А вы видали,
Что накудесил тут
Человек?

За древними вышками
Сторожевыми,
За прежними руслами
Буйпой Аму —
Колхозы, колхозы, которым имя:
Слава Труду,
Созиданью,
Уму!

Арыки, озера, сады и уголья...
И все — с недалних,
Недавних пор!
И бело-зеленое
Половодье
Хлопка,
Сулящее добрый сбор.

Смешала дорога
Сказки и были,
Легенды все
И свершенья все.
И верткими змейками
Струйки пыли —
Через шоссе,
Через шоссе...

САМОЕ СИНЕЕ В МИРЕ

Арал — он с маху покоряет,
Пленяет раз и навсегда.
В лицо мне брызгами швыряет
Прерасснейшая вода!

Такую где еще отыщешь
Синь невозможной чистоты?!
И сам ты делаешься чище,
Коснувшись этой красоты.

Кругом безбрежность голубая,
И волны ломают напролом.
А в небе стая карабас —
Несния-угольным углом.

Песок прибрежный чист на диво!
И облака в воде легки.
И пеликаны вдоль залива,
Как волн седые гребешки...

Арал, Арал!.. Средь дней счастливых
Сияй и солнце отражай!
Пусть рыбаки на синих нивах
Собирают добрый урожай.

Пускай тоска тебя не сушит
По влаге свежей и живой.
Ты покоряй людские души
Вовек — глубокой синевой!

ТУГАИ

Исмаилу Курбанбаеву

Туган, туган — коренастые джунгли!
Как пестры и нарядны вы солнечным днем!
А ночами и зверю здесь тоскливо до жути,
Лишь кабаньи глаза светят острым огнем.

Турангиль, турангиль — то высокий, то низкий.
И пахучий жингил фиолетов и бел.
Мы зовем его, кажется, у себя тамариском.
Я хмелел от него, и от неба хмелел.

Прячет стаи фазаны травница густая.
Лес видения прячет вечерней порой...
И не только прохладой — угрюмою тайно
Из чашобы лесной дышит сумрак сырой.

Мы ходили сторожко глухими стезями,
Находили следы — рыси, птицы, лисы...
На привалах охотничьих с дорогами друзьями
За беседой ночной коротал я часы.

Продирался сквозь ветви к неизведанной цели,
Чтобы даже о сбывшемся после груститы!
Туган, туган! До чего же вы цепки!
До сих пор не хотите меня отпустить...

УТРО НА СТРОЙКЕ

Здесь и ночь считалась днем рабочим.
Но когда в права свои вступала,
То была такой густой, что ночью
Все вокруг, казалось, засыпало...

Ночь угарным сумраком чадила.
Город жил. Но притворялся, будто
Спит и он. И утро приходило
Тихо, словно в валенки обутое...

Но когда оно, как губкой, стерло
Звезды с неба, и туман стал редким,—
Как сверчки, застрекотали сверла,
И загрохотали вагонетки.

Солнце золотой встряхнуло гривой,
Утро развернулось, словно свиток...
И по берегам сухие взрывы
Прокатились залпами зениток.

Шелест шин (и гулко пела пена!),
Шум машин (и птицы пели с крыш!...)
Звуки, точно вырвавшись из плена,
Выпрямились. Выкрепли. И тишь —

Вдребезги разбита голосами.
Спором топоров и визгом пил...
В небе тараканьими усами
Деррик-кран смешно
Зашевелил...

Свет выгравировывает четко
Берега, прильнувшие к волне.
И вдали подпрыгивает лодка
Седоком на взмыленном коне.

Ветер мчит по стройке. И как вестник
Трудового солнечного дня,
Светлая украинская песня
Над рекой рассыпалась, звеня...

ЗИМА НА УКРАИНЕ

День сегодня и свеж, и светел.
День такой тут нередкий гость.
Лишь порою в лицо вам ветер
Бросит снега полную горсть.

Нрав у здешней зимы — престранный!
Где ты ночи такие найдешь,
Когда будит тебя неожиданный,
По-весеннему шумный дождь?

Ну, а утром глаза твои встретят
Голубую небесную гладь.
Солнце так пронзительно светит —
Хоть раздеться да загорать!

Протянулись тропинок нити,
И сады блестят вдалеке.
Так и хочется из дому выйти
И бродить в одном пиджаке.

Кровь бурлит и рокошет в жилах.
По земле — ручьев кутерьма!..
«Да, — сказали мне старожилы, —
А суровая нынче зима...»

ОДА ГОРНОЙ РЕКЕ

Доныне в намяги лелею
Я встречу первую с тобой.
Ты приглянулась мне своею
Простой, прозрачною судьбой.

Задавшись праведною целью —
Пробиться к людям, на простор,
Ты проторила путь в ущелье
Средь белых и зеленых гор.

Средь гор с их ликом ястребиным
Рвалась ты издавека к нам,
Чтоб жить арыкам и турбинам,
Селеньям, птицам и цветам.

Какая ж пламенная сила
В тебе, подвижнице, была!
Ты все преграды сокрушила,
Все компромиссы отмела.

Вобравши небо полной грудью
И став от ярости темней,
Ты перемахивала груды
Крупнокалиберных камней.

Бывало, в тяжкий миг обвала
Ходили горы ходуном.
Но и тогда ты не виляла,
Идти старалась напролом!

Тебе ни хитрость, ни притворство,
Ни скрытность — вовсе ни к чему!
...И я завидую упорству,
Прямому нраву твоему.

МОСКОВСКИЕ СУТКИ

(1945 год)

У Т Р О

Тихо. Очень тихо. Слишком тихо.
Кажется, что смолкли голоса
Только для того, чтоб тонко тикать
В щель-то окнах сказочным часам.

Фокусничал ветер над плакатом,
Наскоро приклеенным на стену.
Разносился громовым раскатом
Четкий шаг ночной патрульной смены.

Есть у тишины свои отливы...
Город был по-утреннему строг,
Но вдали — пронзительно-тоскливо —
Паровозный простонал гудок.

А потом трамвай рассыпал трели,
И тогда у людных остановок
Вдруг запахло кожей от портфелей
И машинным маслом от спецовок...

Д Е Н Ь

А день иными красками задарен.
Аллеям желтым вовсе не под стать,
Серебряной сигарой на бульваре
В руке газона сжат аэростат.

На рынках шум отчаянного торга,
В палатках — газировка и цветы.
И девушки в исцветших гимнастерках
Своей не замечают красоты...

Мой город по-военному спокоен.
Застыл завод в рабочей тишине.
И небо распласталось над Москвою,
Как серая солдатская шинель.

В Е Ч Е Р

Небо алым стало на минуту,
Вспухли туч багровые бугры...
Светлыми ракетами салюта
Сумрак брошен в дальние углы.

А когда, охрипнув, отзвучали
Голоса далеких батарей, —
Город ошетинился лучами
Приглушенно-ярких фонарей.

Свет неверный лица нам увечит,
Самых строгих линий не щадя.
Вечер гасит окна, словно свечи.
Вспыхивает шум на площадях.

Молодые — мирно сбились в пары.
К дому, на покой, бредет старик...
И стучат, стучат по тротуару —
Прямо в сердце! — чьи-то костыли.

Н О Ч Ь

А ночь, как и всегда, непогрешима.
Ночам былым и будущим чета,
Она все звуки плотно притушила,
Затушевала густо все цвета.

Чтоб все казалось светлым и нестрашным,
В какой-то раз, — не помню уж, в какой, —
Бьют на куски
Часы Кремлевской башни
Хрустальную посуду над Москвой.

А как нарядна эта ночь! Смотрите:
Наш город встал во весь свой гордый рост,
И небо застегнуло черный китель
На золотые пуговицы звезд.

ОТВЕТ

В стихотворении «Союз» автор писал о некоем загадочном — особенном, «избранном» — «народе по имени И».

Я русский. Но горжусь не этим званьем.
В СССР народ мой — не один.
Я счастлив отстоявшимся сознанием,
Что я страны великой гражданин.

И весь наш мир делил бы на Людей я
И нелюдей всех наций и мастей.
Не клан, а класс растит своих детей,
Не кровь роднит, а кровная идея.

И если имя И — тому народу,
Что хапнул землю у народа А,
То я — за А! И не поверю сроду
В «особые» разбойника права.

Нам эти разговорчики не внове,
И не отмыть их сути добела.
«Особенность» и «избранность» давно ведь
Расизма главным козырем была.

Моя ж многонародная страна —
Отчизна дружбы
Самой высшей пробы!
И жизнь у нас, и цель у нас — одна.
А нрав? Так он у каждого особый.

Навек я предан Ленинскому Веку
И славлю Братства ширь и глубину.
Я друг — любой державы Человеку.
Расиста оголтелого —
клянуп!

НЕ ВЕРНУВШИМСЯ

*Памяти погибших на фронте
выпускников 635-й московской
школы.*

Ребята, ребята, — вы были совсем молодыми.
И с пальцев не смылся чернил ученических след,
Когда погибали вы в пламени, грохоте, дыме,
И до двадцати не дожив еще, боже мой, лет...

А нам за полвека. И многое мы повидали,
И многое сделать успели мы, — кто уж как мог.
Открыты пред нами грядущего светлого дали,
Хоть нам и грозят перегибами новых тревог.

Бывали, конечно, потери. Бывали невзгоды.
Зато и успехи, любовь, новорожденных крик...
Но все эти с вами в разлуке прошедшие годы
Мы не забывали о вас ни на час, ни на миг.

Мы помним о вас — в тишине, среди рабочего шума,
В беде и в удаче, и в отчем, и в дальнем краю,
Хоть кто-то — прости его, друг мой, Хотеевков Шура, —
На мемориале фамилию спутал твою...

Мы вам посвящаем романы, поэмы и речи,
Но только лишь в сказках бытует живая вода...
Хоть бережно память хранит наши прошлые встречи, —
А страшно сознание, что новым не быть никогда...

Нет, нет, не плакаты и толпкой малой не лживы
Слова о бессмертии и памяти нашей обет!
Но мы-то ведь все еще живы, пока еще живы,
А вы хоть бессмертны — с живыми навеки вас нет...

И каждая смерть — это кровоточащая рана
На сердце народа, на сердце родимой страны...
Ребята, ребята, — зачем вы погибли так рано?
Вы так нам сегодня — в заботах нелегких — нужны!..

Я мог бы сказать: и за вас мы работаем, верьте.
И выполним мы перед павшими долг свой святой.
Но нет ничего неизбежней, бездоннее смерти,
И тут не поможешь ни клятвой, ни стелой лигой.

И не в утешенье — на лёт журавлей любоваться.
Ведь вы не в небесной, а в черной земной глубине...
И в память о вас одного мы должны добиваться:
Чтоб больше никто,
Никогда
Не погиб на войне!

ОДНОКАШНИКУ

Алексею Малолеткову

Ты был уверенный и упрямый,
Такой отчаянный,
Не аскет.
И было беспечной твоей программой
Спротивленье
Всякой тоске.

Было...
И это проклятое «было»,
Плеснувши в глаза, как волна по песку,
К берегу моему
Прибило
Эту самую вот
Тоску.

И — невозможно сопротивляться
Даже во имя твоих программ!
...Больше тебе со мною не шляться
По переулкам и по дворам,

Больше друг друга не перехвалим
И не обидим в несчетный раз.
В волейболе
И за роялем
Больше не быть тебе первым из нас!

Не колдовать над старым романсом —
Помнишь, где скатерти и гусар?

И вместо уроков
За преферансом
Не сидеть по двадцать четыре часа!

Больше тебе не быть со мною
Таким, каким ты не был
И был.
Больше тебе не называть женою
Ту, которую я любил!

Что б ни было — я пред тобою в ответе...
И слышишь, о чем я жалеть готов?
Но только тебе не услышать и этих
Смятенно-сумбурных моих стихов.

А это не реквием. И не ода.
И не рассказ о твоей судьбе.
Я просто тебе сегодня бы отдал
Все, что отдать не успел
Тебе.

И если б вернуть эти дни, в которых
Ты упрявился
И глушил,—
На любую уступку пошел бы я в ссорах,
Перед каждым доводом отступил!

Но поздно.
Щемящий полет снаряда
Слишком продуман
И бесполок.
И ты без крика падаешь рядом
С миллионом юных твоих земляков...

Но даже если бы ныне были
Живы все те, кого не вернуть;
И если бы только тебя убили,—
Я б запомнил навек
И такую войну.

О Т Ц У

А мой отец
Был в детстве пастухом.
Он часто мне рассказывал об этом.

Он не владел ни прозой, ни стихом,
Но я его всю жизнь считал поэтом.

Рязанские душистые края!..
Веселое, ромашковое детство!
Отец!.. Ты был богатым.
Ну, а я —
Ни колоска не получил в наследство.

Ни роши, ни речушки, ни земли,
Весенним солнцем дочерна прогретой,
Ни тучи, под которой журавли,
И ни былинки, ни пылинки лета,

Которым ты повелевал, как князь,
Которое тебе кидало в ноги
Цветочную узорчатую вязь
И белые горячие дороги!..

Но только без путей и без дорог,
Сшибаясь с ветром в бешеном разгоне,
Через дуга, в зеленый Черный Лог
Вас мчали разъярившиеся кони.

В лесу цигарки, звезды и шалаш,
И рядом — до утра — костры и страхи.
Справляли водяные свой шабаш,
И Стенька Разин погибал на плахе...

Дымились травы густо и свежо,
И чтобы не нарушить древних правил —
С рассвета твой пастушеский рожок
Прадедовскую песенку гнусавил.

Мычало стадо. Воздух за селом
Насквозь пропах травой и туманом.
Ты в день входил — как в сени — напролом,
Ты был не пастушонком — атаманом!

Нет, ты такой, как тысячи других...
Лишь нравилось тебе чуть-чуть иное:
Смотреть, как коршун делает круги,
Затягивая петли над землею,

Идти — и пыль ногами загребать,
Сочувствовать земле, ругаться с богом,

Рокочущим кнутом перешибать
Змею, вползающую на дорогу;

А в полдень лакомиться молоком,
Душистым, теплым и пушисто-белым,
И воевать с разнузданным быком,
Перед которым все село робело.

Сражаться в бабки, гнезда разорять,
Со старшими — вести себя степенно,
А в сенокосы — с головой нырять
В дурманное, удушливое сено.

Но если зной, и день без облаков,
И если нелегко поверить в отдых, —
То можно пить и пить из родников
Колючую, испытанную воду!

А вечер — будто брага на меду,
И вы его тальянками встречали.
И друг о дружку яблоки в саду
По вечерам
Таинственно
Стучали...

А пруд был гулко звонок по ночам!
О воду сочно шлепались лягушки,
И рядом тополь сумрачно торчал,
Как с шапкою, с луною на макушке...

Я знаю: ты любил под ним лежать,
Ты здесь мечтал, ты здесь привык годами
Тоску о городах перемежать
С крестьянским страхом перед городами...

И все равно — ты в город был влюблен,
И чуял: сдашься с первым листопадом.
Тебе, романтику, казался он
Нездешним раем
И кромешным адом.

Ты прижимался к тополию щекой,
Дрожал, наверно, и, наверно, плакал...
А он тебя манил — как водяной
И как приговоренных манит плаха.

И ты уехал в город...
Ну, а я,—
Я суете столичной душу продал,
Я горожанин. И моя семья —
Была семьей директора завода.

Я горожанин — до корней волос!
Москвич не по рождению — по призванию,
Мне до сих пор еще не довелось
Челом ударить дедовской Рязани.

Мне почему-то в городе легко,
А в деревнях я чувствую усталость...
...Пастьешего одно во мне осталось:
Страсть как люблю парное молоко!

ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ

В комнате елка смирно стояла,
В комнате было
Воздуха мало,
В комнате веяло
Хвойною смердью,
В комнате веяло
Маминой смертью...

В комнате пахло венком и могилкой,
Скорбными, свежими пахло цветами,
Всем, что случилось
Зимой той стылгой,
Всем, что и ныне мучает память...

Теплилось сердце — сердца не стало,
Год начинался —
И вот уже прожит.
Елка к стене прилонилась устало,
Елка на гроб зеленый пошла...

Мелкие, скучные дамы, дамы
Все приготовить — до тостов задала,—
Елке скрутили колесные дамы,
В угол приткнули до времени елку.

Что им жалеть тебя? Ты ж живая,
Ты же не можешь испытывать боли.

А я кулаки в бессильи сжимаю:
Елка в неволе!
Елка в неволе!

Все мы в неволе — у рока, у срока,
И у недугов, что рубят под корень,
Улица в сумраке тонет глубокою,
В комнате сумрак тяжек и черен.

Нового года ждать уж недолго.
И не заметим, как будет он прожит.
В комнате полночь.
В комнате елка.
Елка на гроб зеленый похожа.

И тишина меня душит, как вага,
Воспоминаний плывут туманы...
Невосполнимы
Блиzkих утраты.
Блиzkих потери —
Вечные раны.

У Ш Е Д Ш Е М У

В К.

Мало же судьба накуковала
Жить тебе...
И вот пришла беда.
Этого бездонного провала
Не заполнить мне уж никогда.

И геперь, когда смежил ты веки,
Я могу сказать, душой скорбя:
Милый мой, потерянный навеки!
Я недооценивал тебя.

Чудилось — порой с тобою скучно...
Снова бы вот так-то поскучать!
В бедах и победах неразлучны —
Просто мы умели помолчать.

И всегда друг друга понимали, —
Будь то мысли взлет
Иль грешный быт,

И всегда друг друга принимали
Без претензий, скидок и обид.

Мнилось, думал только о себе ты
Иногда, в душе — свое тая...
Почему ж, когда тебя уж нету,
Резко оскудела жизнь моя?

И вокруг внезапно стало тише
И — без сердца твоего — темней...
Как же дополна я не расслышал
Чистый голос
Доброты твоей?

И твоя ворчливость новой нотой
Обернулась
Послесмертным днем.
Ты ж меня одаривал заботой
О благополучии моем!..

Нет тебе, ушедшему, замены.
В зыби дел
Печаль свою топя,
Я все чаще думаю смятенно:
Я недооценивал тебя!

Иль не чуял, что мгновенья зыбки? —
Их беречь бы,
Как лампы свет.
Как мы часто
Сознаем ошибки
Лишь тогда, когда в том смысла нет.

МИННОЕ ПОЛЕ

Памяти А. Жаркова

«Все друзья уходят понемногу...»

С. Есенин

Потерял я тоже — слишком многих,—
В давнем ли, в недавнем ли году...
По остатку жизненной дороги,
Как по полю минному, иду.

Предопределен мой путь недлинный,
И рассвета жду я, как врага...
Шаг вперед, — и, может быть, над миной
На мгновенье замерла нога?

А назад нельзя уже вернуться.
Миг — и на нее я наступлю...
Только мины рядом,
Рядом рвутся,
Убивая тех, кого люблю.

Да, как разорвавшаяся мина —
Каждая утрата и беда.
И одни осколки — с визгом — мимо,
А другие в сердце — навсегда.

Мины, мины — сколько еще их?
Поскорей бы, хоть и грех сдаваться,
Самому на mine подорваться,
Но не слышать взрывы остальных...

* * *

С годами делаемся строже.
К другим.
И к дружбе.
И к себе.
И уж не нужно и негоже
Лепить свою — к любой судьбе.

Пусть одиночество.
На время.
Не в каждом доме ждут, любя.
Твоих забот крутое бремя
Не всякий примет на себя.

И не со всяким
(Ведь не глуп же!)
Ты сам поделишь боль и кров.
Друзья — все реже,
Дружба — глубже.
...И рек ведь — меньше, чем ручьев...

НЕ ХАНДРИТЬ

И. Тарасову

Какая весна за окном творится!
Топольный настой, воробьиный гомон там,
А мы, словно пойманные птицы,
Уныло находимся, сидим по комнатам...

К нашим теньям привыкли обон,
Отвыкло небо от наших глаз...
Слушай!
Мне стыдно за нас обоих.
Слушай!
Мне горько нынче за нас.

Толчемся в кругу прискучивших тем,
Толчем свои дни, словно воду в ступе,
И равнодушно миримся с тем,
Что удобнее да доступней...

Послушай, я не могу так дальше.
Отсюда бы выскочить — как из бани!..
Слишком уж много убогой фальши
В нашем сегодняшнем прозябанье.

Ладно, хандра. Пускай — неудачи.
Пускай обонм, и правда, плохо.
Но это ж еще ни в какую не значит,
Чтоб нам непременно слезнуть и глохнуть!

Скудно и чадно. Но так нам и надо!
Ведь мы же сами — к чему лукавить? —
Дошли до того, что этому чаду
Нам нечего больше
Противопоставить.

И каждый день
Зачитан до дыр
И до оскомины в сердце заучен...
...А где же наш прежний
Звенящий мир,
Такой неприкаянный
И зовущий?..

Когда все казалось
Простым и странным,
А мечта —
Беспроегрышной облигацней!?
Послушай, упрямый: нам еще рано
От чего бы то ни было
Отречься!

И не поздно влюбиться в новые планы,
В незнакомок, которые всех красивей,
В городские парки.
В лесные поляны,
В стихи.
В романтику.
И в Россию.

Послушай, больше я не могу так!
Нам время идти по дорогам радушным,
Ненароком распугивая уток
И погоду поругивая добродушно...

Чтоб в лицо хлестали мокрые ветки,
Чтобы в ноги жадно кидались просторы
И чтобы в лодках, испытанно-ветхих,
Переправляться через озера.

Чтобы каждый день —
Неожиданной вестью,
Без хандры, нытья, болтовни бездельной.
И чтоб мы с тобой
По-новому вместе, —
Нерушимо
И нераздельно.

ДРУГУ — ПРЕДЪЮБИЛЕЙНОЕ

Дождь за окном осенний моросит,
Листва деревьев тяжела от влаги,
И чайка, заблудившись, голосит,
И дышат прелым запахом овраги...

И — тишина. Такая тишина!..
И в тишине лишь чирк зажженной спички
Да редкий клекот дальней электрички, —
Так в горной речке в камни бьет волна.

А море берег хлещет, словно плетью,
И в этот хмурый и блаженный час
Я с грустью светлой думаю о нас,
О нашем — слишком близком — круглолетьи..

Но если жизнь — родник,— любой глоток
Цени, лелей, без боли сожалея,
Что мчит так быстро времени поток,
Пускай!
Претерпим мы и юбилен.

Недаром же в народе говорят:
Остатки сладки.
Так смакуй остатки!
Вот потому и осени я рад,
Хоть за окном и тучи, и осадки,

Рад чайке, что не устает кружить,
Рад листопаду, мсрным вздохам моря,
И ни о чем я не хочу тужить,
И жить хочу, с порой осенней споря.

И пусть осеребрит судьба сама
Виски мои неотвратимо-властно,
И пусть грядет суровая зима —
Что ж, и снега
По-своему
Прекрасны!

* * *

У Каландадзе

Возвращаюсь на круги своя,
Где испытанные друзья,
Где, как дома, в чужом дому
В сигаретном сижу дыму.

Возвращаюсь на круги своя,
Где по-прежнему я — это я,
Где надолго к стенам прибит
Холостяцкий прогорклый быт.

Возвращаюсь на круги своя,
Где бумаги льется струя
И как друг, как лекарство, как щит,—
Пишмашинка моя трещит.

Возвращаюсь на круги своя,
Где кругом — родные края,
И под солнцем узбекским края —
Для меня как дом и семья.

Возвращаюсь на круги своя..

* * *

О, сколько я видел их, шумных и кротких,
Но все же похожих, как капли воды:
Друзей
После первой рюмки водки.
Друзей —
До первой беды.

Такой живет — легко, без натуги,
Свою лишь особу любя.
И даже в своем закадычном друге
Любит
Опять же
Себя.

О, если бы сразу умел распознать я
(Но только напрасны труды)
Друзей
После первого рукопожатья,
Друзей —
До первой беды...

* * *

А смог бы я тебя оставить,
Покинуть, осмеять, ославить
И о покинутом — забыть?
А смог бы чем-то так увлечься,
Чтоб от тебя в тот миг отречься
И хоть на миг неправым быть?

А смог бы только брать и злиться
И незаметно очутиться
На веки вечные в долгу?
Ведь ты меня ничем не хуже.

Я мог бы так!
Так почему же,
Так почему же
Не могу?

* * *

Очень трудно
Ссориться с друзьями,
И еще труднее, если прав...
...Ночь крадется звездными стезями
Для одной из медленных расправ,

И сверлит бессонница, и точит,
Выдает нелепицу за быль,
Мучит, издевается, не хочет,
Чтобы я хоть что-нибудь забыл!

Но забыть — диктует разум — надо!
Ведь и глупо, и невмоготу
Подпирать подгнившую ограду
За ее былую красоту.

Так с собой я спорил до рассвета.
Выдохся.
И из последних сил
В пепельницу сунул сигарету,
Тлеющую — пальцем пригасил...

* * *

У тебя и голос, и глаза сухие,
Ровные движенья. Ровная жизнь.
«Нет, любовь,— скажут,— не его стихия!
И других засушит — только свяжись».

Ты как постаревший, строгий тополь:
Тянется к солнцу,
А солнце — как печь.
Как же тут не высохнуть?
Столько лет оттопал!
Но, говорят, сухое
Легче поджечь.

У тебя сердце — холодная льдинка.
Ты обравнодушел и перекипел.
Но как начнет весною
Тенькать и тинькать
С крыш по карнизам
Звонкая капель!..

И вышвырнутый маем огненный мячик
Покатится по синей небесной степи...
Тут и камень стал бы
Жарче и мягче.
А, говорят, льдинку
Легче растопить...

ОПОЗДАВШЕМУ

Ты поезд пропустил вчерашний.
Придет другой. Не полошись!
На поезд опоздать не страшно.
...А ты ведь опоздал — на жизнь...

Ленивым был и молодым.
Она, гремя, промчалась мимо,
Обдав тебя клубами дыма...
А ты любил цветы — не дым.

Ты больше брал, чем отдавал.
И до последней самой точки
Все рвал в лесочке ты цветочки...
Вот так свой поезд прозевал.

Куда ж нести души останки?
Жене?.. Приятелям?.. В буфет?..
На сонном, тихом полустанке
Глядишь
Несбывшемуся
Вслед...

» . . .

Ты прежде был транжир и фронт,
Болтливый, как сорока.
Вот и угаснул твой талант
До времени — до срока.

Вчера с ленцой, как сытый кот,
Смотрел, как годы тают,
Ну, а теперь наоборот:
И суток не хватает!

А взять уж неоткуда впредь,
Волчок твой докрутился.
И остается лишь жалеть,
Что поздно спохватился.

НОВОГОДНЯЯ ПЕСНЯ

В. Киричу

Сквозь прозрачную дымку тумана
Новых дней нам видны берега.
И блестят, словно гладь океана,
За окном голубые снега.

Рюмки звонкие полночь пробили.
Наши тосты, как звезды, легки.
Пожелаем, чтоб яркими были
По дороге у нас маяки.

На широкий выходим простор мы,
Вымпел мира несут корабли.
Пожелаем, чтоб не было шторма.
И чтоб черные тучи ушли.

Мы плывем, и редуют туманы,
Новых дней нам видны берега.
И блестят, словно гладь океана,
За окном голубые снега...

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПЕСНЮ

Назад,
Назад,
Назад
Отбрасывая дорогу,
Копытами землю пытая,
Веселые кони мчат —
Остановиться не могут!..

Бубенцы — как ливень в степи,
Голосистая птичья стая!
А кругом — безумствуют травы.
В рожь заждавшуюся вступи —
Пыль осыплется золотая...

У лесов великаний размах,
Великаний и величавый.
Синим дымом плывут по склонам.
И недаром о Жигулях
По земле развеяна слава!

А в саду прошел соловей,
Как по струнам — по веткам влюбленным.
Сад становится
Бесноватым —
Будто гусли вместо ветвей
Или падают листья со звоном...

От лугов бредут косари.
И лучины чадят по хатам...
А поляны одолевают
Сарафаны цвета зари,
Губы, пахнувшие закатом!..

Кто-то жуткий
В смертной тоске
Из-за острова выплывает
И ладью свою к берегу ладит,
Чтоб зарыть в прохладном песке
Клад, которого не бывает...

...Назад, назад, назад...
Стоны над синей гладью!..
...Я открываю глаза:
Полночь.
Песня.
Радио.

РОССИЯ СТАРИННОГО ВАЛЬСА

По радио вальсы!
Сегодня по радио вальсы!
Пойду позвоню и кого-нибудь пылко порадую.

Но нет — усмехнутся: мол, чем же он, собственно,
хвалится?
...Старинные русские вальсы играют по радио...

И я не по пьесе, а каждой кровинкою знаю:
Под шелест «Березки», под эту веселую боль,
В гостинице ржавой
У Глуховцева Николая
Безвольную, чистую — снова украли Оль-Оль.

А трубы рыдали все злее, все злей и угарней.
А сзади мальчишки — беспечною, шумной оравой.
И перли по улицам к фронту рязанские парни
Тяжелой, крестьянской кровью пропитывать травы...

А в чайной у деда лоснящийся, масляный купчик
(Удачную сделкой на паперть противника кинув),
Творил вдохновенно бесформенно-звонкие кучи
Из кружек, тарелок, бокалов, зеркал и графинов...

И в душу плескала пластинка горстями печали...
Лохматый студент за дешевым, разбавленным квасом
В который уж раз перечитывал, ежа плечами,
Шестую записку — с отказом, с отказом, с отказом!..

Над столиком с дребезгомплыли «Дунайские волны».
Гуляка-купец был любому и всякому другом.
Гуляка сказал: «Угощаю!»
Лохматый: «Довольно!»
Лохматыйпил квас.
Но гуляка попятился в угол...

А в «Сопках Маньчжурии» слышался красный,
всевластный
Андреева смех.
Этот вальс, этот стон лебединый
Кружил, подступал к россиянам мучительной спазмой,
И Блок сатанел, и беспутную бредил Фаиндой...

О Русь!..
Ты была и другой — огневая, прямая!
От Песни Октябрьской дух у земли захватило.
Но в эту минуту Россию такой принимаю.
Какой принесло ее радио в нашу квартиру...

И пусть я не слышу гудков, проигравших тревогу,
Не вижу, как в знамени древко впиваются пальцы...
...Ведь это ж не гимны. Не «Смело, товарищи, в ногу».
А русские вальсы.
Старинные русские вальсы...

* * *

Выйди на Тверскую —
Ветер в грудь ударит
И пойдет, тоскуя,
Постукивать по стеклам...
В переулках — тише,
В переулках — парит,
Переулки дышат
Мирным и теплым...

Каждый шаг твой шаткий
Отдается гулко,
И звенит в ушах твоих
Окраинный покой...
Но меня из сонных,
Из теплых переулков
Тянет неуклонно
На простор Тверской!..

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА МОСКОВСКОЙ УЛИЦЫ

*«Нам ли хоть в чем-то подражать
разглагольствующим о «неогъемлемых
привах человека» под сенью амери-
канского орла, который сегодня все
более приобретает сходство с тевтон-
ским».*

*«Комсомольская правда».
11/111 1982 г.*

Бреду по улице,
Насмешливо зорок.
Вот уж вправду — красна изба не углами!
Мимо рвят — го ль Париж, го ль Нью-Йорк:
Полуголые красотки
В юбках колоколами.

Дешевый шик!
Безвкусные украшения.
Глаза без души.
Или лица без глаз.
Лиловые губы.
Грязные шеи.
Безликость, выставленная
Напоказ.

Уж так за «писком» последним гнались!
И все ж опоздали на многие годы.
Московский
Провинциализм
Донашивает устаревшие моды.

Но вот и модерн:
По улице-реке
Плывет неуверенно,
Позолоченной рыбкой,
Алая женщина
В голубом парике,
С нангранной «голливудской» улыбкой.

И складка все глубже
Между бровей...
Течет мне навстречу,
Меня окружая,
Так называемый московский «бродвей»
В вульгарном рубище
Неумелого подражания.

Вот такую картинку
Увидал я когда-то.
Ныне ж вижу к худшему
Перемену.
Но улица в этом не более виновата,
Чем река, несущая грязную пену.

И чужды каким-нибудь обобщениям
Мои мимолетные ретро-наброски.
Но я не могу согласиться и с мнением.
Что это, мол, мелочь, — чужие обноски,

Что они лишь облик меняют —
И души,

И грязь не в мыслях,
А только на теле.
Досадно и больно такое слушать!
Куда всё серьезней
На самом-то деле.

Ужели же, выиграв столько битв,
От всеядности
Снобов мы не отучим?
Я видел на них
Ожерелья из бритв
И значки с зловещим узором паучьим.

Совместимо ль кощунство
С безгрешной душою?
Не живет ли внешнее
С внутренним рядом?
Трудно ль им перенять
Вместе с модой чужою
Образ мыслей, отравленный «западным» ядом?

Наши снобы живут
По опасной программе:
«Там», мол, хиппи,—
А нам нельзя почему же?
За океанами — за морями
Бесятся с жиру.
А мы чем хуже?

Мы лучше!
Лучше — по всем статьям!
Свысока по праву глядим на буржуев.
Уж кому-кому,
Но только не нам
Копировать слепо
Повадку чужую.

И пусть меня
Упрекнут в твердолобости,
Но так и хочется закричать:
При нашей-то
Кровью добытой особости, —
К лицу ль нам уродство
С чужого плеча?

У нас
Особенная страна,
И свой устав, и свои причалы,
И корни свои!
И мне не смешна,
А страшна на березе
Листва анчара.

МОСКОВСКОЕ ПРЕДВЕСЕННЕЕ

Капель стучит
И душу точит
Всю ночь.
И не могу уснуть.
А солнце выплыло из ночи
И повернуло — на весну.

Снег ноздреватый серой ватой
Лежит по краю мостовой.
И дует ветер сыроватый,
Попахивающий травой.

По вечерам влюбленным парам
Ни спать, ни дома быть — невмочь!..
Скользят по мокрым тротуарам
Их тени зыбкие...
А в ночь,

Когда шагов затихнут всхлипы,—
Теплиться звездам, как свечам!
И бродят дворники и гриппы
Между домами по ночам...

А я кружусь в водоворотце
Простых забот, пустых обид...
И вновь бессонница крадется,
И муха первая жужжит...

Живу я жизнью — зимней, брешной,
И жду с боязнью, что вот-вот
Весна мифической сиреной
Тревогу
Сердцу
Пропоет!..

ВЕСЕННЕЕ

Перед парадными
Старушечий парад.
По мостовым разволновались тени.
И я бы рад, и я бы тоже рад
Такое ж вот почувствовать смятенье.

Я очень, я отчаянно хочу —
И это не причуда и не бредни —
Обрадоваться первому лучу
И дорожить им, будто он последний.

В квартире окна с треском распахнуть
И одуреть от запахов цветочных.
По бездорожью тронуть в дальний путь,
Марш выбивать на трубах водосточных!..

Хочу, чтоб ветер в дверь мою стучал,
Чтоб за окном дожди расшебетались,
И чтобы я свиданья назначал,
Ни капельки с дождями не считаясь.

Хочу, чтобы заборы — как ресницы,
Чтоб гром трамвая — трелью соловья,
И чтобы на прохожего не злиться,
Завидуя тому, что он — не я...

Хочу с утра по улицам кружить,
Дружить с землей, прикуривать от солнца,
Влюбляться, плакать, восторгаться, жить!..
...Но вот досада:
С места надо стронуться...

ГИБЕЛЬ РОМАНТИКИ

А над Москвою плыли грозы,
В охрипший рог трубили громы,
Был ливень — но ни капли прозы!
И я спешил к Прекрасной Даме,
К похожему на замок дому.

О, не качайте головами!
Я перстнем трижды стукну в стену

И с первыми Ее словами
На темной лестничной площадке
Галантно рухну на колено.

И не ищи тут опечатки!
Вчера — из мести иль каприза —
Она швырнула, как перчатку,
Письмо на розовой бумаге.
Я принял этот дерзкий вызов!

А на домах свистели флаги,
А молнии, как сталь, сверкали
И скрещивались, словно шпаги.
И — как свидетели дуэли —
Шли тучи и дымились дали.

Я прежде слыл за менестреля,
Но стал участником турнира.
И обо мне ветра запели,
Как будто я сразиться вышел
Не с бурей, а с целым миром!

Огромно громыхали крыши, —
Звонко-железные доспехи.
Но я угрозы их не слышал,
Я храбро шел навстречу грому,
Зане уверенный в успехе!

А остальное — так знакомо!
Прекрасной Дамы
Аккуратно
Опять не оказалось дома.
Я сдался. Я обезоружен.
Промокнув, я плетусь обратно.

А над Москвою ливень кружит,
Прохожие в плащах, как в латах!
Но краски блекнут.
И к тому же
По мостовым темнеют лужи,
Как будто улицы — в заплатах...

НА СТАНЦИИ

И. Л. Сельвинскому

На далекой станции
Душным летом
В самый беспросветный, вечерний час
Девушка стояла за стойкой буфета,
Девушка продавала
Пиво и квас.

Девушка считалась
Чьей-то нареченною,
Но она от суженого нынче вдали...
Тучи шли над станцией,
Тучи были черные
И у горизонта доставали до земли...

Девушка вздыхала и хмурила бровки,
Горько и устало шурила глаза.
Люди ей кидали
Грязные рублёвки
И тормозили девушку на все голоса.

Не было с ней рядом
Ни друга, ни подружки.
Никуда не денешься от незнакомых глаз!
Девушка рыдала из-за разбитой кружки,
Девушка проливала
Пиво и квас.

Это очень трудно —
Притворяться стойкой
И суетиться вечер весь
Напролет...
Девушка уронила
Локти на стойку
И улыбнулась, чтобы не обидеть народ...

Это было за городом, это было летом.
Вечер был душен и томительно-тих...
Девушка стояла
За стойкой буфета.
И где-то ждал девушку
Ревнивый жених.

* * *

Люблю я предсонный уют,
Окно розовеет в ночи.
На улице песню поют,
И песня — как детство — звучит.

Ведь с этой уютною тьмой
Немало уж прожито лет!
И вечностью льется самой
В окно мое розовый свет...

И нет и в помине дневных,
Промозглых забот и тревог.
Они не ушли, но от них
Сейчас я, как в детстве, далек...

Вот тем и сладка благодать
Бессмертной ночной тишины!..
Усну — и увижу опять
Старинные детские сны...

Плывет желтоватая тень
Троллейбуса по потолку..
...Лишь сердце — без детских затей:
Тупую иглой — в бокую...

* * *

Живу за глиняным дувалом,
Под ливнем солнечных лучей.
И катится — девятым валом —
Жара средь дней и средь ночей.

Живу несложно и немудро,
Сам создаю себе уют:
Хочу — и слушаю все утро,
Как в ветках горлинки поют.

Хочу — и вспоминаю росы,
Прохладу северной реки..
Иль от души жалею розы,
Роняющие лепестки...

Хочу — пишу | Хочу — горюю.
Хочу — м | — смеюсь.
Хочу — | оюю,
Хочу — | сдаюсь.

Забыв | и гадком,
Живу | дес.

С | м
| ла,

На ивы | ныли,
На воды желтые арыка,
На горы синие вдали...

Вот так живу я за дувалом,
Где дни округлы, как шары.
Мечтаю о большом и малом,
И — изнываю
От жары..

* * *

Женщина
С холодным лицом,
Умеющим меняться,
Окружила меня кольцом
Галлюцинаций.

А проснулся —
И стало горько.
Посуровели губы.
И пришел другой —
Зоркий,
Случайный
И грубый.

Значит:
Отгородись презреньем
И равнодушьем.
Мы в чувствах
Так робко зреем,
Так смело их
Душим...

Но это неважно,
Что охладелую
Мои ладони
Не отогрели.
Было у меня
Любимое дело
И высокие цели.
А время куда-то
В прорву летело.
К вечеру спохватишься:
День — прошел.
Блокноты пылились,
Бумага желтела,
Распрекрасные планы
Стирались в порошок.

И над ними
Житейские заботы и невзгоды —
Склепищем
Тяжеленным...
Сначала —
Базарим годы,
Потом —
Жалеем.

Я к этим растратам
Никогда не привыкну!
Недавно, вот, встретился с другом одним,
Которого когда-то выгнал
За свою вину перед ним.

Но разговора
Не развернулось.
Не нашлось ни старых,
Ни новых слов.
И мне не хотелось,
Чтоб прошлое вернулось,
И было больно,
Что оно ушло...

Юность
Не знает трезвого расчета,
Лба не подставляет
Холодным струям!

Сначала —
Теряем что-то,
Потом —
Горюем.

Но жизнь это жизнь.
И разве пусто
В небесах, глубоких и синих?
Придушивши
Слабое чувство,
Вызреваешь
Для сильных.

Разве зеленые, тонкие всходы
Берегут росу
Солнечным утром?
Разбазарив
Шальные годы,
Становишься
Мудрым.

Дождю ли искать
Выхода другого?
Где попало, вьют капли
Звонкую нить.
Сгоряча отрешаясь
От дорогого,
Учишься его
Ценить.

Дню необходимо
Вянуть и гаснуть
Для того, чтоб пышнее
Цвела заря!
Ничего не бывает
Напрасно
И не приходит
Зря.

О ПРЕГРАДАХ И КОЧКАХ

Ногам горячо от пота,
И волосы спутаны ветром.
Он шел

И не вел счёта
Пройденным километрам.

Раздвинув кусты, прыгал
Через рвы и овраги.
Читал свой путь,
Словно книгу.
Порой усмехался:
Враки!..

Его не пугали главы
С тревожным названьем:
«Преграды».
«Тут омут. Опасно плавать!»
А он говорил:
Надо!

«Тут скалы. Они неприступны».
А он был злой и упорный.
Вступал в решительный, крупный
Спор с крутизною горной.

Предостережений не слышал,
Опасность рукою трогал.
И вот, наконец, вышел
На прямую дорогу.

Гладкую, как бумага,
Без препон и без риска.
К чему тут, вроде, отвага?
Ведь заветное — близко!

На такой-то легкой дороге
Что читать последнюю строчку?
Он шел, не глядя под ноги,
И — споткнулся
О кочку.

И головой — о камень!
И замерла кровь в венах...
Подчас
Пустяк
Под ногами
Страшней
Преград
Откровенных!

• • •

Я устал от потерь, смертей и разлук.
От вопросов, ждущих ответа.
Мне бы звон реки,
Мне бы душистый луг,
Мне бы небо синего цвета.

Мне бы к теплой земле прижаться плечом,
Заглядеться на дальние дали.
И забыть обо всем.
И не знать ни о чем.
Не гадать, что судьба
Подарит.

Хорошо, что река —
Голубой межой,
Что у неба дна не достанешь!
Но уж шепчет трава:
«Ты у нас чужой,
Ты не выдержишь,
Ты устанешь,

Ты устанешь тут,
У воды голубой,
Хоть и скрылся сюда, но вель жив ты!
И опять затоскуешь над чьей-то судьбой,
Разозлишься на чьи-то кривды.

И пока на земле
Будет петь и стонать
Необъятное море
Людское, —
Ты не сможешь не думать,
Не помнить,
Не знать,
И — не ведать тебе
Покоя!»

• • •

Взыскательность — прекраснейшее свойство!
На новый труд упорный, словно в бой,
Толкает нас святое недовольство
Твореньями своими и собой.

Ты недоволен созданною книгой?
Мол, всё не то: сюжет, герои, слог...
Что ж, выпустил ее — и дальше двигай,
Используй впрок
Полученный урок!

Ты недоволен сыгранною ролью?
Но время есть, и зря его не трать,
И со спектаклем каждым и с гастролью
Все лучше сможешь ты ее играть.

От новой не в восторге ты картины?
Все в воле золотой твоей руки.
Не торопись — для спешки нет причины —
И нанеси целебные мазки.

Но страшно пред кончиною сказать:
«Я недоволен жизнью прожитою!».
Тут недовольство не спасет святое.
Жизнь наново нельзя переписать
И новую нам неоткуда взять.

Так будь к себе взыскателем всегда —
В мгновенье каждое,
Во все года!

ТЕМ, У КОГО «ХОББИ»...

Я этого не понимаю.
Я этого не принимаю.

Чудно!
Дает что это вам,
На кой вам дьявол это надо,
Когда и так трещит по швам
Насущных замыслов громада?

На дело — тратишь силы все,
Крутясь, как белка в колесе,
За временем не поспеваешь
И главного — не успеваешь!

А вам все мало.
Пыл ваш истов,
Ни сил, ни времени не жаль

На увлеченья.
И юристы
Спешат усесться за рояль.

Бывает и того почище:
Полжизни жертвует поэт
Диковеннейшим корневищам,
Битком забившим кабинет.

А время — в лёте неуклонном.
Бессильны — им повелевать.
К чему ж тогда мужам ученым
Еще картины малевать?

Какой в том смысл
И цель какая?
Нужна вам жизни полнота?
Так ведь одна лишь страсть — и та
Способна жизнь залить до края.

Дни нашей жизни и года —
Как там поют? —
Быстры, как волны.
До увлечений ли, когда
Призвание ждет
Огдачи полной!

А вы, рассудку не внимая,
У дела время отнимая,
Увязли в «хобби», как в снегу.
Я этого не понимаю.
Я этого не принимаю.
Вам лишь завидовать
Могу...

* * *

Я реалист.
А, может, просто циник?
Ни в сон, ни в чох, ни в божью благодать
Не верю я.
И в занебесьях синих
Мне ни черта, простиге, не видать.

Нет, я, конечно, непреложно верю
В высокий долг — Грядущему служить.
Приспееет срок, и распахнутся двери
В чертоги счастья, где потомкам жить.

И ради них
Мой стих, моя работа.
Живу, пишу, зане их возлюбя.
Заветна цель!
Но хочется чего-то
И для себя. Конкретного — себя.

Не для того себя, что существует
Сегодня, во плоти.
Уж не такой
Я эгонст.
Но жаждет и взыскует
Мой дух —
Изведать вечности покой.

Пройти бы в Завтра
Звездною дорогой
И сбывшееся
Хоть душой прочесть!
Завидую старухам я немного..
Ведь бог — он есть.
Для верующих — есть.

* * *

Погиб поэт.
В зените славы.
Но прожит им короткий срок.
И мы жалеем:
«Златоглавый!
Еще он столько б сделать смог!»

Но мысль кощунственная гложет,
И сердце сжало — не вздохнуть:
А может... страшно думать... может,—
Он до конца прошел свой путь?

Еще один
К высотам
Шаг —

Коснулся б он налгорной сини!
И, может, был он на вершине,
Где трудно сделалось дышать?

Иные в стих
Неосторожно
Готовы душу всю вложить!
И, может, просто невозможно
Свой звездный час им пережить?

Как не устать, поднявшись в горы?
А искра жизни — так слаба...
О, шарф проклятый Айседоры!
Что это —
Финиш иль судьба?

Свершить свой долг
Полней и круче —
Вот для чего им жизнь дана.
И смерть таланта —
То ли случай,
То ли исчерпанность
До дна.

* * *

Ночь плотней обтягивает, туже
Стол и стены голубым сукном.
И троллейбус шлепает по лужам
За окном.

А на грубы бабочками сели
Звезды — стая полуночных птах.
Муха надо мной кружит без цели —
Просто так.

Кружится восторженно и глупо.
Знать, в ней сила жизни велика!
Милая — не встретить ей в углу бы
Паука...

Ветерок шершавый гладит щеку,
Лунный луч шекочет мне плечо.
И у дома чей-то прочекал
Каблучок.

Песня — среди улиц, среди ночи —
Потихоньку начала вскипать.
И в такие ночи — очень-очень
Скучно спать.

Ночь плотней обтягивает, туже
Стол и стены голубым сукном.
Муха кружит. Кружит муха, кружит...
Мы живем.

Ни к чему — мечты, переживанья,
Не хочу я ни о чем тужить.
Мы живем. Преступно ли желанье
Просто — жить?

Весело, беспечно, неотступно
Тыкаться без цели по углам?
К счастью, это мухам лишь доступно,
А не нам.

Нам сладка раздумий жарких мука,
И душа — парит за окоём!
Муха кружит. Существует муха.
Мы — живём!

* * *

Мягкий, как мех горносталя,
Зимний пушистый денек.
Падает снег и, не тая,
Тихо ложится у ног...

Жизнь свою меряю взглядом,
Нити раздумий плету...
Кружатся дни
Снегопадом.
Тают навек
На лету...

* * *

О смерти думая, бледнею,
И все ж унять стараюсь дрожь.
Ведь от безглазой не уйдешь!

Страшна не смерть,
А страх пред нею...

Так пусть же будет жизнь полней,
Чтоб пешкой в ней не оставаться,
Чтоб по большому счету с ней
Нам было б жалко расставаться.

Пусть — мысль и страсть, и боль, и бой,—
Бой, как борьба, а не как бойня!..
А смерть — ведь это же не больно.
Дымок взовьется над трубой
И сгинет в выси голубой...

* * *

По склонам гор — зеленые леса,
По склонам гор — альпийские луга.
А на вершинах брызжут в небеса
Искристым светом белые снега.

Так жизнь: в начале буйно зелена,
В конце студена и белым-бела...
Но в юности и старости она
По-своему прекрасна и светла!

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

Осень уже — а печет.
Солнце повисло в зените
И золотистые нити
В выси прядет горячо.

Птицы поют — благодать!
То ль это было, то ли небылы
Синее-синее небо,
Моря зеленая гладь...

Так эта осень незла!
Ласков и ветер соленый,
И электричка зеленой
Гусеницей проползла...

Дню голубому впопад —
Шляюсь походкой бездумной.
Мягкий, как шелк, и бесшумный —
В воздухе льет листопад.

Только не всюду листва
Тронута тления цветом.
И изумрудна, как летом,
В парках и скверах трава.

К осени жизнь подошла...
Тешу себя я мечтою:
Пусть и она золотою
Будет — тепла и светла...

ВИДЕТЬ ЕЕ!

Видеть ее,
Вдалеке и рядом,
Преднамеренно
И случайно.
Стихать под ее мимолетным взглядом,
Все лучшее с этим взглядом сличая!

Видеть ее
Тайком и открыто,
И в неприглядном
И в лестном свете,
Уступающей
И сердитой,
Скучной, как дождь,
И веселой, как ветер!

Видеть!
Она ж ничего не скажет.
Видеть!
Она ж никуда не прогонит.
Видеть ее во сне
И даже
На вставленной в рамку
Фотоиконе.

Видеть на улице,
Видеть дома,

Среди знакомых
И незнакомых,
Хотя бы и с тем, без которого тоже
Она ни минуты прожить не может!

Пускай даже замуж, проклятая, выйдет —
Я буду упрямо твердить свое:
Видеть ее!
Непреренно видеть!
...Если бы только
Не видеть ее...

ЗИМНИЙ СОН

Все лес да лес... И в этой раме —
Без тех, кто ближе и родней —
Мы пробезмудрствовали с вами
Семь долгих, семь коротких дней...

И есть ведь книги, есть ведь были —
И без концов, и без начал...
И вы мне что-то говорили,
И я вам что-то отвечал.

Бесцелье было нашей целью,
И исцелиться я не мог.
И под заиндеветшей елью,
Как сизый дым, стелился мох.

Устав от дней, цветных и росных,
Навстречу новым дням застыв,
Клубились призрачные сосны,
Сквозили белые кусты...

Не шевелились. Не клонились.
Не отрѣкались от зимы.
Мы шли средь них.
Они нам снились.
Мы шли.
Друг другу снились мы.

И как во сне, нам то и дело
Все виделось наоборот:
И на реке вода звенела.
И перебулькивался лед.

Нам снился вечер, равный веку,
И что навек — рука в руке...
И мы бросали ветки в реку,
И ветки плыли по реке...

И сон был весел и серьезен,
И крепок, как душистый чай!
И ваши губы на морозе
Лишь через силу мне: «Прощай...»

...И все.
И молодым побегам
Не крепнуть, не расти, не цвести.
И новый день казался веком,
И в «было» превратилось «есть».

Следы заметены, как вьюгой,
Стучится новый сон. И в нем —
Уж не встречаем мы друг друга,
Не знаем
И не узнаем.

Лес отдымился. Тонет ветка.
И снова — встреч случайный сонм,
Среди которых редко-редко
О старом сне
Приснится сон...

И день живой стал мертвой датой,
И помню я себя и вас,
Как от кого-то
И когда-то
И где-то слышанный
Рассказ...

В ДОРОГЕ

Ну что ж, что иллюзии! Мне ли
От них отречься теперь?
За окнами сны да ели,
Да белые ливни степей.

Колеса поют и смеются,
Судачат на все голоса...

По стеклам все льются и льются,
Все мимо и мимо леса.

И пусть ты меня не любила,
Но я же, ей-ей, пропаду,
Коль в памяти я все, что было,
Таким же, как было, найду...

Мне нужно (что прядью качаешь?..)
Поверить в отрадную ложь:
Как будто ты ждешь и скучаешь,
Как будто томишься и ждешь!..

В ночах этих, душных и липких,
И в холоде серого дня
Мне нужно гадать об улыбке,
Которой ты встретишь меня!..

Я этими сказками — греюсь.
И мерзну, когда их тушу...
...Пока я дышу — я надеюсь
Пока я надеюсь — дышу.

* * *

За окнами май в разгар
И грозные, грузные грозы
Воздух шуруют и чист
(Лей, ливень, беспечный)
А в парке и на бульваре
Словно набрякшие
Тяжелые капли с ливня
Падают в пыль асфальта

Бьют ливни, как
И меня, как ливень
А ливень замрет
И станет чуть
Порой ведь
(Иль многого)
Некому на
Голову по

Уж травы не в росе,
Замолкли птичьи голоса.
И уж не ярко — блекло-синие
Над нами зябнут небеса.

А мне другая осень помнится.
Она ко мне еще вчера —
Франтиха, модница, нескромница! —
Была жестоко так добра.

О, молодящаяся, южная!
Она дарила от души
Необходимые, ненужные
Встреч наших звонкие гроши...

Я в эту осень — злую, знойную —
Узнал любовь, узнал беду...
...Пусть позовет — зимой, весною ли —
Меня та осень, —
Я приду!..

* * *

Я бы хотел вам сказать
Нежное что-то, земное...
Только тускнеют глаза
Ваши
При встречах со мною.

Глупо — в любовном хмелю —
Жестких молить о пощаде.
Чтоб не шепнуть:
Люблю,
Я говорю:
Прощайте.

ПИСЬМО В ТАШКЕНТ

Там, у вас, колеблется почва,
Злобно вздыбливает дома.
И нечетко работает почта:
До сих пор от тебя ни письма...

Там, у вас, то ливни, то шквалы
И тревоги девятый вал...
О такой весне небывалой
Я не слыхивал — где ни бывал.

Я бы к вам без раздумий, в охотку
(Этот город и мне родной),
Только б видеть твою походку,
Только б голос слушать грудной!..

И пускай то ливни, то шквалы!
Мне сидеть бы, рука в руке,
И шутя, как ни в чем не бывало,
Кофе пить с тобой в «Уголке»...

Пусть меня трясет и мотает!
Наплевать.
Лишь бы ты — со мной.
Сердце тает.
Пирожное тает...
...Содрогаются шар земной.

Нет, замри!
Я хочу, мне надо,
Чтоб на землю покой сошел,
Чтобы всем, кто вокруг и рядом,
Было так же, как мне, хорошо...

Но какое там! Бурям нейметяся.
Все гудят от зари до зари.
Что ж молчишь?.. Как тебе-то живется?..
Отзовись!
Позови...

* * *

И надеждой питаюсь, и неверьем питаюсь.
Сам себя безуспешно обмануть я пытаюсь.

Всё, мол, к лучшему в этом замечательном мире:
Время лечит и учит, и с потерями мирит.

От тебя, от далекой, ни призыва, ни вести.
И привык я уж к мысли, что не будем мы вместе.

Ты за тридевять судеб. И тебя я не встречу.
И от ясности этой мне как будто бы легче.

Время учит и лечит, и твой облик туманит...
Только нет, уж меня-то эта чушь не обманет!

И уж если по правде, и уж если на честность —
То зачем отпустил я жизнь свою в неизвестность?

Нет, разлука не лечит. Нет, разлука не учит.
Ни черта мне не легче.
Ни черта мне не лучше.

* * *

Безумье — любить палача,
Такого, что рубит сплеча:
Твоя, мол, любовь горяча, —
Так тай от нее, как свеча!

Молчи, проклинной или плачь —
Безжалостен к жертве палач.
И все ж ее взгляд, словно луч,
Блеснувший — мечом — из-за туч.

И видеть ее не хочу!
И слышать о ней не хочу!
И все ж своему палачу
За пытки любовью плачу,

Терпеньем, прощеньем плачу...
И думать о ней не хочу!

О П О Г О Д Е

В небе всякое бывало:
Солнце, радуга, гроза.
Иль катились вал за валом.
Облака, как паруса.

А теперь сплошные тучи,
Нет их глуше и темней!
Лишь один неяркий лучик,
Как подарок, светит мне.

И пускай теплом не веет.
Пусть он только тень огня,
Я-то знаю, я-то верю:
Он последний у меня.

А исчезнет в мгле тягучей,
И сильней польют дожди,
И чернее станут тучи
Надо мной
И впереди.
Будет небо без просвета,
Навсегда, а не опять...
Хуже нету, горше нету,
Чем последнее терять.

ВСЕ НЕ ТАК!

Ведь как бывает, как случается...
Путями горькими кружил.
Другому впору ~~бы~~ отчаяться,
А я хоть плакался — да жил.

И дальше снова не по правилам.
Глядишь — поправились дела.
И боль моя меня оставила.
А кажется — что жизнь ушла...

Тепло мне брезжило — шел мимо я,
И к бескорыстным — жестким был.
Меня любили
Нелюбимые,
А я нелюбящих
Любил.

* * *

Нет на свете хуже
Легкодумной лжи.
Если я не нужен —
Так ты и скажи.

И честней, и проще
Отрубить: не жди!

И пускай полощут
Жизнь мою дожди,

И пускай затянет
Туча мой закат...
Правда больно ранит.
Но она —
Не яд.

* * *

Я чувствую себя багдадским вором,
Стыжусь, робею, радость хороня,
Когда каким-то меряющим взором
Вдруг женщина посмотрит на меня.

И мне тогда и гордо так и грустно.
Знать, для иных и я еще хорош!
Но эти встречи — как рассказ изустный:
Уйдут в былое — вновь не перечтешь.

Ведь встреч других не ждем мы и не ищем
А время споро катится назад...
И чувствую себя вокзальным нищим,
Припоминая меряющий взгляд...

ВЛЮБЛЕННЫЙ ГОРОД

Сегодня в городе больше света,
И каждая площадь — как буйный сквер,
И стало просторно и ярко
Это —
Моя любимая прошла по Москве.

Она весь город свела с ума!
Автомобили воркуют, как голуби,
И пред ней на колени упали дома,
И памятники наклонили головы.

Столбы и тумбы сходят с дороги,
И свеж, как утро, столичный вечер.
И ей мостовые кидаются в ноги,
А руки целует покорный ветер.

Крепки объятья каменных арок,
И блеск фонарей в глазах ее тонет,
И небо атласное ей в подарок
Звезды подносит в теплых ладонях...

Мосты раболепно выгнули спины.
Замрут в восхищенье — только ступи на них!..

Струят фонари
Восторженный свет!
...Моя любимая
Прошла по Москве,

ПОДРАЖАНИЕ

Я был характером крутой
И юным — риск любил.
И я в любви признался той,
Которую любил.
А мне в ответ: «Ты слишком смел.
Но ведь всему же есть предел...»
И я повеситься хотел —
Так я ее любил!..

А годы шли. И я сказал
Той, что всегда любил:
«Отдайте мне свои глаза!»
(Я пышный слог любил),
А мне в ответ: «Ко мне домой —
Ты слышишь? — больше ни ногой!»
И я ей изменил с другой —
Так я ее любил!

Но юность выцвела, как шелк.
А юность я любил...
И вновь к жестокой я пришел —
Ведь я ж ее любил!
А мне в ответ: «Когда ж свое
Ты бросишь глупое нытье?»
И я уехал от нее —
Так я ее любил!..

Что ж, зрелость тоже неплоха.
Я в жизни — все любил.

Сказал я милой: «Чепуха!
Я лишь тебя любил».
А мне в ответ: «Ты стал сильней,
Но больше приходить не смей!»
А я опять явился к ней —
Так я ее любил!

МЫ САМИ

Ночь стояла крутой закваски
И настоенная на цветах...
Не во сне, не в бреду, не в сказке —
Было все это
Просто так.

Стекла вдребезги бил, сатанея,
Звон трамваев
И рокот шин.
В это утро я встретился с нею,
Этой ночью остался один...

Вдруг из мрака — хохочущий профиль,
Алый плащ и глаза, как ножи...
Это впрыгнул в окно Мефистофель
И такое мне предложил,

Предложил шутя, между прочим,
Как подачку моей судьбе:
«Хочешь, Фауст, нынешней ночью
Я ее приведу к тебе?»

Но сказал я посланцу ада:
«Я еще не сошел с ума.
Мне поддержки твоей не надо.
Я хочу, чтоб она — сама...»

Сразу мрак зазвенел обреченно,
Всколыхнулся и задрожал...
И в углу, невозможно черном,
Ядовито сверкнул кинжал.

Время двигалось бесперебойно,
Будто дьявол его учил!..
И ко мне подошел разбойник,
Разбойник Спарафучил.

Подошел и шепнул: «За это —
Не потребуяю ничего.
Ночью этой же, Риголетто,
Хочешь — я прикончу его?»

Я улыбкой — ответа вместо —
Полоснул по его глазам,
И сказал: «Убирайтесь, маэстро!
Я с ним справлюсь как-нибудь сам...»

О С Е Н Ь

Проглянула в зелени медь.
Полыхает листва берез.
Слышен птичий тревожный гам.
А береза не хочет гореть!
И роняет к моим ногам
Желтые капли слез.

Обнимает, боясь уронить,
Голубых белок сосна.
Осень смотрит из-за кустов.
А под ними зажглись огни,
Огни запоздалых цветов
Которым снится весна...

ЗИМНЯЯ ДОРОГА

За окном дымит пурга.
С ней мы дни проводим.
Разливаются снега
Белым половодьем...

Вьюги пляшут и пылят
Вслед за поездами.
Разлинованы поля
Птичьими следами.

Снег пушист, как облака,
Серебрист немного...
А дорога далека,
Да-ле-ка дорога!..

* * *

Гроза подбиралась откуда-то справа...
И гром на окрестность обвалом упал.
И сразу
Зашелестели травы,
И ветер мне волосы растрепал...

Издали туча шла грозовая.
В воздухе крик петушинный дрожал.
А я, не двигаясь, не вставая,
На пересохшей траве лежал.

Подняв воротник — от дождя в защиту, —
Я долго смотрел, как кипит и ревет
Веселый, молниями прошитый,
Громами выщербленный
Небосвод!..

Давно уже мне и навек полюбилась
Повадка грозы, огневой ее нрав!..
И жадно вдыхал я бодрящую сырость,
И запах дождем надушенных трав...

В Д О Ж Д Ъ

Льет дождь — монотонно, печально и ровно...
Ну, милый, ударь посильней-ка!
Чтоб стекла пестрели под каплями, словно
Тетради в косую линейку.

Но только не исподволь и не украдкой,
А сразу, с веселою злобой!
И чтоб у тебя — озорная повадка.
И чтобы, как школьники, оба.

Чтоб каждый расправил усталые плечи
На этом шальном карнавале,
Чтоб крыши гремящие ливню навстречу
Без умолку салютовали.

Чтоб ветер по лужам плескался, как утка,
Чтоб в окна ударил — и выжил!..
И чтоб вопреки и дождю, и рассудку,
Я встретить кого-нибудь вышел...

ПОД ДОЖДЕМ

А он все лил, и лил, и лил,
И я промок насквозь.
Меня он даже разозлил —
Да отсырела злость.

Вода на площади — в разлив,
Над площадью — в разлет!
Не испугав и не дозлив,
Он так вот и пройдет...

И я пройду — своим путем,
И долго будет дрожь
Все тело бить... А дело в том,
Что я-то ведь — за дождь!..

Но за такой, чтоб я бежал
И выбился из сил,
И чтобы он не раздражал,
А весело бесил,

Чтоб я сказал, ворвавшись в дом:
«Ух, дьявол, — хорошо!..»
А дело в том, что под дождем
От девушки я шел...

Я шел, чудака, как на рожон —
В осеннее нытье.
И был я скучно раздражен
Повадками ее.

А дождь колотит по плечам.
И плох такой почин:
Досадовать по мелочам,
Без явственных причин...

Я жил — в кипении крутом,
Сплеча узлы рубил,
Но тут — не мог... А дело в том,
Что я ее любил.

Но только мне всего нужней
В любви такая власть,
Чтоб мог я рухнуть перед ней
Иль яростно проклясть!..

Чтобы слова — как первый снег,
Чтоб ссоры — как гроза,
И коль разлука — так навек,
И никаких назад!..

Я в освежающем дожде
Хочу перекипеть,
Чтоб выстоять — в любой беде,
Любую боль стерпеть,

Чтоб ветер залпом осушать,
Чтоб солнце заслужить,
Чтоб грудью полною дышать
И полной жизнью жить!..

ПОД ТАШКЕНТОМ

Сегодня, почуяв безлюдье,
Жуки развозились в саду.
И мыши — бесцветны, как будни, —
Летают у звезд на виду.

Летают без шума, без крика,
Во всю свою мягкую прыть.
И ежик пришел — из арыка
Воды посвежевшей попить...

И слышатся вздохи и всхлипы
Из жуткой ночной темноты...
А тополи немы, как рыбы,
И стыло-недвижны цветы.

Мне мрак этот — друг иль опасен?
Он добр для меня — иль злодей?..
Как сад наш в безлюдье прекрасен!..
Как маятно в нем
Без людей...

ГОРЫ, ВЕСНА...

Обшагиваю город, —
Благодать!
Из Ташкента горы —
Рукой подать.

ПОД ДОЖДЕМ

А он все лил, и лил, и лил,
И я промок насквозь.
Меня он даже разозлил —
Да отсырела злость.

Вода на площади — в разлив,
Над площадью — в разлет!
Не испугав и не дозлив,
Он так вот и пройдет...

И я пройду — своим путем,
И долго будет дрожь
Все тело бить... А дело в том,
Что я-то ведь — за дождь!..

Но за такой, чтоб я бежал
И выбился из сил,
И чтобы он не раздражал,
А весело бесил,

Чтоб я сказал, ворвавшись в дом:
«Ух, дьявол, — хорошо!..»
А дело в том, что под дождем
От девушки я шел...

Я шел, чудак, как на рожон —
В осеннее нытье.
И был я скучно раздражен
Повадками ее.

А дождь колотит по плечам.
И плох такой почин:
Досадовать по мелочам,
Без явственных причин...

Я жил — в кипении крутом,
Сплеча узлы рубил,
Но тут — не мог... А дело в том,
Что я ее любил.

Но только мне всего нужней
В любви такая власть,
Чтоб мог я рухнуть перед ней
Иль яростно проклясть!..

Чтобы слова — как первый снег,
Чтоб ссоры — как гроза,
И коль разлука — так навек,
И никаких назад!..

Я в освежающем дожде
Хочу перекипеть,
Чтоб выстоять — в любой беде,
Любую боль стерпеть,

Чтоб ветер залпом осушать,
Чтоб солнце заслужить,
Чтоб грудью полною дышать
И полной жизнью жить!..

ПОД ТАШКЕНТОМ

Сегодня, почуяв безлюдье,
Жуки развозились в саду.
И мыши — бесцветны, как будни, —
Летают у звезд на виду.

Летают без шума, без крика,
Во всю свою мягкую прить.
И ежик пришел — из арыка
Воды посвежевщей попить...

И слышатся вздохи и всхлипы
Из жуткой ночной темноты...
А тополи немы, как рыбы,
И стыло-недвижны цветы.

Мне мрак этот — друг иль опасен?
Он добр для меня — иль злодей?..
Как сад наш в безлюдье прекрасен!..
Как маятно в нем
Без людей...

ГОРЫ, ВЕСНА...

Обшагиваю город, —
Благодать!
Из Ташкента горы —
Рукой подать.

Вон, белеют
Совсем недалеке,
Как лилеи
В девичьей руке.

Парят — несокрушимы,
Легки, чисты,
Со снегом на вершинах
Для вящей красоты.

А что за погода!
Вся в синеве.
Иное время года,
Чем в снежной Москве.

Бежит по веткам споро
Розовый дым...
И высятся горы,
Собой горды.

Дружат с небом,
Не знают забот...
И свежесть снега
Мне в ноздри бьет!

* * *

Привет вам, ручьи и капли!
Земля, пробуждайся от сна!
Да здравствует солнце апреля,
Да вечно пребудет весна!

И светятся нежно березы,
И влажною пахнет сосной...
Но только пусть шальные грозы
Обходят мой дом стороной!

Вон — соком весны налитые,
Трепещут цветы вдоль дорог...
Но только пусть ветры крутые
Не валят прохожего с ног!

Смотри: по небесному своду,
Как лебеди, тучки скользят...

Но только пусть вешние воды
Разливами нам не грозят!

Залился — в любовном томленьи —
Соловушка. Слава певцу!
Люблю я земли обновленье,
А ярость весне
Не к лицу.

* * *

Сегодня день по-летнему хорош.
Кузнечики распелись за кустами...
А я под их стрекочущий галдеж
Грущу над свежими цветами.

Их счастье коротко, как сон и жизнь.
Сегодня буйствуют,
А завтра сникнут.
Лишь утренние звонкие стрижи
В последний раз над ними вскрикнут.

И небо —
Синий ситцевый платок —
Свежесть навстречу солнцу не устанет,
Чтоб солнце распускалось,
Как цветок,
Который к вечеру
Увянет...

НА ОТДЫХЕ

С утра еще не жарко:
Гуляй, мечтай, дыши!
Шагаю я по парку
В покое и в тиши.

Походкою упорной
Иду себе вперед,
Вдыхая грудью полной
Чистейший кислород!

Здесь утвердилось лето
С прослойкой дождевой.

И пахнет разогретой,
Разросшейся травой.

Таинственны, как маги,
Просты, как шум реки, —
В траве алеют маки —
Дневные огоньки.

Мне шелестят с печалью
Березки: «Отзовись!».
И белыми свечами
Каштаны целят ввысь.

Лежат от них сережки,
Как гусениц ряды.
Судачат вдоль дорожки
Сороки и дрозды.

Бреду под птичьи вскрики,
Шаги мои легки...
Созвездьями
В арыке —
С деревьев лепестки.

И травы шепчут что-то,
И даль вверху светла!
А на душе заботы,
Тревоги и дела...

НА ДАЧЕ

{

В Бахта

Тут все достойно грусти и хвалы.
Ложится под ноги
Трава густая,
Березок невесомые стволы
Истаивают в сумраке — не тая...
Тут все достойно грусти и хвалы.

Цветут костры тюльпанами в лесу,
И комары становятся все злее.
И тропы, уж предчувствуя росу,
Босые ноги
Холят и лелеят.
Цветут костры тюльпанами в лесу...

А утро — мягкой лапой по щекам.
И петухи побудку протрубили,
И, равные секундам и векам,
Сны уходили, и вершились были.
И утро — мягкой лапой по щекам...

Тяжелый шмель — двуцветный бомбовоз —
Податливым цветам пропел осанну.
А певдали — женьшень московский рос,
Калган — цветок, простой и желтый самый,
И шмель над ним гудел, как бомбовоз...

Тень самолета по траве плыла,
И терпко пахло близкими грибами,
И сеном пахло. И жара была.
И ключевая свежесть — под губами.
Жара за нами по траве плыла...

Над соснами — осенняя синь!
А птицы в ветках и нежны, и рьяны.
И после всех расплавленных пустынь —
Как хороши цветистые поляны,
Над соснами — осенняя синь...

Шел зной от трав, от листьев, от смолы.
А день прозрачен, бархатист и ярок,
И у берез стволы — белым белы...
...Спасибо, друг, за светлый твой подарок.
За травы, листья и за дух смолы.

НА ПЛЯЖЕ В ХОСТЕ

Гляжу, смотрю — не насмотрюсь!
У ног моих простерлось море.
И в сердце бьют восторг и грусть,
Друг с другом, словно волны, споря.

По небу — облака вразброс.
Лежи. Ходи. Любуйся. Слушай.
Вон в желтом вещичке из ос
Лежит надкусанная груша...

Тела, тела — за рядом ряд.
Вздыхает море — тяжело, грузно.

В воде, прозрачные, висят
Грибными шляпками
Медузы.

Строг парохода силуэт
На самой дальней, синей кромке.
И стрелы белые «Комет»
Стремят свой лёт среди линий ломких.

Прибоя шум.
Отлива вздох.
И ветра жаркое дыханье...
И проходящих поездов
Размеренное
Громыканье.

И волн волненью всякий раз
Волненье сердца тихо вторит.
Как завораживает нас,
Как успокаивает
Море!.

* * *

С. Образцову

Рвем с природой живые нити,
Рушим звеньев ее череду,
А потом кричим: берегите
Окружающую
Среду!

Нет ни нам, ни от нас покоя,
Спор в делах человеческий род.
Даже — что же она такое,
Забываем, спеша вперед.

А она — это елей иголки,
«Чик-чирик» и «курлы-курлы»,
Это овцы, и это волки,
Это голуби и орлы.

И над морем ветер соленый,
И прозрачность речной воды,
Тот, некрасовский шум зеленый
И в лесу лисицы следы.

Это тучки, что солнце застыят,
Это солнце в крутой высоте,
Это псс черно-белой масти,
Что лежит на моей тахте.

И пока человек хлопочет,
Как природу сберечь — навсегда,
Сладко спит, свернувшись в клубочек,
Окружающая
Среда...

Я потише ходить стараюсь,
Я лелею ее покой,
К ней на цыпочках подбираюсь,
Чтоб погладить ее рукой...

От такого-то «меньшего брата»
Уж какой, казалось бы, прок?!
Но услышу лай хриловатый, —
Таает в горле горький комок...

Ты природе служи — как отчизне,
А природа верна нам сполна!
Мы самой ей обязаны жизнью,
Наши души спасает она.

Нас, кто космосом повелевает,
Чья, как солнце, слепяща мечта, —
Пусть почаще
Одолеает
Благодарная
Доброта.

БАКСАНСКИЙ ПЕЙЗАЖ

Патетически-полемическое

Я здесь еще ни разу не был,
Здесь все огромно, четко, ясно:
И небо — пропасть между гор,
И горы, врезанные в небо,
И многоцветный и согласный
Лесов и рек могучий хор.

...всем, клеточкой и звоном
Шальная катится вода.
Там — золотою паутиной
Под солнцем светятся по склонам
От ГЭС Баксанской провода.

Мосты гирляндами под ветром
Чуть-чуть колышутся и стонут.
Вон — уронил ручей слезу...
А гор крутые километры
Вверху — в снегах искристых тонут
И в буйной зелени — внизу.

Макушек — не достанешь глазом!
Прерывистой, лохматой нитью
Белеет дальний водопад.
Я не был здесь еще ни разу.
Смотрю — и делаю открытья.
И вижу — как же я богат!..

Но, чу!.. Я слышу глас поэта —
Из тех, кого весьма тревожат
Дела и помыслы коллег:
«Стихи идеей не согреты!
Пейзаж и красочен, быть может,
Но где, простите, человек?»

О, ужас!.. Человека — нету.
Ты прав. И все-таки, заметим,
Есть в правоте твоей провал:
Ведь кто-то ж увидел все это
И пылко восхитился этим,
И всем об этом — рассказал...

СТИХИ НЕ ОБ ОБЛАКЕ

А писать было просто необходимо!
И строчки ждали команды «Стройся!»
А темы такие, что трудно — мимо:
Смотри вокруг да в памяти ройся.

Каким привязанностям и страхам
В стихе, как в клетке, сегодня биться?..

Я начал шаманить. И вот — с размаху —
Упало облако на страницу.

И все остальное сразу же побоку,
И только пред этой темой не выстоять.
Потому что мне очень понравилось *облако* —
Как дыленок, желтое и пушистое.

Оно, ей-богу, совсем неплохое!
Из тех, что трогают самих строгих.
И я до него дотянулся рукою
И заковал в звенящие строки.

Да только кому это, к черту, нужно?
От этого ж людям лучше не будет!
Об этом читать после сытного ужина,
Когда стих убаяюкивает, а не будит!..

Но как его снова в небо закинешь?
Захочешь отречься — и дрогнет рука...
Ведь иные стихи твои — это такие ж
Мимолетно волнующие
Облака...

Но только не этого ждут от поэта!
И пусть я сейчас пустяком увлечен —
Я накрепко знаю: писать про это —
Это значит
Не написать ни о чем.

Я знаю, что мало толку и пользы
От темы, выхваченной наудачу,
Что глупо пред ней на коленях ползать!
Я знаю, знаю...
А значит, значит —

Бросай карандаш и берись за резинку.
И небо за окнами очень пустое
И кажется маленьким — с ошшику,
Которая выделки не стоит.

...Прости мне, муза, мои грехи,
А хочешь — я сам в себя кину камешь?
Мне надо бы — просто писать стихи,

А я
Задумываюсь
Над стихами.

СТИХИ О СНЕГЕ

Черными ветками
Перечеркнуты окна.
А за окнами
Льдинки, льдины и льды.
И на сером льду, распластавшись, мокнут
Чьи-то совсем чужие следы...

Зима — будто гость.
А лед — как подарок:
От него не отделаешься никак!
Он на бульварах и тротуарах,
На реках и на воротниках.

Звенит на ветке стеклянной птицей.
На крыше пристроился и притих.
Гнездится в трубах и громоздится
В непроходимых дворах проходных.

А стужа его на карниз нанижет,
На оконных стеклах придумает сад!..
Но дело в том, что льда я не вижу —
И мне нетрудно о нем писать...

Я нынче к окошку приник
И замер.
И кажется — не оторваться вовек!
И пляшет перед моими глазами
Такой шальной и веселый снег!

Завтра ему белеть под забором.
А сейчас — колыхаться и ниспадать
Складками занавеса, за которым
Нельзя ни дьявола увидеть!

И чудится, будто зима, раздобрясь,
Перебинтовывает Москву..
Но это уж слишком искусственный образ,
Совсем не по правде и не наяву!..

А снег ни на грош не нуждается в лесте.
Он сам по себе сегодня хорош!
И жаль, что его — вот тут же, на месте, —
Как сводную картинку, не переведешь...

Неповторимый, он падал и падал,
А я двух слов не могу связать!
Хотя мне о нем непременно надо
И ужасно хочется рассказать...

И комната огненной стала купелью,
И над чистым листом закипели бои.
Я штурмую слова. Я пытаю перья.
Я силы хочу испытать свои.

Но только бумага — белее снега!..
А тему — ее не возьмешь на ура.
И снегу, падающему с неба,
Трудно упасть с моего пера.

А, впрочем, не к чему убиваться.
Я, право, доволен нынешним днем.
И снегом мне хочется любоваться,
А не стихи сочинять о нем!..

О «ЧИСТОМ» ЛИРИКЕ

Он писал о цветах, распустившихся ночью,
И о камнях, цветущих на илистом дне.
Я спускался за ним. Я их видел воочью,
Восторгался
И от изумленья бледнел.

Он срывал синеватую вербную ветку,
Он морскую звезду доставал из глубин,
Говорил мне о самом знакомом и редком
И приказывал: «Радуйся. Помни. Люби.»

Он хотел, чтобы стал мне по-новому близок
Этот день, этот мир, необычно земной, —
За разливы звучаний и запахов
И за
Переливы теней, не замеченных мной.

Он и в мелочи всматривался с интересом.
Заразительно жадным. Нетленным. И я —
Каждый раз себя заново чувствовал Крезом,
Без конца открывая свои же края!

Он писал о любви, безнадежно готовясь
Обо всем остальном наповал позабыть!
Но не мог. И будил во мне зависть и совесть.
Он хотел, чтобы я
Научился любить.

Нет, не так, чтобы голос — рыдающий медью,
Чтобы жадный румянец на бледном лице.
И не в плане дешевеньких кинокомедий
С обязательным благополучьем в конце,

Не такую — чтоб после отречься, жалея
О минутах, которые даром терял.
А такую любовью, чтоб я себя ею
Очищал, переделывал и проверял!..

Чтобы стертое слово «высокий поступок»
Стало радостной целью и славой моей.
И чтоб все это без постоянных уступок
Самолюбью, тщеславию и мненью друзей.

Он любил переключку слепящих звучаний,
Напряженные ритмов — крутых и тугих.
Чем они увлекательней
И чрезвычайней,
Тем он злей и упорней отстаивал их.

Он любил любоваться капризным узором,
Начиная шаманить над ним и мудрить, —
Как юнец над букетом, который он скоро
Должен будет любимой своей подарить!..

Он ни в чем не нуждался: ни в лестях, ни в судьях.
У него повторимый, особенный путь...
Он писал о березах.
А думал о людях.
И поэтому не в чем его упрекнуть.

Л И Р И К У

В миг любой, всегда и всюду, —
В солнце, в жизненную стынь, —
Будь в своем служенье людям
Честным, чистым и простым.

Сделай так, — тебе по силам! —
Чтобы в наш суровый век
Быть и добрым, и красивым
Не отвыкнул человек.

И уж сам не падай наземь
С тех вершин, каких достиг!
Против пошлости и грязи
Подними в атаку стих.

Не бросай со звоном в уши
Людям
Побрякушки рифм, —
А расти, шлифуй их души,
Светлым чувством озарив.

Подари им, как награду,
В строчке звонко-голубой
Возвышающую радость,
Очищающую боль.

И всегда, —
В туманце буден,
В солнце, в жизненную стынь, —
Будь в своем служенье людям
Честным, чистым и простым.

НА УЛИЦЕ

Ты опять околдован
Тоской ветровой.
Значит, спора искать —
Как грозы, нам.
А на улице пахнет
Далекой травой
И пронзительно ясным
Бензином...

А походки легки.
А глаза глубоки.
А какие упрямые
Плечи!
Это люди идут,
Распахнув пиджаки, —
Непрерменно
Чему-то
Навстречу!

А у нас, у поэтов,
Характер широк.
Люди верят нам
Неодолимо.
И бормочут отрывки
Из наших дорог,
И идут не с тобою,
А мимо...

Потому что —
Ну, как им тебя оценить,
Как с тобой говорить им, подумай,
Если брови стянул ты
В суровую нить
И сдружился с усмешкой
Угрюмой.

Что же, значит, поэзия —
Трезвый обман?..
Стих и сердце
Стали врагами?..
...Ведь стихи твои —
Словно прозрачный туман,
Поднимающийся
Над лугами...

Дремлет небо на нем,
И ползет в лопухи
Заревое луча
Позолота...
...Почему же ты сам
Не такой, как стихи,
Погрузился в тоску,
Как в болото?

Хватит ныть
Да вздыхать,
Да лежать на боку...
Это, брат, невеселая слава!..
Я иного хочу:
Чтобы ты на тоску
Не имел ни досуга,
Ни права.

Выдь на улицу.
Видишь: раздольны шаги,
Широки и раскованны
Плечи.
Видишь: люди идут, распахнув пиджаки...
Распряись.
Устремись им навстречу!..

«НОВАТОРАМ»

Каноны рушите старые,
Читателя одарив
Ритма
Крутыми
Ударами
И рапирами рифм.

За что вы готовы драться?
Победа за тем, кто автор
Нежданных ассоциаций,
Диковеннейших метафор!

Созвучия — ваши жены,
Отец ваш — туманный слог.
И падает, строчкой сраженный,
Читатель у ваших ног...

За громким гонитесь словом,
Такое тщитесь сказать,
Чтоб было слепяще новым,
Чтоб сразу било в глаза!

Вглядишься: и правда, сильно,
И рифмы — как гул вокзала,
И сногшибательный стиль, но...
Мало этого, мало!

Строкой поразить нетрудно!
Труднее — чтоб вслед за нею
Мысль прорастала подспудно,
Сердце билось сильнее...
Беснуйтесь же, сколько влезет!
Скажу
Себе на беду же:
Чтоб душу вложить в поэзию —
Надо иметь душу!

ПОЭТ И КРИТИКИ

Ты себе на беду.
Ты у всех на виду.
И твои чудачества,
И неудачи твои,
И хоть так, от скуки, над словом колдуй,
По пустякам свой пыл растрачивая,
Хоть пропеллером душу в лазури ввинчивай,—
Всё,
Как травы у ног, ложится
Перед теми, кто дланью придиричивой
Перелистывает страницы.
И рифмы переплеск,
И ритма перестук,
Любое слово, что, не выдержав, уронишь,—
Все
Распнут
И пригвоздят к кресту
Равнодушной
Иронии.
Ими трезво
Каждая фраза взвесится,
Базу под каждый намек подведут.
Впрочем, пусть их над строчками бесятся.)
Ты не только у них
На виду.

* * *

Это получалось постепенно:
Выходило все само собой:
В юности — мелодии Шопена,
Дамы Блока локон голубой.

А потом ударил ветер хлесткий,
Закружил сухие листья дней.
И ко мне Владимир Маяковский
Вдруг шагнул.
А после, а позднее,

В пору злой любви, когда я на кон
Ставил все, гадая: «да» иль «нет»,—
Смутное шаманство Пастернака
Было лучшей музыкою мне.

А когда упрямо возмужалость
Подошла, сурова и строга,—
То всего дороже оказалась
Пушкинская
Ясная
Строка.

РАЗГОВОР С ПОРТРЕТОМ МАЯКОВСКОГО

Челюсть — да, стальная. Не приврали,
Скулы — кулаками. Сер щекой...
В катастрофе. В битве. На аврале
Можно сдюжить с челюстью такой.

А глаза!
Как будто залит череп
До краев
Расплавленностью их.
И глаза
Лишь сотой долей через
Строй ресниц
Продрались до моих.

Плечи!
С ними можно, с ними вправе ж —
Напрямик. На драку и на спор.
Наступаешь. Спрашиваешь. Давишь,
Требуешь.
Уставился в упор.

«Русский?»
«Да».
«Писатель?»
«Да, отчасти».

«Чей поклонник — слов или идей?
Высока ли цель твоя?»
«Да, счастье».
«А высокой пробы? Чье?»
«Людей».
«Любишь?»
«Да».
Но для такого века —
Человек шероховат и сыр.
Надо перестроить человека,
Чтобы смог он перестроить мир!

Мы в проводники — коль глушь лесная,
Напоим водою ключевой...»
«Что ты должен делать — знаешь?»
«Знаю».
«Что ты сделал?»
«В общем... ничего».

Упрекаешь!
Но ведь ты не сведущ.
Сердишься. Согнуть готов в дугу.
Требуешь, чтобы поэт — как светоч!
Ты — такой!
А я вот не могу...

Все, как говорится, в божьих руках.
Как вздохнется, так я и дышу.
Вот носки — они от носки рвутся.
Так и душу — ведь не сам душу!

Я могу — с моей-то волей кроткой —
Не светить, а только верить в свет.
У меня такого подбородка
Скул крутых и глаз горящих —
Нет.

Каждый стих твой весок, словно камень.
Мысль — праща.
А мой удел — другой.
Как я ни размахивай руками —
Справятся со мной одной рукой.

Мне бы крылья,
Чтоб пробить и тучи,—
Я б взорлил!

Но это — фантазия.
Человеку светлых дней грядущих
Жить и без
И не из-за меня.

Что же — невеликая потеря!
Встретимся — так ототрет плечом.
Он придет, он будет — свято верю!
Только я тут буду
Ни при чем.

Голос слаб — на шепот бы хватило.
И душа — не пламя, а кисель.
Цели нет —
Так зря базаришь силы.
Нету сил —
Тогда впустую цель.

Только никого не подвигало
Самоуниженне — на труд.
Пусть я в этой жизни сделал мало,
Не костер мой стих — а скромный трут.

Пусть не каждый
Голос мой услышит,—
Свой узор обязан я вязать.
За меня никто ведь не напишет
То, что только я могу сказать.

Нет, недаром я живу на свете.
Польза людям есть и от меня.
Ведь ручной фонарик
Тоже светит,
Хоть совсем он солнцу не родня.

КРИТИК ПИШЕТ СТИХИ

Волна и камень, лед и пламень
В душе смешались и в стихах.
Могу заплакать над стихами,
Могу разбить их в пух и прах,

Разъять, исследовать под лупой,
Свести анализом на нет...
Но слышу я вопрос неглупый:
«А критик разве не поэт?»

Когда далек он от халтуры,
То жаждой поиска томим,
И мысль, и чувство движут им,
Ведь это жанр
Литературы!

Бывают же, известно нам,
Статьи лирического склада,
Иль вроде од, иль эпиграмм,
Или рецензии-баллады...»

Бывает всяко... Всё бывает.
Но жанры — прення сторон.
Зоил на опыт уповает,
На вдохновенье — Арнон.

Стихи слагаешь — как спросонок,
Как по наитию... И вот
Ехидномыслящий бесенок
Тебя вдруг под руку толкнет.

Порой всего тебя охватит
Ознобным жаром, как волной,
Но тут рассудочность окатит
Строку — струею ледяной.

Мне б тему дерзкую пришпорить,
Шаманством «рацио» поправ!
Но как мне со стихом не спорить,
Коль я как критик трезв и прав?

Такая, значит, вот дилемма...
А не надуманна ль она?
Как человеку мне даиа
Судьба одна, и жизнь одна.
Двугранность цельности равна!
Но Ромул ведь прикончил Рема...
А жанрам-то, в конце концов,
Куда до братьев-близнецов!

* * *

Е. Е.

Я понимаю: как поэт
Я не гожусь тебе в подметки.

Нет у меня своей походки
И темпераментности нет.

Свое бессилье — сознаю,
Хоть и владею складом-ладом,
Но безголос с тобою рядом.
Какого ж черта я пою?

Сам начинаю сомневаться:
Зачем мне песенный настрой?
Но коль уж пишется порой,—
Куда от этого деваться?

Да, рифмы вроде бы сухие,
И слог мой стихотворный сух.
Так вовсе ж не пишу стихи я,
А просто размышляю вслух!..

* * *

В денек погожий —
Тишь резонна,
И море штормом не грозит...
По дальней кромке горизонта
«Комета» быстрая скользит.

Врезаясь в небо голубое,
Мчит шибче истинных комет!
И четко тянет за собою
По самой кромке
Длинный след.

Он тает тихо, постепенно, —
Прямее шва, белей белил.
И чудится, что след тот пенный
От моря небо отделил.

Не та же ль мнимая черта
Жизнь отделяет от искусства
И пестрые, земные чувства —
От тех, где красок чистота?

Нет! Этот мир живой —
И тот,
Воображаемый, творимый,—
Как моря гладь и небосвод:
Раздельны, но неразделимы.

Литературная критика

Очерки

Стихи

246

Юрий Иванович Карасев

ПОД СИНИМ, СИНИМ НЕБОМ

Статьи, очерки, стихи

Редактор А. Липкина

Художник Г. Шумская

Художественный редактор А. Бобров

Технический редактор В. Барсукова

Корректор Э. Байгильдина

ИБ № 2591

Сдано в набор 09.02.83. Подписано в печать 27.05.83. Р 18086.
Формат 84×108¹/₃₂ Бумага типографская № 3, Литературная
гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 23,1+0,105 вкл.
Усл. кр.-оттисков 23 15. Уч.-изд. л. 24,6+0,05 вкл. Тираж 1 000.
Заказ № 203. Цена 2 р. 90 к.

Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма.
700129, Ташкент, ул. Навои, 30.

Отпечатано с матриц типографии изд-ва «Таврида», г. Сим-
ферополь, ул. Генерала Васильева, 44, во 2-й типографии
ТППО «Матбуот» Государственного комитета УзССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли, Янгйуль,
Самаркандская, 44.

57

2p. 60x

